

СЕМЕН
РОЗЕНФЕЛД

ДОКТОР
СЕРГЕЕВ



СЕМЕН
РОЗЕНФЕЛД

ДОКТОР
СЕРГЕЕВ

Р О М А Н

●

С О В Е Т С К И Й
П И С А Т Е Л Ъ
Л Е Н И Н Г Р А Д

1960

Часть первая

ЛЕНИНГРАД

На душе было светло и радостно. То, что в течение шести долгих лет держало властной рукой — лекции, анатомичка, лаборатории, клиника, зачеты, экзамены, — сейчас сразу отошло. Годы института позади, в кармане пиджака — диплом, тут же выписка из протокола Ученого совета — оставить при кафедре внутренних болезней. Впереди — шесть недель отпуска, потом, с открытием клиники, — работа в институте.

Костя Сергеев незаметно прошел добрый десяток кварталов — от института до набережной Невы. И вот уже Легний сад, с детства знакомый, огражденный со стороны реки тонкой, как кружево, ажурной решеткой. Сколько раз он приходил сюда — то с толстой книгой Ланга — «Сердце и сосуды», то с объемистым томом «Фармакологии» Граменицкого или с другим учебником, и в мягкой тени старых деревьев, в тиши спокойного сада читал очередную главу.

Вот угол, соединяющий широкую светлую Неву с тихой желтовато-мутной Фонтанкой, вот горбатый мост, захватывающий обе реки сразу, вот в углу сада, у самого входа в Летний дворец Петра, старая зеленая скамья, дававшая на протяжении многих лет приют и отдых в нежной тени густых деревьев.

Костя с удовольствием опустился на любимую скамью. Впервые за несколько лет он мог сидеть здесь

не с учебником в руках, не усталый, а просто так, только отдыхая и радуясь.

Он наслаждался всем — солнечным теплом, светом, тишиной, тенью старых, густых, высоких деревьев. И только улавливая краем уха доносящиеся издалека короткие отрывки последних известий по радио о фашистских бомбардировках и обстрелах мирных городов, он смутно ощущал где-то в глубине сознания тяжелую тревогу. Но, как ни старался Костя, он не мог представить себе воочию, реально ужасы того, что делается сейчас во Франции, в Бельгии, в Югославии, в Греции... Как ни достоверны были все сообщения, как ни взывала к человечеству страшная правда — она казалась невозможной, непостижимой, она не укладывалась в сознании Кости — слишком уж ярко светило солнце, слишком нежна была зелень, слишком приветливо синело высокое небо.

Две девушки, скромно заняв уголок скамьи напротив, склонились над книгой, и Костя, в душе снисходительно-ласково одобряв их прилежание, тут же посочувствовал: «Трудновато перед экзаменами...»

Посидев немного, он вышел из сада, прошел к мосту, остановился на подъеме и долго смотрел то вдоль реки, то в глубину Петроградской стороны, то оглядывался назад, словно все это он видел впервые.

Как всегда, когда он проходил здесь, ему хотелось охватить взглядом все сразу — и бесконечную даль проспекта Кирова, и зеленовато-голубую мозаику мечети, и золотой шпиль Петропавловской крепости, и далекие контуры Биржи, и Ростральные колонны — старинные маяки у морских ворот Невы.

Он посмотрел на часы — скоро встреча с Леной и театр. Балет — «Лебединое озеро» — раньше был почти недоступен: вечера были заняты, а свободные — редко совпадали со спектаклем. Вместе с Леной и вовсе не удавалось его посмотреть. И вот сейчас, в последние дни театрального сезона, они решили все вечера отдать театру.

Миновав Зимний дворец, Костя остановился и долго смотрел на фальконетовского Петра, на бело-желтое здание Сената и Синода, на великолепный гранит Исаакия. И решетка узкой Мойки, и подстриженные

липы, и застывшая, почти черная вода канала — все показалось ненастоящим, возникшим в усталом мозгу, как воспоминание о старинной гравюре или затуманенной временем декорации забытого спектакля. Но все было подлинным, и Костя с наслаждением вдыхал сырой, немного болотный запах канала, едва уловимый аромат деревьев и подставлял открытую голову мягкому, предвечернему ветерку.

До встречи с Леной оставалось пятнадцать минут, до начала спектакля — полчаса.

У памятника Глинке Костя сел на скамью и сразу же, следуя привычке многих лет, потянулся за учебником, и улыбнулся, вспомнив, что никакого учебника с ним нет.

«А жаль, — подумал он, — пятнадцать минут пропадут зря...»

Он привык работать и скучал без дела. Он был жажен к новым знаниям, и с истинным удовольствием читал все, что хоть немного приоткрывало тяжелую завесу, ревниво охраняющую таинственные законы животного организма. Нормальная клетка, ткань, мышцы, кровь, нервы, сосуды, работа сердца, деятельность мозга — все это огромный, безгранично сложный, неохватный мир, и узнать его хочется как можно скорее, как можно глубже.

Костя и теперь еще нередко вспоминал свои первые дни в анатомичке, — тяжелое раздвоение терзало его в течение многих часов работы над трупами. Ему хотелось бежать из института, из мрачной атмосферы анатомички, из душных лабораторий, от учебников, наполненных описаниями болезней, горя, страдания, смерти. Ему хотелось поступить в другой институт, но острое, страстное желание побеждать болезни, боль, страдания было настолько сильно, что он вскоре полюбил свою работу.

Когда же начался курс физиологии и биологической химии, Костя уже по-настоящему увлекся учебными занятиями. Знакомство с физическими и химическими процессами, совершающимися в живых организмах, открывало перед ним новый мир, новые, до

этого незнакомые явления, полные глубочайшего смысла. Костя вспоминал еще и теперь, с каким увлечением, иногда опережая программу, он читал учебники биологической химии Палладина или нормальную физиологию Бабского или медицинскую биологию Гамалея.

— Ты их глотаешь, словно это не учебники, а романы, — улыбаясь, говорила ему Лена, не без труда, нередко скучая и позевывая, одолевавшая очередную главу.

В ту же минуту, как только Костя вспомнил о Лене, он вдруг увидел ее почти у самого входа в театр и быстро направился к ней.

Он смотрел на ее высокую фигуру в светлом костюме, на золотистые волосы, освещавшие тонкое лицо, на улыбку больших серо-зеленых глаз — и сам, как всегда при встречах с ней, нежно ей улыбнулся. Потом, смущаясь и краснея, сказал: «Здравствуй, Ленок» и, взяв ее под локоть, ввел в вестибюль.

После яркого блеска летнего солнца свет в фойе и в зале показался тусклым. В театре преобладала молодежь. На фоне глухого гула слышались звонкий смех, восклицания, громкие выкрики. Внезапно погас свет, и сразу же наступила тишина, такая всегда волнующая и торжественная перед началом спектакля. Костя даже забыл о своей спутнице и не ответил на какой-то ее вопрос — так напряженно ждал он вступления оркестра. Романтическая мелодия гобоя или английского рожка — он плохо различал эти очень схожие по тембру инструменты — сразу вводила в мир поэтической любви, в царство сказочной фантастики. И желтая листва осеннего парка, и тихое озеро с проплывающими лебедями, и мгновенно вспыхивающая влюбленность экзальтированного юноши в девушку-лебедя, в девушку-мечту — все было уж очень наивно, несерьезно, совсем как в детской сказке. А между тем все это волновало. Высокое искусство любимых артистов — Улановой и Сергеева, и гармоничный рисунок лебединых групп, и финальный их уход, сопровождаемый патетической мелодией, — все захватило Костю и держало в своем плену еще долго после окончания действия.

— Прекрасно, прекрасно... — говорил он шепотом, наклоняясь к уху Лены. — Правда?

— Чудесно... — соглашалась она.

После спектакля, возвращаясь по тихим улицам еще не уснувшего Ленинграда, Костя долго вспоминал то один, то другой эпизод балета.

— Жаль, что сезон кончается, — повторил он, — я бы еще раз пошел.

Белые ночи были уже на исходе, но дни оставались все такими же длинными и лишь ненадолго переходили в сиренево-серую мглу, чтобы вскоре разгореться вновь. Едва на западе последние багровые, изумрудные, дымчатые облака сменялись плотной синевой, как на востоке уже занималось золото зарева. В такие ночи не хотелось уходить домой, особенно с набережной Невы, где все очарование этих часов раскрывалось бесконечно щедро.

Стоя с Костей у ворот своего дома, Лена медлила позвонить дворнику, словно боясь расстаться с красотой нового рассвета, с огромным простором города: Гагаринская как бы слилась здесь в одну линию с Большой Невкой, образующей с Невой гигантский крест.

Они прощались, и вдруг что-то припоминали и продолжали говорить, и снова прощались, и снова находили повод возобновить разговор.

И лишь тогда, когда старый дворник сам открыл калитку и выкатил тележку со шлангом для поливки улицы, они наконец разошлись.

Костя не чувствовал усталости. Он охотно хоть сейчас совершил бы прогулку на пароходе по гладкой, как стекло, реке, по сверкающей золотом широкой дорожке, отражающей только что выплывшее огненно-красное солнце. В голове было ясно, будто он только что встал после долгого и крепкого сна. Только одна мысль мешала ему думать о неделях отпуска, о предстоящей работе в институте. Эта мысль возникала всегда, когда Костя слушал хорошую музыку или в дни каких-либо «неприятностей с медициной». За пять лет она в тысячный раз заползала в голову и всегда выливалась в готовую короткую фразу: «Надо было учиться музыке, а не медицине».

И даже сейчас, в торжественный день официального окончания института, решивший его дальнейшую судьбу, он, услышав близкое сердцу произведение любимого композитора, снова взволновался и привычно подумал: «Надо было учиться музыке, а не медицине... Только музыка — мое истинное призвание...» И, в который раз, вспомнил свои столкновения с отцом, резко восставшим против музыкальной карьеры сына.

— Это, брат, одно баловство и ничего больше... Учиться надо делу — на инженера, скажем, или на врача, или на педагога... А музыка эта — между прочим, для развлечения, или, скажем, для отдыха, — говорил отец.

Два старших брата отца были в свое время оперными хористами, и оба рано умерли — один от белой горячки, другой от туберкулеза горла, и отец искренне считал всех артистов пьяницами, неудачниками и немного даже презирал их «несерьезный» труд. Сам он работал в течение многих лет в рентгеновском отделении большой клиники сначала подручным, потом простым, а теперь старшим монтером и очень уважал две профессии: инженера и врача. Для сына он мечтал о медицине, желая тесно объединить ее с техникой.

— Будешь рентгенологом — вот что! Это, брат, во какое дело! Это сразу и доктор и электроинженер. Всего человека, все его нутро, все его гаечки и винтики — все насквозь увидишь, ничто от тебя не утаится! Это очень прекрасная специальность.

И он даже водил сына с собой в кабинеты рентгеновского отделения, просвечивал своего помощника и восторженно показывал Косте «великие достижения медицинской рентгенотехники». И потом, за вечерним чаем, спрашивал:

— Что? Видал, брат, до чего доходит инженерская башка? А вместе с медициной, видал, каких они делов накрутили? Народ спасают как хотят — от всех болезней, от которых раньше и не думали, что можно вылечить!

Костя, вспоминая отцовские разговоры, живо представлял себе бледное лицо, бородку лопаточкой, желтые прокуренные усы и молодые, теплые глаза.

— Сначала поставят диагноз, а потом лечат, — с удовольствием рассказывал отец. — И то и другое рентгеном, но только, конечно, в разных кабинетах.

А Костю, как ни нравилось ему все, о чем говорил отец, тянуло к музыке. Все свободные от уроков часы он проводил у товарища по школе, Ларика Николаева, вместе с ним подбирал на рояле разные мотивы, а потом мать Ларика, учительница музыки, видя способности Кости, стала обучать его вместе с сыном. Костя усердно учился и на школьном вечере сыграл три произведения — одно большое и два маленьких, — вызвав шумные одобрения публики. Костина мать плакала от радости и материнской гордости, и отец тоже странно откашливался, часто моргал и вытирал глаза платком. Но когда дома Костя заговорил о том, что хочет посвятить себя музыке, отец решительно остановил сына:

— Нет, брат, нет! И не думай!

Костя дважды ходил к секретарю школьной комсомольской организации и дважды длительно советовался с ним, какую специальность избрать — музыкальную или медицинскую. И оба раза секретарь, молодой преподаватель, высказывал одну и ту же мысль.

— Пойми, Костя, — убежденно говорил он, — музыка, если ты действительно любишь ее, никуда от тебя не уйдет. Если бы ты ощущал в себе большое музыкальное дарование и верил, что из тебя выйдет нечто крупное, — тогда другое дело... Но такого дарования ни ты сам, ни твои учителя в тебе не обнаружили... и, значит, ты можешь в лучшем случае стать средним оркестровым музыкантом, педагогом, администратором музыкального учреждения... Не так ли?... Другое дело медицина... Она тебе нравится... Ты умен, пытлив, способен... Ты умеешь работать... Из тебя может выйти хороший врач, ученый, естествоиспытатель... В медицине много специальностей... Ты можешь избрать любую... Поле деятельности громаднейшее...

Отец не мешал ему учиться музыке и сам ходил в музыкальное училище слушать его выступления и радовался его успехам, но строго следил за

школьными занятиями и ставил его отличные отметки превыше всего. И когда Костя окончил школу, отец сам отнес в институт документы и был очень горд, когда увидел в списках студентов его имя. Поздравляя Костю, он теребил бородку и говорил:

— Насчет музыки не огорчайся. Я, брат, роялишко давно присмотрел. И денег на это дело отложил. Так что — играй, забавляйся. Но медицинское ученье, конечно, раньше всего. Это помни!

Костя старался «это помнить», но как бы много он ни работал в институте, ежедневно находил время для музыки. В первые месяцы занятий в институте он не оставлял мысли о том, что все равно серьезно займется музыкой. Он не представлял себе, как это будет, но это должно было обязательно осуществиться.

Однако занятия в институте втягивали его все больше и больше. Вспышки тоски по «большой» музыке, как он называл то, о чем мечтал, приходили не так часто, и острота их заметно смягчилась.

Сегодня она была совсем не сильной, — слишком уж велика была радость нового положения, новой жизни.

«Отец был прав, — думал Костя, приближаясь к дому. — Это хорошо, что я врач, очень хорошо... А музыка — второе дело...»

С этой мыслью он вернулся домой, с удовольствием вытянулся на свежей простыне и, приятно утомленный, сразу же заснул.

II

Шесть недель прошли быстро, как шесть коротких дней. Поездки на острова сменялись посещениями Петергофа, Шлиссельбурга, Детского Села, Павловска, Сестрорецка. Маленький речной трамвай уступал место пароходу, потом уютным пригородным поездом с белыми занавесками на окнах, потом стоместному шумному автобусу. Дни мелькали один за другим, заполненные все новыми и новыми впечатлениями. Взморье у Стрелки, бронзовые фонтаны Петергофа,

парки Павловска, мрачные казематы Шлиссельбурга — все, что видел Костя в эти недели, оставалось уже далеко позади. И то, что в начале этих недель казалось отдаленным, надвинулось вдруг, сразу. Он даже не успел прочесть всю ту обширную литературу, которой он хотел «подкрепиться» перед началом работы в клинике.

И вот знакомое здание клиники, сверкающие свежей краской коридоры, знакомые лица сестер, сиделок. Старая санитарка Домна Ивановна, работающая здесь больше сорока пяти лет, увидев Костю, сразу подошла к нему:

— Кончили?

— Окончил, Домна Ивановна.

— Поздравляю с доктором. — Она протянула ему мягкую морщинистую руку. — У нас будете работать?

— У вас.

— Ну, слава богу, еще до одного выпуска дожила. Новых врачей-то страсть как приятно увидеть. А матери-то как хорошо — такого сыночка подняла! Есть мамаша? — спохватилась она.

— Есть.

— Я, доктор, вижу по халатику. Такой халатик сошьет, да так выстирает, да так выгладит одна только мать.

И старшая сестра, и профессор, и ассистенты, и все, кого ни встречал здесь Костя, были приветливы и держались с ним как старые знакомые.

С двенадцати часов начался осмотр больных. В первой группе были уже ранее лежавшие здесь больные, — Костя увидел среди них тех, кого он вел, будучи студентом последнего курса. Они лежали в тех же палатах, некоторые даже на тех же койках, будто ничто не изменилось. И жалобы их были те же, что и раньше, и манера рассказывать о своей болезни была та же, и все это отчетливо восстанавливало в памяти характер их недугов. Косте было необычайно интересно скорее узнать, какие изменения произошли с ними за это время? Он внимательно читал клинические документы, подробно расспрашивал больных и самым тщательным образом выслушивал,

выстукивал, прощупывал. И то, что он делал это уже не в качестве студента, нерешительного, ограниченного в своих правах и возможностях, а в должности самостоятельного врача, ординатора, наделенного законными полномочиями и обязанностями, было и радостно и страшно. Особенную гордость и в то же время волнение ощутил Костя, когда стал осматривать новых больных. В двух случаях он позволил себе не согласиться с диагнозом, поставленным на приеме в поликлинике. Фамилия врача из поликлиники, старого и опытного терапевта, была достаточно известной и внушала уважение. Спорить с ним было и трудно и неловко. Но Костя нисколько не сомневался в своей правоте, и ему очень хотелось вписать в историю болезни другой диагноз. Лишь поздно вечером, перед самым уходом из клиники, он вдруг усомнился в правильности своих выводов и, не желая откладывать дела до завтра, тут же заново, самым тщательным образом обследовал этих больных. Он снова опросил их, снова, не пропуская ни одной детали, выслушал и направился в лабораторию, поторопиться с анализами. И все же, уходя из отделения, подумал: «Какое счастье, однако, что впереди еще рентген, что больных посмотрит ассистент профессора, а потом и сам профессор... Тогда уже не будет сомнений...»

Он впервые почувствовал всю свою ответственность за диагноз, за лечение, за жизнь вверенного ему больного.

«Жизнь человека!.. — думал он. — Мне доверена жизнь человека... Я отвечаю за нее...»

Он мыл руки, продолжая думать о последнем больном, и не замечал, что уже несколько раз намыливал их, обмывал и снова намыливал.

— Ой, доктор, больно уж ты сегодня крепко взялся за дело... — подавая полотенце и добродушно смеясь, сказала Домна Ивановна. — Эдак сразу изведешься.

— Ничего, Домна Ивановна, я сильный.

— Вижу, что сильный, а только силы надобно смолоду беречь... Видишь, один только денек и поработал, а уж делаешь одно, а думаешь о другом...

— О чем это вы?

— Да вот — моешь руки, а не видишь их, о больных думаешь...

— Да... — совсем смутился Костя. — Задумался. А почему вы думаете, что о больных?

— Да уж вижу. Хороший доктор только когда спит — о больном забывает. А то и во сне их видит.

Домна Ивановна проводила Костю до вешалки и, вдруг снизив голос почти до шепота, сказала:

— Там у вас во второй палате учитель больной... У самого окна...

— Самойлов?

— Он.

— У него навернсе цирроз печени.

— А сердце?

— Ничего особенного.

— Неверно. Худое у него сердце... — внушительно сказала Домна Ивановна. — Совсем худое... Дышит — никуда не годится...

— Что вы? — встревожился Костя. — Я пойду по слушаю.

— Не надо, — уверенно остановила его санитарка. — Зачем его пугать? Идите домой, а здесь, слава богу, дежурный врач. Я ведь это на будущее говорю.

Костя ушел усталый, но довольный, и только разговор с Домной Ивановной оставил неясное беспокойство.

«Надо будет позвонить дежурному врачу, обратить его внимание, — подумал он, выходя на улицу. — Хотя нет, это сделает Домна. Но как же случилось, что она, санитарка, заметила нехорошее дыхание Самойлова, а я, врач, тщательно выслушавший больного, не обратил на это внимания?.. Впрочем, может быть, она ошиблась?.. Даже наверное...»

Он успокоился и стал думать о Лене. Что она расскажет ему о своем первом рабочем дне? Ведь и она должна начать свою врачебную деятельность, если только ремонт в здании хирургической клиники закончен. Ее отец, один из известных профессоров, взял ее в свою клинику факультетской хирургии, и Костя страдал оттого, что Лена будет работать в другом конце города, что он подолгу не сможет с ней

видеться и кто-то другой будет провожать ее по вечерам домой, точно так, как он провожал ее из института в течение многих лет совместного учения. С кем она там работает? Кто ее окружает?

Костя даже на мгновение приостановился. Что-то заныло в груди, как это бывало с ним, когда он узнавал неприятное о близком человеке. Ему представилось лицо красивого хирурга, доктора Михайлова, который часто бывал у отца Лены и так любезно говорил с ней, слишком уж ласково глядя на нее большими, немного наглыми глазами. Лена не находила, что его глаза неприятны, и от этого Косте они казались еще более нехорошими. А Лена, несомненно, нравилась Михайлову. Это было видно из того, как настойчиво он предлагал ей свою помощь перед экзаменами, как охотно рассказывал о своей молодости, студенческих годах, о своих операциях. А когда Михайлов пригласил Лену в театр, и она, против своего желания — как она потом объяснила Косте, — приняла приглашение и смотрела с ним «Маскарад» и потом, после театра, они еще долго гуляли, Костя почувствовал, что в знакомстве Лены с Михайловым таится угроза. Костя знал, что Михайлов женат, что у него есть дети, но ведет он себя как холостяк и все свободное время отдает то одному, то другому роману. И то, что он был уже немолод и довольно грузен, нисколько, как казалось Косте, не отталкивало женщин, — наоборот, они легко поддавали под его обаяние. Больше всего Михайлову нравились молодые девушки, чаще всего это были студентки, или «докторисы», как он их иронически называл.

Костя ненавидел Михайлова. Его остроумие казалось ему пошлым, его знания — поверхностными. Красивое полное лицо раздражало своим сытым выражением, а темные, порочные — обязательно порочные, Костя в этом не сомневался, — глаза и маленькие холеные, тщательно подстриженные усы вызывали отвращение. Когда Михайлов ел, с аппетитом уплетая большие куски, его сочные губы розовели больше обычного, ровные и крепкие зубы сверкали белизной и здоровьем. «Аппетитно ест, скотина, — думал Костя. — И у других вызывает аппетит». Отец Лены,

гостеприимный хозяин, любил угощать, и чем больше Михайлов ел, тем больше старик придвигал к нему тарелок, беспорядочно подкладывая и масло, и сардины, и сыр, и колбасу, а Михайлов, шутя и рассыпая шутливо-преувеличенные комплименты хозяину, вкусно опрокидывал в рот содержимое хрустальных рюмок или, перед тем как сделать глоток вина, рассматривал его рубиновую игру в ярком свете столовой люстры.

— Здоровый мужичище! — смеясь, говорил о нем отец Лены, профессор Никита Петрович Беляев. — Зверь-мужик! Вот так же точно, как он ест, так и работает, так и живет, так и любит! Сочный челове-чище!

От этих слов Косте становилось особенно неприятно, будто при нем хвалили его лютого врага.

— Кабан! — вырвалось как-то у Кости. — Жирный, здоровый кабан и больше ничего!

— Ну, что вы, что вы! — возразил Никита Петрович. — Впрочем, надо понять и вас, мой дорогой юный коллега...

Костя пришел домой с встревоженным сердцем. Он думал о том, что Михайлов еще не получил обещанной в этом году кафедры, стало быть, остался работать в клинике Беляева и будет ежедневно, ежедневно встречаться с Леной. Знакомый холодок в левой стороне груди возник и поднялся к самому горлу, мешая Косте отвечать на вопросы матери.

— Уж я тебе, Костенька, сегодня такой обед приготовила, такой обед, что хоть в Кремле на приеме подавай, — говорила мать.

А Костя думал о своем.

Перед Костей вставала фигура Лены, ее продолговатые зелено-серые глаза, золотистые, чуть-чуть рыжеватые волосы, и рядом вырастал Михайлов.

Костя понимал, что ревность его необоснованна.

«Это глупо... — сказал он сам себе, — очень глупо, бессмысленно...»

И сразу же ему стало легче, будто он с точностью выяснил, что для ревности нет и не может быть никаких оснований. Он спокойно закончил обед, позвонил в клинику, спросил дежурного врача о состоя-

нии своих больных и, получив удовлетворительный ответ, поехал к Лене.

Взглянув на окна профессорской квартиры, он увидел ярко освещенные комнаты и быстро поднялся по мраморной пологой лестнице в третий этаж.

В столовой было шумно, кто-то громко смеялся, и сквозь смех слышался голос Михайлова. Косте сразу же захотелось уйти.

— Позовите Елену Никитичну, — попросил он старую нянюку Беляевых. — Мне на минуточку... По делу...

Но Лена уже вышла в переднюю.

— Где ты был так поздно? Я уже звонила тебе. **Хочу** рассказать — какой день интересный! А у тебя? Идем — расскажи...

Она была оживлена и, введя Костю в столовую, торжественно-шутливо представила его:

— Ординатор госпитальной терапевтической клиники Константин Михайлович Сергеев! Прошу любить и жаловать.

— А-а, очень, очень рад, дорогой коллега, — как всегда радушно, встретил Костю отец Лены. — Садитесь. Вот здесь.

И сразу стал придвигать к нему все, что было на столе, накладывая в его тарелку без разбору все попадавшееся под руку. Потом налил большую рюмку водки.

— Папа, не спаивай его! — просила Лена. — Он не пьет.

— Хороший врач должен пить, — сказал Михайлов, поднимая рюмку.

— Но это, кажется, привилегия хирургов? — спросила Лена.

— Нет, всех врачей! — убежденно сказал Михайлов. — Позвольте выпить за ваши медицинские удачи, молодой товарищ!

Косте был неприятен покровительственный тон Михайлова, развязная манера разговора. Ему показалось, что Михайлов нарочно так говорит, чтобы подчеркнуть перед Леной пропасть, лежащую между их местами во врачебной иерархии. Ему хотелось отказаться от вина, но это было невозможно. И хозяин,

и его второй ассистент Николай Ильич Курбатов, и его жена, и Лена — все подняли рюмки, и Костя захватски опрокинул свою в рот. Он был доволен, что все вышло ловко, как у доброго старого выпивохи, и поспешил продолжить в том же стиле — закусил не сразу, а чуть выждав, словно наслаждаясь вкусом водки, потом съел крохотный кружок огурца.

— Ай-да не пьет! — громко рассмеялся Михайлов. — Да ведь он нас с вами, Никита Петрович, за пояс заткнет! Мы-то с вами не так начинали. Наперсток, и тот разливали по галстуку. Придется еще по одной...

Костя повеселел, приободрился и даже рассказал, что ему пришлось поставить под вопрос диагноз старого врача и вписать свой.

— Это бывает, — заметил Никита Петрович. — Это бывает!

— Однако надо быть осторожным... — смеясь, прибавил Михайлов. — Как бы не пришлось отменить ваш и снова вписать старый.

— Все может быть, надо выждать, — примирил их Курбатов.

Косте страстно захотелось доказать свою правоту, и он стал подробно рассказывать о болезни в том порядке, которого требует учебник клинической терапии: на что жалуется больной, что показали объективные данные, что найдено в анализах...

Никита Петрович выслушал и, улыбаясь, заметил:

— Все, что вы говорите, — правильно. Мыслите вы клинически верно... но возможно все-таки, что прав доктор Кольцов.

Костя растерялся и ничего не ответил, на душе снова стало беспокойно, хотя в сознании осталось убеждение, что ошибся не он.

— А по-моему, Костя прав... — решительно заявила Лена. — Кольцов в поликлинике не может так тщательно обследовать больного, как это сделал Костя в палате.

И Косте показалось, что Лена это говорит только для того, чтобы поддержать его и вывести из неловкости и смущения. Он был ей благодарен, но обида не оставляла, и он упрямо думал:

«Вот увидите, что я не ошибся, вот увидите!..»

— А вот Елена Никитична — молодец! — как будто нарочно чтобы рассердить Костю, вдруг сказал Михайлов. — Она мне сегодня так ассистировала при операции язвы двенадцатиперстной, что дай бог каждому! Просто молодец! Правда, Николай Ильич?

— Правда, — улыбаясь ответил Курбатов. — Она серьезно подготовлена.

— Ну-ну! — делая сердитый вид, внушал Никита Петрович. — Нечего портить мне дочь! «Ассистировала»!.. Подумаешь!.. Учиться надо! Учиться, учиться и учиться!

Все, что говорилось в течение вечера, казалось Косте направленным против него. И его рассказ о больных, и ответ знающих, опытных врачей, и слова Михайлова о Лене, и то, как он при этом поглядывал на нее, и заключительная фраза знаменитого профессора — все, все показывало, что он, Константин Сергеев, слабый, почти ничего не знающий врач. И при сравнении с уверенным Михайловым он для Лены тоже ничего не представляет, и Лена серьезно любить его, конечно, не может. Вот и сейчас она на него совсем не смотрит и о чем-то сговаривается с Михайловым. Конечно, этого нужно было ожидать, иначе и быть не могло. С Костей ее связывали только институт, общая работа, совместные возвращения домой, его помощь перед зачетами и экзаменами. Сейчас это кончилось, и с этим, видимо, кончилось и все...

Он грустно смотрел на ее порозовевшее лицо, на локон, закрывший от него глаза, на мягкую линию шеи и думал:

«Зачем же я тогда учился не тому, что надо? Зачем послушал отца и отдал столько лет медицине?»

Лена внезапно прервала его размышления:

— О чем ты, Костик?

— Так, ни о чем.

— Хочешь, я за тобой завтра заеду?

— Пожалуйста, я буду страшно рад.

— Ладно, договорились.

Косте самому было непонятно: отчего так сразу свалилась тяжесть, давившая грудь. Все, что терзало

его весь вечер, внезапно оставило его, и все снова, как в недавние дни, стало ясным и хорошим.

Он вышел на улицу вместе с остальными гостями, незаметно для себя проводил Михайлова до самого его дома и уже не чувствовал к нему никакой неприязни. Наоборот, он искренне его поблагодарил, когда, прощаясь, Михайлов сказал:

— А относительно диагноза болезней тех двух больных — вы не очень-то терзайтесь. Ведь возможно, что и Кольцов, и вы ошиблись. — Он просто и дружески рассмеялся. — В первые годы работы в клинике это нередко бывает. Да и не только в первые годы. И в этом ничего страшного нет! Позднее диагноз выплзет сам, и все станет ясно.

Костя, подставляя разгоряченное лицо прохладной влаге ночи, шел спокойной походкой и с удовольствием думал о завтрашнем дне.

III

Он пришел в клинику бодрый и свежий. Было еще рано, от вымытых полов и стен больших коридоров веяло приятным холодком, сквозь окна падал мягкий свет неяркого осеннего солнца.

В палате Костя, едва сказав: «Здравствуйте, товарищи!», сразу же обратил внимание на странную позу больного Самойлова.

Он сидел, беспомощно опираясь на высоко подложенные подушки, голова была запрокинута, рот открыт. Видимо, ему не хватало воздуха. Костя направился к нему, и уже издали, увидев его лицо, взволнованно подумал:

«Цианоз... Одышка... Наступает острая недостаточность сердца...» Лицо больного было иссиня-бледно, пересохшие губы темны, почти черны, испуганные глаза, несмотря на отеки, широко открыты и вместе с тем странно безжизненны и равнодушны. Живот вздулся, будто в него накачали воздух.

— Что с вами? — спросил Костя.

Больной ничего не ответил, и Косте показалось, что он презирает его за вчерашнюю болтовню о том,

что ему ничего не грозит, за пустой оптимизм, за беспомощность.

«Какое тебе дело до того, что со мной? — казалось, говорили его глаза. — Все равно ты не можешь мне помочь».

«Я не могу?.. Или медицина беспомощна?.. — подумал Костя. — Кого ты в этом обвиняешь?»

Больной дышал часто и поверхностно. Его нос, губы и концы пальцев синели все больше. Костя взял его руку — пульс был удовлетворительного наполнения. В чем же дело?

— Если можете, — попросил Костя, — скажите, что вы чувствуете?

— Слабость... — тихо, с большим трудом произнес больной. — Ужасная слабость... Кружится голова... И дышать трудно...

Это было видно и так.

Костя, стараясь не потревожить больного, осторожно приставил стетоскоп и выслушал сердце. Потом так же мягко, едва касаясь груди, выстукал его. Сердце было резко расширено.

«Так... — думал Костя, — развивается острая недостаточность правого желудочка. Отсюда тяжелое состояние. Но, может быть, дело не только в сердце, а в водянке живота? Если выпустить жидкость и назначить меркузал — должно наступить облегчение».

Он едва дождался прихода старших врачей и профессора и показал им больного.

Профессор, высокий, широкий в плечах, с длинным, гладко выбритым холеным лицом, блестя стеклами старинных очков в золотой оправе, просмотрел историю болезни, задал два-три вопроса больному и спокойно сказал:

— Пожалуйста, не волнуйтесь. Вам окажут помощь, и все пройдет. Вы отдохнете.

Но Косте показалось, что профессор недопустимо равнодушен и что ассистент также невнимателен к больному. Для спасения больного требовались героические меры, а ему уделяли времени не больше, чем любому другому.

«Это ужасно... — настойчиво билось в мозгу Кости. — Это ужасно...»

Но обход продолжался, будто ничего ужасного не было. Однако в коридоре профессор сразу же остановился:

— Относительно Самойлова... — сказал он тихо. — Выпустите жидкость, дайте внутривенно — глюкозу, внутримышечно — гитален или кофеин... Следите за сердцем, — старайтесь предупредить дальнейшее развитие недостаточности...

И Костя сразу стал спокойнее. Он узнал совершенно точно, что делать. Сам Василий Николаевич, заслуженный деятель науки, крупнейший терапевт — Костя благоговейно перечислил про себя все звания, степени, должности профессора — директор клиники, член-корреспондент многих иностранных терапевтических обществ, автор нескольких десятков объемистых трудов о болезнях сердца и печени, — сам Василий Николаевич указал, что надо делать. О! Это не шутка! И твердая уверенность, спокойствие за судьбу больного охватили Костю. И ничего обидного не было в том, что, при всей корректности профессорского тона, слова его все же казались предназначенными больше для студента четвертого, пятого курса, нежели для врача, хотя бы и очень молодого.

«Внутривенно...» «Внутримышечно»... Это, конечно, несколько излишне, это технические подробности, которые, само собою разумеется, Костя обязан хорошо знать. Но ничего обидного в этом не было. Тем более что все назначения профессора полностью совпадали с тем, что назначил бы и он сам. Правда, он дал бы еще и меркузал против дальнейшего накопления асцитической жидкости. Но профессор, видимо, просто выпустил это из виду. Или, может быть, считал, что это само собой разумеется. А впрочем, следует спросить его, может быть это и не нужно?

Они обходили палату за палатой, осматривали больного за больным. В торжественном шествии первым двигался медлительно-важный профессор. За ним, чуть-чуть отстав, два ассистента, затем дежурный врач, ординаторы и, совсем в конце, палатная сестра и группа студентов. Профессор уделял больным немного времени, спрашивал мало или совсем не спрашивал, но затем, собрав всю свиту у себя в ка-

бинете, называл больных по фамилиям, как старых знакомых, хорошо помнил их болезни, останавливался на деталях, отмечал изменения, подробно обсуждал способы лечения. Обернувшись к жадно слушающему Косте, он впервые назвал его по имени-отчеству:

— Что касается больного Самойлова, то здесь, Константин Михайлович, по существу, никакого разрыва между диагнозом Кольцова и вашим нет. Напрасно вы волнуетесь. Кольцов записал «декомпенсация», ибо это основное заболевание, из которого потом, вследствие длительного венозного застоя в печени, образовался цирроз со всеми его последствиями — водянкой, плотной печенью, увеличенной селезенкой, уробилинурией и так далее. Вы же, обнаружив все эти тяжелые явления, сочли их, так сказать, главными. И потом, не все ли равно — отчего больной умрет? — словно испытывая молодого врача, неожиданно сказал профессор.

— Разве сейчас ему... что-нибудь грозит? — стараясь быть профессионально-спокойным, спросил Костя.

— Ничего, кроме смерти.

— Как скоро?

— Не позднее вечера.

Косте трудно было с этим примириться. Торопливо вернувшись во вторую палату, он попросил сестру Лидию Петровну срочно приготовить все для выпуска жидкости. Но все это уже было приготовлено. Костю несколько смутил троакар — прибор для прокола. Он брал его в руки не впервые, кажется в третий раз, однако присутствие ассистента клиники и подчиненного ему персонала вызывало смущение: он старался избежать неловкого движения, боялся причинить излишние страдания больному, затянуть процедуру. Но все окончилось благополучно, и, усталый от напряжения, довольный удачей, он сам впрыснул больному гитален, сам помог ему спустить ноги с постели, и ни на одну минуту не оставлял его, даже в присутствии сестры или Домны Ивановны.

До полудня больной чувствовал себя хорошо. Он даже поблагодарил Костю за доброту и внимание.

Лицо его просветлело, губы слегка порозовели, он говорил заметно громче и даже улыбался. Но во второй половине дня ему вдруг стало хуже. Все, что Костя увидел утром, когда вошел в палату, теперь возобновилось с прежней силой.

Напрасно Костя, желая уменьшить прилив венозной крови к правому сердцу, посоветовавшись с дежурным врачом и позвонив к старшему ассистенту, выпустил у больного триста кубиков крови, напрасно ввел в вену адреналин с глюкозой и строфантин, когда сердце уже почти остановилось. Глаза больного глубоко запади, нос заострился, кожа стала сиреневой. Костя тщетно искал пульс на холодной и липкой руке, — пульса не было. Больной, точно нехотя, автоматически втягивал воздух и долго не выпускал его, потом, выпустив и словно устав, больше не вдыхал. В горле неожиданно что-то странно, как в фотоаппарате, щелкнуло, зрачки стали большими и темными, крохотные блики, только что говорившие о жизни, исчезли.

«Кончено... — тоскливо подумал Костя. — Все кончено...»

Он знал, что больной умер. Все признаки смерти были налицо. Он видел весь процесс умирания, слышал всю его трагическую музыку. «Смерть состоялась... — назойливо повторялось в его мозгу. — Смерть совершилась...»

Но с этим трудно было согласиться. Невыносимой стала сама мысль, что его, Костино, прямое назначение — спасти человека — не выполнено, что он выронил на полпути драгоценную ношу, которую обязан был донести в целости.

«Можно испробовать... — искрой пронеслось в сознании. — Нужно испробовать адреналин внутрисердечно...»

Ему показалось, что он чувствует, как игла входит в мышцу сердца, и он поспешно и вместе с тем легко нажимал пальцем на кнопку шприца. Потом так же осторожно, словно боясь причинить боль, вытянул иглу и взял остывающую руку Самойлова, упрямо желая услышать пульс. Но пульса не было, рука была безжизненна. Он приставил трубку к груди и стал

жадно слушать, — в груди было тихо и пусто, точно из нее что-то вынули.

Выражение страдания исчезло с лица Самойлова, будто от лекарства ему стало легче и он спокойно уснул.

Костя неподвижно сидел у постели и смотрел в лицо покойника.

— Ну, ладно... — тихо сказала Домна Ивановна, все это время не отходившая от Кости. — Иди, доктор, теперь уж мое дело... Иди, отдохни.

— Идите, идите, — потребовала и дежурная сестра, понявшая состояние молодого врача.

Домна Ивановна привычным движением легко стянула покойника книзу, переведя его из полусидячего положения в лежащее, вытянула из-под головы лишние подушки, с минуту придерживав пальцами набухшие веки, закрыла глаза, потом так же просто перевязала платком лицо, как перевязывают при зубной боли, и накрыла простыней.

— Идем, доктор... — повторила она. — Твое дело возле живых. Да не печалься ты так, — прибавила она, поглядев в лицо Кости. — Один помер, а сотню других вылечишь.

И уже в коридоре, желая его ободрить, сказала:

— Ежели всех вылечишь, — так кто же умирать станет? Старикам уж так от бога положено. Знаешь, как говорит пословица: «Молодые помирают по вбору, а старики поголовно».

Костя сидел в комнате врачей усталый и опустошенный. Было такое ощущение, будто он проделал длительную, тяжелую работу, чтобы достигнуть очень важной цели. И вот сейчас вдруг стало очевидно, что все было напрасно, что время и энергия истрачены бесполезно.

В глубоком кожаном кресле было удобно, кругом стояла полная тишина, и Костя, обессиленный после многочасового напряжения, незаметно задремал. Но тотчас же, словно разбуженный резким толчком, он проснулся и не мог сразу понять: где он? Костя огляделся, и действительность снова встала перед ним. Он вспомнил лицо умершего Самойлова, его неживые глаза, смотревшие с печальным укором:

«Что же вы так плохо лечили меня? Видите, из-за вас я умер».

Костя ощутил этот упрек так реально, будто действительно сейчас его услышал. И невольно, страстно желая снять с себя несправедливое обвинение, стал мысленно возражать.

«Это неправда, — думал он. — Это не из-за меня. Ничего не изменилось оттого, что я в первый день не обратил внимания на сердце. Я сделал все, что было в моих возможностях...» — «В твоих возможностях? — остановил он сам себя. — Но, может быть, твои возможности ограничены?» — «Нет, нет! — продолжал он думать. — Я сделал все, что можно в подобных случаях сделать. Ни один врач в мире не смог бы сделать лучше. Я предпринял больше, чем предполагали профессор, и ассистенты, и остальные врачи. Смерть была предрешена. Она была подготовлена всем ходом болезни».

Перед ним отчетливо проходила история болезни Самойлова, словно она красной линией была проведена на карте, изображавшей жизнь больного. Тяжелый ревматизм в детстве, отсюда порок трехстворчатого клапана, потом полуголодное существование, естественно вместе с пороком ослаблявшее мышцу сердца; потом постепенно, но неустраимо увеличивающаяся недостаточность правого предсердия, вызывающая венозную застойность крови в печени. Печень резко увеличилась, превратившись в огромный резервуар для крови, которой скапливалось в три, пять раз больше нормы. Длительная застойность дала цирроз печени, она увеличилась, стала плотной, болезненной, потом скопилась жидкость, появились десятки других расстройств... И вот все больше и больше слабеющее сердце не выдержало, — наступила резкая недостаточность и... конец.

«Кто же виноват? — терзался Костя. — Я? Дежурный врач? Ассистент? Профессор? Нет, мы сделали все, что было в наших силах. Мы использовали все средства, предоставленные нам наукой».

«Но в том-то и дело, что средств этих мало, — подсказал Косте какой-то голос. — В том-то и дело, что наука во многих случаях беспомощна. Если бы

умели лечить ревматизм, не было бы порока сердца. И если бы могли избавить человека от порока сердца — не возникла бы декомпенсация. Если бы не декомпенсация — не было бы кардиоцирроза, если бы...»

В дверь постучали. В кабинет вошла Лена. Костя вскочил, пошел навстречу.

— А я боялась, что не застаю тебя, — весело говорила Лена. — Задержалась в клинике, потом папа обещал подвезти на машине, но тоже запоздал. А что с тобой? Почему ты такой... на себя не похожий?

Повернув Костю к свету, она всмотрелась в него.

— Э-э... Что-то случилось-приключилось... Что произошло? Расскажи.

— Ничего особенного, — уклонился было Костя. — Идем.

Он стоял высокий, тонкий, с волосами густыми, темно-русыми, всегда падающими на большой лоб. Светлые глаза его, казавшиеся особенно светлыми в черной оправе очков, были не юношески серьезны, даже строги.

— Нет, нет, — настаивала Лена. — Расскажи.

— Ты не помнишь, кто из крупных хирургов сказал: «Врач умирает с каждым своим больным»?

— Кажется, Денни. Нет, не помню. А у какого врача умер больной?

— У доктора Сергеева.

Выражение лица и голоса Кости, хоть он и старался быть спокойным, испугало Лену.

— Что же, в конце концов, случилось? Впрочем, погоди. Ты уже свободен?

— Да.

— Тогда идем. Ты все расскажешь на улице.

В гардеробной она, неожиданно для самой себя, заботливо взяла Костино пальто, помогла надеть его, как помогала только отцу, и нежно поправила кашне. На улице она ни о чем не стала спрашивать. Костя сам рассказал все, как было, стараясь не выдавать своего состояния. Но Лена все прекрасно понимала, и, выслушав, бросила коротко, как бы подчеркивая этим, что особого значения не придает случившемуся:

— Что ж, это обычная вещь, Костя! Это, как говорит папа, «бывает, это случается».

И, не давая ему что-либо возразить, энергично предложила:

— Знаешь что, Костик! Сегодня в филармонии чудесный концерт. Папин абонемент, сам он занят в Пироговском обществе. Пойдем? К первому отделению мы опоздали, а на второе как раз успеем. Даже если пойдем пешком. Играют Рахманинова. Пойдем?

Они ускорили шаг и через полчаса уже сидели в огромном зале филармонии.

Блестящие белые колонны, хрусталь люстр, величественный орган, уют красного бархата, — все, что в течение многих лет было привычно и любимо, наполнило особенной теплотой. И мощный оркестр, знакомый по многим десяткам слышанных здесь произведений, и высокая фигура молодого дирижера, в короткое время ставшего близким всем, кто часто посещал филармонию, — все настраивало на высокий, торжественный лад. Юный московский пианист играл второй концерт Рахманинова для рояля с оркестром. При первых же аккордах Костя почувствовал то волнение, которое обычно охватывало его, когда он слушал это произведение. Нежная романтика концерта, вдохновенная лиричность, какая-то особенная рахманиновская поэтическая приподнятость уносили его далеко от тяжелых мыслей, от пережитых тревожных минут. Близость Лены вносила успокоение в его истомленное сегодняшним несчастьем сердце. Он на время забыл о Самойлове, отвлекся, и только где-то в далеком уголке мозга тревожила мысль:

«Как жаль, что все это прекрасное сейчас кончится и опять начнется то, мучительное...»

Они долго не выходили из зала, переполненного восторженно аплодирующей публикой. Потом медленно стали продвигаться по уже затемненному залу, словно не желая расстаться с местом, где пережили такие светлые минуты.

По улице они шли медленно и молчали, не торопясь — как бывало раньше — поделиться впечатле-

ниями. Только у самого дома Лена, прощаясь, сказала просто, как самое обычное:

— Папа в совершенном восторге от тебя, Костик. Он говорит, что в его выпуске нет ни одного такого способного врача. Он очень сожалеет, что ты не хирург...

Костя зло усмехнулся:

— Он еще ничего не знает о моем дебюте.

— Ах, какие ты глупости говоришь! Да ведь больной был безнадежен. Он мог умереть еще до твоего прихода в клинику.

— Нет, Лена, ты не можешь этого понять! Надо самому это пережить...

— Ты ведешь себя как неврастеник! — говорила она убежденно, даже сердито. — Не смей больше об этом думать!

Но Костя не мог не думать об этом.

«Нет, я не неврастеник. Я — врач, я не хочу, чтобы человек, которому осталось много лет до естественной смерти, умер только потому, что он имел несчастье заболеть. Я хочу вылечить своего больного... Это моя обязанность... Я врач».

IV

Жизнь клиники шла обычным чередом. Одни больные поправлялись совсем, «начисто выздоравливали», как говорила Домна Ивановна, и выписывались, довольные и благодарные. Другие, с тяжелыми хроническими болезнями, отдохнув, набравшись сил, уходили лишь «подлеченные», как называла их все та же Домна Ивановна. Третьи задерживались надолго или уходили домой, как пришли в клинику, — слабые и нетрудоспособные. Четвертые... Но о них Костя не любил думать.

Костя отдавал все свое время клинике и часто оставался даже на ночь, если ему казалось, что больному грозит опасность. Он нередко ошибался — больной хорошо спал всю ночь. Дежурный врач убеждал его идти отдохнуть, но Косте казалось, что как только он уйдет, с больным случится несчастье.

По ночам, когда в палатах гасили огонь и только дежурная синяя лампа проливала скупую струю сумеречного света, Костя ощущал себя так, как в первые дни своей самостоятельной работы в клинике. Возникало чувство гордости за то важное, ответственное дело, которое было ему поручено, и охватывал страх, когда казалось, что над больным нависает угроза. Тяжелое, хриплое дыхание, спутанные слова бреда, чей-то сдержанный стон — все заставляло настораживаться, присматриваться к больному, оказывать ему помощь, которую без него, возможно, не оказали бы из-за выработанного многолетней практикой спокойствия персонала. Даже добрая Домна Ивановна часто отказывалась вызвать к больному дежурного врача или сестру и говорила:

— Ничего, голубок, и так заснешь, и доктор и сестра заняты около серьезного больного.

И сестры, добросовестные, строгие, обязательные, тоже нередко сердились:

— Ничего вам сейчас не надо. Спите. Утром вас посмотрит врач.

Костя, не стесняясь, брал на себя работу сестры. Он охотно сам вводил больному камфару и, удовлетворенный, слушал потом ровный пульс и спокойное дыхание больного, он впрыскивал пантопон и радостно наблюдал тихий сон только что метавшегося от боли человека. Он деятельно и энергично оказывал ту помощь, без которой, в конце концов, можно было бы обойтись, но которая приносила сон и покой.

— Это первое и обязательное дело, — говорил Костя, — облегчить страдания! Может быть, его нельзя вылечить, может быть, ему не вернуть здоровья, потому что, к несчастью, «патологоанатомические изменения в тканях организма необратимы в сторону их нормального строения...» Но уменьшить остроту страдания, устранить мучительное томление организма — это священная обязанность врача, о которой, увы, некоторые врачи порою забывают.

И Сергеев находил большое удовлетворение в той повседневной работе, которая здесь же на месте обнаруживала свои благодатные результаты. Он жестоко страдал, когда кто-нибудь из больных не чувство-

вал облегчения, несмотря на принятые меры. Уже все больные, не только в его палатах, но и во всем обширном отделении, знали, что доктор Сергеев — добрый и ласковый человек. И даже ничему не удивлявшаяся, ко всему привыкшая Домна Ивановна всем рассказывала, что в ее отделении «очень даже любезный» молодой ординатор.

— Он тебя и выслушает, и скажет доброе слово, и тут же на месте поможет. А то даже и посидит у постели, пока ты не уснешь или не успокоишься.

Степан Николаевич нередко поддразнивал Костю. Увидев однажды, как он терпеливо и внимательно, держа под руку, «прогуливал» в коридоре старуху, впервые поднявшуюся после длительной болезни, он бросил на ходу:

— Доктор Сергеев, похоже, что вы скоро начнете собственноручно ставить больным клизмы...

— А что же? Если нужно будет — поставлю, — огрызнулся Костя.

В клинике доктора Сергеева немного побаивались. Малейшее невнимание или небрежность к больным вызывали возмущение Кости, и он сурово отчитывал виновного. И даже старшая сестра, хозяйка отделения, властная Лидия Петровна, прозванная, по меткому определению Домны Ивановны, игуменьей, быстро сдалась и почтительно слушала указания молодого врача.

— А наша-то мать-игуменья, — умилялась старая санитарка, — совсем как перед митрополитом стоит. Только что к ручке не прикладывается.

В течение дня Костя несколько раз обходил своих больных. И каждый раз его белоснежный халат привлекал внимание всех, любивших поохать, порассказать доброму доктору о своих страданиях.

— Константин Михайлович, у меня что-то круглое под самое сердце подкатывает. Отчего это?..

— Доктор, у меня голова кружится, как будто я пьяный. Дайте, пожалуйста, чего-нибудь...

— Доктор, посмотрите, что это у меня за пятна на лице появились?

Костя осматривал больного, делал назначение, успокаивал и шел дальше. Часто он шутил, смеялся,

отвлекал от мрачных мыслей. И больные благодарно смотрели на доктора и с сожалением расставались с ним.

— Убедите даже умирающего, что он скоро поправится, и он спокойно умрет, — говорил Сергеев. — Мы не можем ему помочь, но мы обязаны поддерживать его веру в спасение.

— Этот самовар изобретен за три тысячи лет до вас... — язвил Степан Николаевич. — Так что зря стараетесь...

— Что же делать, если многие о нем прочно забыли! — отвечал Костя.

Степан Николаевич был старый, много знающий врач, «уставший», — как он говорил, — от знаний и опыта». С научной работой у него не получилось, о кафедре он давно перестал мечтать. Работал он — как казалось — вяло, апатично. Одевался чрезвычайно небрежно: халат носил нараспашку, воротнички были мятые, скрученный галстук сползал набок, складки пиджака и брюк были серы от пепла. Даже выслушивая больного, он задавал вопросы лениво и бросал иронические реплики.

— Ай-ай-ай, как страшно! — поддразнивал он больного.

— Да ведь больно, доктор, — обижался больной.

— Ничего, не помрете.

— Не помру, да больно.

— Господь терпел и нам велел.

Говорилось все это в шутку и во всяком случае не со зла, но очень похоже было на равнодушие и ту усталость, о которой упоминал сам Степан Николаевич. И Костя этого не мог понять, а порою сердился так, что, не выдержав, резко бросал:

— Не понимаю я вас, не понимаю! Вы — добрый человек, и много знаете, и много можете, но...

— Вот именно «но»... — сразу же прерывал его Степан Николаевич. — Знаю много, «но», — он делал резкое ударение на «но», — ничего не умею. Или, вернее, знаю много, очень много, «но», увы, гораздо меньше, чем это требуется.

— Степан Николаевич, вы лечите тридцать лет...

— Вот именно, тридцать лет, — не давал он дого-

ворить. — Лечу тридцать лет, «но» никого не вылечил! Никого! Не надо обманывать себя. Люди поправлялись сами, если их организм был крепче болезни, и умирали, если болезнь одолевала организм. Да-с. А я здесь причем? Причем здесь я?! — начал и он сердиться. — Я в самом лучшем случае могу чуть-чуть помочь природе! Помните, наверное же читали слова Гиппократы? «Природа больного есть врач его, а врач только прислуживает природе». Да-с, это совершенно правильно. А ежели природа отказывается защищать больного, то вы можете лбом стенку прошибить — ничего не поможет!

Степан Николаевич кашлял, издавая протяжные, свистящие звуки. Откинув голову, он сердито смотрел на Костю. Потом, вытерев слезы на посиневших щеках и закулив, говорил:

— Вот видите, десять лет как кашляю, и никто помочь не может.

— А вы попробуйте не курить...

— А вы попробуйте не говорить глупостей.

— Ну, тогда не станем...

— Нет, станем, станем! Позвольте уже сказать вам до конца! — резко, даже грубо обрывал он Костю и, вскакивая, говорил горячо, будто бы действительно так и думал:

— Порою мы даже не врачи, нет-с, не врачи! Мы только наблюдатели и свидетели болезней, часто дельные и участливые, но нередко и холодные, и бесстрастные. Что мы знаем? Ни-че-го! Что мы умеем? Ни-че-го! Берите нашу клинику или другую такую же, как наша. Ведь именно здесь концентрируется все лучшее, что есть в медицине, именно здесь наибольшая возможность извлечь из нас максимальную пользу для больных. Разве можно сравнить возможности клиники с возможностями домашней обстановки пациента или с приемом в амбулатории? Разве между методами клинического исследования и способами квартирно-амбулаторного освидетельствования не лежит пропасть? Ну и что же? Легче от этого больному, лежащему в клинике? Ничуть! Да-с, ничуть! Пожалуйста, извольте взглянуть, дорогой коллега!.. — Он распахивал двери кабинета. — Извольте

взглянуть хотя бы на наше отделение! Да-с. Больные лежат по три месяца, их терзают всеми способами исследований и никак не могут отличить катара желудка от язвы, язвы от рака...

— Неправда! — возмущался Костя. — Неправда! Как вам не стыдно!..

— Стойте, не прерывайте, молодой человек! — сердился Степан Николаевич. — Дайте договорить! Яйца курицу не учат. Да-с... Так о чем же? Ах, вот! Нередко мы подолгу не можем отличить пиело-нефрита от воспаления аппендикса, простую ато-нию кишечника от непроходимости вследствие новообразования, камень печени от поражения поджелудочной железы, туберкулез брыжжейки от опухоли...

— Неправда! — кричал Костя. — Глупости! Вы говорите о неподготовленных, неумелых врачах, о...

— Нет, не глупости! Я говорю не об отдельных врачах, не о персональной неподготовленности, не о бездарности того или иного эскулапа. Эти ошибки делают сплошь и рядом и умные, и талантливые, и опытные врачи. Я говорю о медицине!

Только длительный приступ кашля, словно призванного проиллюстрировать справедливость доводов Степана Николаевича, или срочный вызов в палату могли остановить этот поток обвинений.

Можно было думать, что все сказанное действительно его глубокое убеждение, если бы тут же на месте он не опровергал самого себя.

— Что? Как? — спрашивал он вошедшую в кабинет сестру, как будто равнодушно, но на самом деле взволнованно.

— Температура быстро снижается, пульс и дыхание хорошие, самочувствие тоже...

— Враки, дерьмо, не верю! — свирепо бросал Степан Николаевич. — Не верю, сам посмотрю.

Он быстро направлялся в палату, видел бодрое лицо больного, слышал его слова:

— Спасибо, доктор, за сульфидин. Вы спасли меня...

— Глупости, — прерывал его доктор. — Организм вывез, а не сульфидин! Сульфидин — чепуха!

Он брал листок, лично им разграфленный, в который, по его приказу, ежечасно вписывались температура, пульс, дыхание, самочувствие, анализы, — все, что нужно было, чтобы детально проследить действие сульфидина. В зубах его торчала погаёшая папироса, пепел сыпался на листок, на жилет, лицо выражало равнодушие, и только в глазах видно было горение какой-то внутренней радости, которой он ни с кем не хотел делиться.

— Чепуха... Выдумки... Все зависит от организма... Причем тут сульфидин... В четыре часа повторите один грамм, — приказывал он уже на ходу. — Аккуратно записывайте.

Вначале он совсем не верил в сульфидин и ругал его грубо и презрительно. Потом много раз убеждался в его благодатном действии, но ругать продолжал. Затем стал систематически применять его при пневмонии, менингите, дизентерии, видел прекрасные результаты, спасал сотни людей. В глазах его тихо светились скрытые под полуопущенными веками огоньки, но, словно боясь сглазить удивительное лечебное средство, он продолжал отрицать его значение. Даже сравнительная статистика дисульфидинной и сульфидинной терапии, ярко рисующая поразительную силу нового препарата, не могла остановить его брюзжания. Он продолжал приводить десятки случаев, когда сульфидин вызывает отрицательное действие, когда он противопоказан, беспомощен, и говорил:

— Вообще, ничего не изменилось. Как люди помирали, так и помирают!

Сергеев никак не мог понять, что не дает покоя сердцу старика? Догадку подсказал ему профессор:

— Он влюблен в медицину. Да, да, влюблен, как в женщину... — смеялся Василий Николаевич. — Любит, и ревнует, и не верит, и сам мучается, и ее терзает. Да, да... А вот попробуйте ее обидеть, — убьет!

И профессор, довольный удачным сравнением, долго смеялся.

Очевидно, это было именно так, потому что и друг Степана Николаевича — патологоанатом профессор Гарин тоже любил приводить аналогичное сравнение.

— Для него медицина — сын родной. Он на него за юношеские глупости или промахи и кричит, и ногами топает, и кулаками по столу бьет, а про себя думает: «Это от молодости, это пройдет, а зато ведь красив, умен, талантлив».

Но дело было, очевидно, не только в этом. Многое, вероятно, шло от неудавшейся жизни, от борьбы между стремлением к большой работе и рано наступившей усталостью, от собственного скепсиса и невольной зависти к преуспевающей молодежи. Недаром Степан Николаевич вспоминал:

— В наше время молодых на пушечный выстрел не допускали к больному. Мой профессор, когда я пришел в клинику, говорил: «Вы раньше пятнадцать лет будете галоши мне подавать, а уж потом займетесь наукой».

Костя и любил и не любил старика. Тот, в свою очередь, относился к нему так же — то ласково, то грубо, то возмущаясь его «самонадеянностью и преждевременными претензиями», то убежденно восклицая: «Из этого дерзкого мальчишки выйдет толк!.. Это будьте уверены!..» Очень нравилось старику дразнить молодого врача. Он охотно затевал длинные споры, как будто вызывая партнера на горячий поединок. И Костя действительно принимал все всерьез, возмущался, протестовал, не замечая, что этим еще больше подталкивает старика к насмешкам над медициной, над самим собой, над молодежью.

Сейчас Степан Николаевич нащупал «новую слабость» Кости и, пользуясь каждым удобным случаем, добродушно-язвительно улыбаясь, всячески «высмеивал» его затею.

— Тэк-с, тэк-с, тэк-с... — начинал он, входя в кабинет и привычно на ходу закручивая папиросу. — Тэк-с, значит, новое увлечение?

— Значит — новое увлечение... — уклонялся от спора Костя.

— Значит — «эндо-кринология»? — скандировал старик.

— Значит — эндокринология.

— «Инте-ре-сней-шая область»?

— Интереснейшая область.

— «Открывающая безграничные перспективы перед молодым врачом?»

— Совершенно точно.

Степан Николаевич саркастически цитировал слова Кости, сказанные им накануне в кругу товарищей. И сейчас Костя отделялся шутливо-лаконичными фразами. Но старик напористо донимал его хитрыми вопросами и невольно вовлекал в спор.

— А то, что эта область — «темна вода во облацех», — вас не расхолаживает?

— Наоборот, именно это и привлекает. Надо работать, искать, находить!

— А то, что задолго до вас люди гораздо талантливее и умнее вас работали, искали и все-таки не находили, — тоже не страшно?

— Нисколько. Во-первых, много, очень много находили, а во-вторых, еще больше можно и должно найти.

— Подумаешь, какой Колумб нашелся.

— Зачем Колумб? — обидно смеялся Костя. — Вы путаете, он не занимался медициной. Пирогов, Боткин, Сеченов, Мечников, Павлов! Вот какие имена меня волнуют, вот кто меня влечет.

— Павлов?..

— Да, Павлов.

Степан Николаевич даже привскочил. Лицо его побледнело от гнева.

— Вы щенок! — внезапно вырвалось у него.

— Что?.. — вспыхнул оскорбленный Костя. — Что вы сказали? Повторите!

— Пожалуйста: щенок!

Костя вскочил. Лицо его стало зелено-бледным, губы дрожали. Он потемневшими глазами смотрел на ненавистного старика.

— Я щенок? — переспросил Костя. — Но разве это так уж плохо? Вы ненавидите молодых клиницистов потому, что сами ленивы и равнодушны! За тридцать лет вы ничего не смогли сделать и думаете, что никто не сможет? Сможем, сделаем! Увидите! А не вы — так другие увидят!

С бледным от злости лицом, с глазами, в которых

сверкали зеленые и золотые точки, Костя постоял мгновение, потом схватил со стола папку с историями болезней и, резко рванув тяжелую дверь, стремительно вышел в коридор.

V

Поздно наступившая осень была сухой и солнечной. В садах и аллеях медленно опадали последние желтые листья и, долго кружась в воздухе, нехотя опускались и покорно ложились по краям дорожки.

Костя, страстно любивший такие дни, выйдя из клиники, пошел вдоль знакомого проспекта. Тягостное чувство досады за непоправимую грубость сейчас заметно смягчилось.

Он старался отстраниться от случившегося, забыть о тяжелом инциденте, но мысли и чувства у него путались.

«Как хорош Ленинград в такие дни... — думал он. — Чудесная осень... Жаль, что это произошло... Зачем я вступил с ним в спор? Зачем я не сдержал себя? Надо забыть об этом, думать о другом... О Лене. За целый день я ни разу не позвонил ей. Сейчас позвоню. Пойдем вместе гулять. Надо рассказать об этой истории. Ведь он старый человек, старый врач. Когда я родился, он уже семь лет был врачом. Семь лет подавал профессору галоши... Оставалось еще восемь... Фу, какая чепуха лезет в голову... Зачем я думаю об этом? Надо переключиться на другое...»

Но о чем бы Костя ни думал, мысль упрямо возвращалась все к тому же. Вспоминалось лицо Степана Николаевича, его вначале свирепый, потом растерянный вид.

«Зачем он бросил это злое слово, зачем понадобилось оскорбить меня? — упорно думал Костя. — Если бы не это оскорбление, разве мог бы я так огорчить старика? Надо просить прощения... Я виноват, и я извинюсь».

Он решил написать письмо Степану Николаевичу и, приняв это решение, стал спокойнее, будто примирение уже состоялось. Последней мыслью, оконча-

тельно его умиротворившей, было решение уйти из отделения Степана Николаевича, то самое решение, из-за которого весь сыр-бор и загорелся. В клинике было самостоятельное отделение болезней эндокринной системы, и Костя решил перейти туда. «Может быть, он на это и рассердился? — подумал Костя. — Это вполне возможно. Ведь он прекрасный врач, и любит свое дело, и стоит горой за свое отделение».

Домой идти не хотелось. Он по телефону сказал матери, что не придет, затем позвонил Лене, но ее не было ни дома, ни в клинике. Как всегда, когда Костя не заставлял Лену и не знал, где она, его охватила смутная тревога. И сейчас, не найдя ее, он перебирал в уме все места, где она могла находиться, но ничего не мог придумать. Ему казалось, что она должна была пойти с работы обязательно домой, что больше ей некуда было идти, а она, оказывается, давно ушла из клиники, и дома ее нет, и никто не знает, где она может быть...

Костя долго бродил по сумеречным улицам, вышел к тяжелой арке Эрмитажа на гранитный мостик у Зимней канавки и пошел по затихшей набережной вдоль темной, притаившейся за оградой, невидимой Невы.

Чем больше Костя приближался к дому Лены, тем сильнее становилась боязнь не застать ее. Не доходя до Гагаринской, он сел на полукруглую гранитную скамью. Он хотел отдалить мучительную минуту, если окажется, что Лена еще не вернулась. Потом он тревожно поднялся по знакомой лестнице, с минутку постоял перед обитой черной клеенкой дверью. Не в силах побороть тревогу, отчетливо слыша частые удары собственного сердца, он позвонил.

Лены не было дома.

«Где она?»

Тягостная мысль, что случилось несчастье, уже не оставляла Костю. Его Лена, нежная, ласковая Лена, за пять лет дружбы ставшая для него самым дорогим, самым близким существом, его Лена, без которой он не проводил ни одного дня в течение последних трех с половиной лет, теперь становилась чужой, далекой. В этом нельзя было больше сомневаться,

это стало ясным до конца. Ведь уже однажды, в воскресенье, она сказала ему, что занята и не может с ним повидаться. Уже было несколько случаев, когда в ответ на вопрос, что она будет делать, Лена отшучивалась шуткой. И вот сейчас она опять исчезла на целый вечер, не предупредив его, не сказав дома, куда идет.

«Где она?»

Костя не мог отрешиться от мысли, что Лена проводит время с Михайловым. Их ежедневные встречи на работе, несомненная влюбленность Михайлова в Лену, его мужское умение нравиться — все говорило за то, что Михайлову удалось втянуть Лену в атмосферу ухаживания, объяснений, всего, в чем она рядом с ним — чувственным и ловким — оставалась наивной девочкой.

«Вот так же точно, как он ест, — вспомнил он слова Никиты Петровича, — так и работает, так и живет, так и любит...»

Лена с Михайловым!..

Эта мысль стала невыносимой. Костя шел быстро, почти бежал, не замечая этого, и только на мосту через Фонтанку, словно внезапно устав, замедлил шаг.

Еще долго потом, вспоминая об этом мгновении, он никак не мог понять, отчего так внезапно и резко замедлил шаг? Оттого ли, что неожиданно увидел перед собой две знакомые фигуры, не только затормозившие его движение, но, казалось, остановившие самое его дыхание? Или же, случайно замедлив шаг, он успел увидеть идущих ему навстречу Лену и Михайлова?

Они шли очень медленно, как люди, совершающие неторопливую прогулку. Он держал ее под руку, чуть пригнувшись к ней, чтобы ближе видеть ее лицо, наполовину спрятанное в пушистом темно-буром меху. Он что-то говорил над самым ее ухом, и она внимательно его слушала — это было совершенно ясно, потому что она прошла мимо, не подняв головы, не обратив внимания на Костю, только чуть отступившего в сторону, чтобы пропустить их.

Костя долго стоял без движения, без мыслей и смотрел вслед уходящим, уже почти невидимым

силуэтам. Его охватило отчаяние, то горестное, раздирающее грудь отчаяние, когда хочется закричать.

«Так это правда?.. — упрямо долбило что-то в глубине сознания. — Так это правда?..»

Ему казалось, что жизнь кончилась, что исчез самый смысл существования.

«Все кончено... — твердил он. — Все кончено...»

Он шел медленно, подавленный всем, что так неожиданно и так жестоко опрокинулось на него. Он не мог согласиться с тем, что сейчас произошло, настолько это было невероятно, и вместе с тем не мог отрешиться от горькой правды, всей своей беспощадной и неопровержимой реальностью представившейся его глазам.

«Не может быть...»

Но он снова видел знакомые черные силуэты, слившиеся в темноте ночи, и понимал, что все это правда.

Сергеев бессмысленно сворачивал с улицы в улицу.

Потом снова вышел на безлюдную набережную, прошел через мост и оказался далеко на Васильевском острове. Только здесь, внезапно увидев себя на незнакомой улице, будто его случайно забросило в чужой город, он сразу пришел в себя.

Было холодно и сыро. От реки поднимался туман, терпко пахло морем и смолой. Где-то близко кричали люди на баржах, нутужно и хрипло гудел буксир, надрывался пронзительный милицейский свисток.

Продрогший, усталый, он почувствовал особенную, до этого никогда не испытанную заброшенность, скорбное одиночество. Ему вдруг страстно захотелось заплакать, как это бывало только давно, в детстве, когда его незаслуженно обижали и некому было пожаловаться. Уже дрожали губы и подбородок, глаза стали влажными. Понадобилось большое усилие воли, чтобы сдержать прихлынувшие горькие слезы.

На мгновение он даже остановился, чтобы взять себя в руки. Он запрокинул голову и старательно глотнул воздух. Потом быстро направился к дому.

Мост лейтенанта Шмидта был уже разведен, и Костя пошел к Республиканскому. Но и там уже сто-

яли барьеры и мигали красные фонарики, возле них скопились запоздалые машины и пешеходы. Он долго метался по набережной.

Лишь глубокой ночью, совсем обессиленный, он пришел домой.

Родители, не дождавшись его, давно уснули, и Костя, боясь разбудить их, тихонько прошел к себе, быстро разделся и мешком свалился в постель. И сразу же глаза его закрылись. Густая, темная пелена опустилась над головой. Только одна короткая мысль смутно проползла где-то далеко в глубине уходящего сознания:

«Какой ужасный день...»

И он тяжело, будто провалившись в липкую тину, уснул.

VI

Утром, чтобы избежать встречи со Степаном Николаевичем, Костя еще дома написал несколько строк:

«Дорогой Степан Николаевич, я искренне раскаиваюсь в своем вчерашнем поступке. Вы были неправы, бросив мне обидное слово, но я был в тысячу раз более неправ, наговорив Вам кучу глупостей. Верьте, что я мог это сделать только в минуту ужасной вспыльчивости, которой, к сожалению, подвержен. Если можете, простите.

Уважающий Вас К. Сергеев».

Он передал письмо через санитарку и, не входя в ассистентскую, прошел в комнату дежурных врачей. И сейчас же, почти вслед за ним вошел Степан Николаевич. С погасшей папиросой в зубах, в распахнутом халате, обсыпанном на лацканах темным пеплом, взъерошенный и небритый, он был такой же как всегда — устало-равнодушный, даже апатичный. И, как обычно, будто ничего между ними не произошло, он подошел к Косте, подал вялую руку и небрежно сказал:

— Здравствуйте.

Костя крепко пожал протянутую руку. Ему захотелось при этом сказать что-то очень теплое, дружеское, но он только произнес:

— Простите!

— Забудьте об этом... — спокойно ответил старик. — Все это чепуха и больше ничего.

Они вместе начали обход больных.

И Костя, сейчас уже невольно пристально приглядываясь, увидел, что действительно за внешним равнодушием старого врача скрывается большая человечность. Он задавал вопросы внешне вяло и безучастно, но на деле узнавал самое необходимое и давал точные назначения, хотя и говорил коротко, как бы нехотя.

После обхода доктора Сергеева позвали к телефону. Зная, что позвонить могла только Лена, он вспыхнул тревожной радостью. Но сейчас же вновь возникло и чувство глубокой обиды, оскорбления. Ощущение резкой раздвоенности словно разрезало грудь: в одной половине загоралось острое желание побежать к телефону, услышать голос Лены, сговориться о встрече, в другой — упрямо долбило: не надо идти, все кончено, любовь осквернена, убита...

— Скажите, что доктор Сергеев занят и к телефону подойти не может.

Костя сказал это отчетливо и быстро вошел в палату. Но уже с порога он готов был побежать к аппарату, крикнуть, что он свободен и может говорить сколько угодно. Однако он задержался только на одно мгновение и решительно подошел к больному.

Во второй половине дня ему снова позвонили. Он сидел у самого аппарата, но громко сказал сестре, взявшей трубку.

— Скажите, что доктор Сергеев занят.

Сестра послушно передала его слова.

— Срочно нужен? — переспрашивала сестра, вопросительно глядя на Костю. — А кто его просит? Доктор Беляева?

— Доктор занят и подойти к телефону не может! — краснея и злясь, твердо сказал Сергеев.

Ему было трудно сосредоточить на чем-нибудь внимание, трудно работать. При обсуждении интересной статьи московского терапевта он, ждавший с нетерпением этого обсуждения, не мог высказать о статье ни одной мысли. За что бы он ни брался, все

представлялось ненужным, бесцельным. То, что вчера представлялось важным, сегодня потеряло значение. Двое новых больных, которым он хотел посвятить весь день, казались не представляющими клинического интереса. Работа с группой студентов, порученная ему профессором, также не привлекала его. И все, что он делал до сих пор и должен будет делать в дальнейшем, также вдруг стало выглядеть бесполезным, ненужным. И все сомнения и разочарования последних недель, возникавшие в процессе клинической работы, вновь налетали на него.

«Прав Степан Николаевич, — с горечью и словно нарочито настраивая себя на этот лад, думал Костя, прохаживаясь в ожидании профессора по саду, окружающему клинику, — тысячу раз прав, когда говорит о нашей беспомощности».

«Что мы знаем?» — вспоминал он слова старика. — «Ничего!» «Что умеем?» — «Ничего!»

И все скептические мысли, высказанные в разное время многими «ворчунами», как называл их сам Костя, сейчас услужливо появились, подкрепленные материалами литературы и собственными наблюдениями.

«С диагностикой дела обстоят очень плохо... — упрямо думал Костя. — Очень плохо... Распознавание болезней, увы, одно из самых неблагоприятных мест в медицине. Несмотря на бесконечное множество всяческих способов исследования, мы часто стоим у постели больного совершенно растерянные. Много болезней остаются нераспознанными или раскрываются с таким опозданием, что наша помощь уже не нужна. Даже в больших лечебных учреждениях, даже в нашей замечательной клинике мы нередко бываем беспомощны. Ни рентген, ни десятки самых сложных анализов, ни электрокардиограф, ни все эти уретроскопии, цистоскопии, ректоскопии и прочие и прочие исследования во многих случаях не могут помочь. Увы, даже при самой высокой технике немало больных подолгу остается без верного диагноза. А раз нет диагноза — нет лечения и, значит, нет исцеления».

Костя сразу восстановил в памяти один за другим

несколько соответствующих случаев и почувствовал удовлетворение оттого, что может пользоваться в своих размышлениях материалами «собственных клинических наблюдений» и делать хоть и печальные, но вполне самостоятельные выводы.

«Ну а если диагноз уже поставлен, если болезнь удалось точно определить, — тогда что? — незаметно для себя повторял Костя фразы Степана Николаевича. — Что тогда? Надо начать лечение, а лечить-то мы и не умеем. Вот в чем беда — лечить не умеем!..»

И услужливая память снова подсовывала Сергееву «отрицательный» материал: неудачи врачей, ошибочные диагнозы, не поддающиеся лечению болезни, неправильные назначения, даже случайные промахи.

«И в самом деле, — старался он убедить себя, тщательно подбирая «обвинительный материал», словно собирався выступить с обличительной речью. — В самом деле, на протяжении всего длинного и мрачного списка человеческих болезней мы, в конце концов, очень редко встречаем специфические средства, направленные прямо против данного заболевания. Почти все болезни предоставлены самим себе, и мы можем только пытаться повлиять на естественный ход событий. В этом списке слишком часто мы натываемся на обидные и раздражающие слова: «Этиология неизвестна», «Лечение — специфических средств нет», «Прогноз — неблагоприятен». Вот, например, в третьей палате лежит семнадцатилетняя девушка Ларионова с туберкулезным менингитом. Что мы можем сделать? Ничего. Как спасти ее? Увы, нечем спасать. «Прогноз абсолютно неблагоприятный». В изоляторе погибает от гангрены легких столляр-краснодеревец Мещанинов, и помочь ему ничем невозможно. Врач знает об этой болезни только одну истину: «Большинство этих больных погибает в короткое время!» — и все. А сердечные болезни, занимающие в клинике такое большое место, разве с ними обстоит намного лучше? Увы, нет! Острый эндокардит, острый миокардит, грудная жаба, астма сердечная, аневризм аорты и другие сердечные болезни имеют очень тяжелый, часто безнадежный прогноз...»

Если бы не приезд профессора, Костя, вероятно, долго еще размышлял бы на тему о несовершенстве медицины. Он словно пил терпкое и невкусное вино, чтобы только скорее опьянить себя, влить в грудь больше злой, тяжелой горечи, напитать сердце убивающей болью. Эта новая боль нужна была, чтобы отвлечь от другой, более острой. Он как рецептом пользовался знаменитым афоризмом Гиппократы:

«При двух одновременных болях в разных местах сильнейшая боль затемняет другую».

Отрываясь от бумаг, профессор любезно сказал Косте:

— По поводу перехода в эндокринологическое отделение? Пожалуйста, поговорим. Но ведь это разговор обстоятельный? Не так ли? Тогда попрошу вас завтра в два часа. Удобно вам?

— Вполне.

— Очень хорошо.

Костя уже переступил порог кабинета и хотел закрыть за собою дверь, когда профессор его окликнул:

— Впрочем, если вам по пути, — я сейчас еду в хирургическое общество и охотно подвезу вас. По дороге и поговорили бы.

— Буду очень благодарен.

Костя действительно был рад такому обороту и минут пятнадцать терпеливо ждал профессора. В просторной машине было спокойно и уютно. Профессор предупредительно сел вполоборота к нему, и Костя мог свободно, без помех, рассказать обо всем, что томило его в последнее время.

Профессор сдержанно улыбался, и снисходительная ласковость, с какой он слушал, была несколько неприятна Косте.

— Ваши разочарования и сомнения меня несколько не удивляют, — не переставая улыбаться, сказал профессор. — Они мне очень знакомы. И по собственным переживаниям, особенно в молодости, и по многим, вот таким же точно, как ваш, рассказам. Это естественно. Надо быть очень самодовольным, или

очень равнодушным, или, может быть, бездарным, пустым человеком, чтобы, придя в медицину, вполне удовлетвориться тем, что в ней есть, и на этом успокоиться. У нас действительно имеются рядом с огромными достижениями и совершенные провалы, и беспомощность, и неумение...

Профессор перестал улыбаться. Его большое, с лохматыми бровями и пристальным взглядом лицо перестало быть приветливым. Он даже понемногу начал сердиться.

— Но кто, собственно, сказал, что врачу, приходящему в медицину, нужно подать все готовое, а он будет, потирая ручки, только порхать от больного к больному и пописывать стандартные рецептики? Для вас уже и так много, очень много приготовлено, особенно за последние сто и, в частности, за последние двадцать пять лет. А теперь очередь за вами. Теперь вы, молодые, сомневайтесь, огорчайтесь, ищите, добивайтесь! Для вас открыто широчайшее поле, такое поле, какого никогда и нигде раньше не было. Работайте!..

— Василий Николаевич, — пытался что-то объяснить немного сконфуженный Костя. — Я именно об этом и хотел...

— Простите, — не дал ему договорить профессор, — я кончу свою мысль...

Он посмотрел в окно, увидел здание, где помещалось хирургическое общество, и коротко закончил:

— Работать надо! Вот и все!

— Об этом я и хотел поговорить.

— Прекрасно. Медицина вовсе не комфортабельный отель, и врачи — не туристы, приезжающие на все готовое.

Они вышли из машины.

Профессор не успел высказать ему то главное, что подготовил к концу — что скептики все преувеличивают, что и с диагностикой и с лечением обстоит с каждым днем все лучше и лучше, что целый ряд болезней, о которых так драматически говорил Сергеев, теперь уже легко диагностируется и неплохо лечится, что перспективы еще лучше, что...

— А вы разве не хотели послушать доклад Зага-

рина «Об операциях удаления щитовидной железы?» — особенно любезно, словно стараясь смягчить свою резкость, неожиданно спросил профессор. — Это ведь тесно связано с вашей новой специальностью.

Он взглянул на Костю и поощрительно улыбнулся.

— Я с удовольствием... — опять сконфузился ничего не знавший о докладе Костя.

— Так идемте, мы, кажется, опаздываем.

Доктор Сергеев в первый раз присутствовал на собрании Пироговского общества. В зале было тесно. За столом президиума и в зале он узнал известных ленинградских врачей, многие из которых были прославлены не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Вот небольшого роста, худощавый, с бородкой клинышком, со старомодным золотым пенсне на тоненьком носу, знаменитый хирург-онколог академик Петров, и рядом с ним его первый ассистент, светловолосый, с крохотной бородкой, уже полнеющий Холдин. Вот красивый, с умным и энергичным лицом, седеющий брюнет, замечательный хирург Джанелидзе. Чуть дальше плотный, приземистый, полный, в неловко сидящей форме профессор Военно-медицинской академии Гирголав. Обращает на себя внимание характерное лицо прославленного отоларинголога Воячека. Возле него углубившийся в правку корректуры — он всегда на ходу работает — старейший эндокринолог профессор Брейтман. За ними быстро приобретший известность врач — ученый-эндокринолог Баранов. А там у окна — отец советских кардиологов, высокий, импозантный, с громадными, лохматыми бровями профессор Ланг. Неподалеку от него талантливый рентгенолог профессор Рейнберг. Около него профессора-хирурги: Назаров, Виноградов, Корнев, Куприянов, вот... — и Костя внутренне весь словно застыл, съежился, — вот... профессор Никита Петрович Беляев. Значит, здесь и...

Обидно и оскорбительно было вспомнить имя Михайлова. Он не хотел назвать его даже мысленно. Вероятно, и она здесь... Как он не подумал об этом раньше? Она, наверное, здесь... Рядом с ним...

Костя упрямо старался не думать об этом и стоически отдавался ощущениям, возникшим до этого. Он хотел и дальше чувствовать необычную, до сих пор незнакомую гордость, глубокую радость от сознания того, что здесь, в этой светлой комнате сосредоточен весь цвет врачебных знаний. Нет, конечно, не весь... — поправил он себя. «Весь» было бы, если бы здесь были представлены еще и Москва, Харьков, Киев, Одесса, Казань, Саратов, Томск, Свердловск, Новосибирск, Иркутск и многие другие наши города, имеющие медицинские институты, клиники, лаборатории. Нет, это далеко не «весь», не «вся», не «все». Но это яркая, великолепная грань драгоценного камня советской науки. Каждый из этих врачей-ученых имеет свой огромный опыт, свои труды, свою школу, многие приобрели на своем поприще признание, славу, награды, высокие звания, многие состоят почетными членами иностранных научных обществ и университетов, корреспондентами мировых медицинских журналов. Вероятно, и они в начале своей деятельности бродили впотьмах, что-то искали, чего-то им не хватало...

«Медицина вовсе не комфортабельный отель, — вспомнил Костя слова Василия Николаевича, — и врачи не туристы». «Да, конечно, — всей страстью горячего порыва признал Костя, — надо работать».

Именно здесь, в этом помещении, переполненном людьми, жизнь которых целиком была отдана науке, Костя особенно резко почувствовал всю слабость своих познаний, всю мизерность первоначального образования, еще несколько не пополненного ни клиническим опытом, ни лабораторной работой, ни обширной медицинской литературой.

«Работать надо!» — раздавались в ушах слова профессора.

«Работать надо!» — откликалось в сознании Кости.

Чтобы хорошо знать нормальную и патологическую анатомию, нельзя довольствоваться одними студенческими познаниями, надо и теперь, и всегда, и как можно чаще бывать в прозекторской, надо тщательно, систематически, постоянно изучать эту основную область медицины. Чтобы органически усвоить

физиологию — надо работать в лаборатории и надо читать, читать, читать. Чтобы...

Он вдруг почувствовал странный холодок, пробежавший по спине. Ему хотелось обернуться, посмотреть, нет ли Лены, и, если она здесь, то одна ли, если не одна, то с кем?

Но у кафедры показалась внушительная фигура профессора Загарина, и Костя сосредоточил на нем свое внимание. Излишне полный и тяжеловатый для своего сорокалетнего возраста, но элегантный, уверенный, профессор держался просто и спокойно, словно находился в домашнем кругу старых добрых знакомых. Говорил он громко, закругленно, в свободном и даже, как показалось Косте, несколько развязном тоне человека, привыкшего к частым публичным выступлениям и к успеху. Тема его доклада, равно интересная и для терапевта, и для хирурга, и для невропатолога, и для рентгенолога, сразу же прочно захватила внимание аудитории. Заболевания щитовидной железы. Докладчик шел своей собственной дорогой. Много времени он уделил эндокринологии, в частности патологии щитовидной железы. Не отвергая ни одного способа, он говорил, что в области лечения этих болезней «всем нам хватит работы до конца жизни...» Он доказывал безусловную необходимость операции в большинстве средних и тяжелых случаев, но только после длительного и тщательного терапевтического лечения и доведения больного до «холодного состояния». Только это гарантировало жизнь и здоровье больным, в восьмидесяти случаях из ста возвращающимся к полноценной работе. Но он защищал также необходимость во многих случаях вмешательства только рентгена, дающего, по его словам, не менее шестидесяти процентов излечения, и горячо доказывал, что в случае неудачи рентгенотерапии можно произвести последующую операцию без опасения, высказываемого многими врачами, — что «рентген отрезает пути хирургии».

Доклад был чрезвычайно интересен, насыщен богатым клиническим материалом, иллюстрирован яркими примерами, убедительными цифрами. В заключение профессор продемонстрировал больных,

излеченных и возвращенных не только к жизни, но и к нормальному труду. С удивительной скромностью и тактом, оцененным всей аудиторией, профессор демонстрировал не только своих больных. В заключительной, очень удачно составленной группе, он показал пожилую женщину, юношу и девушку лет семнадцати, с небольшой красной полоской на открытой шее.

— Вот... — сказал он, демонстрируя пожилую женщину, — случай, так сказать, терапевтический. До лечения здесь была во всей своей красоте классическая триада: резко увеличенная железа, тяжелое печеглазие, основательная тахикардия, доходящая до ста восьмидесяти ударов, и все прочее, что полагается в этих случаях. В клинике у глубокоуважаемого Василия Николаевича, — он сделал жест в сторону профессора, в эту минуту шепотом объяснявшего Косте именно этот случай, — ее лечили микроидом, подготавливая, по моей просьбе, к операции, но операция не понадобилась. Все явления, как видите, исчезли и не возвращаются вот уже больше одиннадцати месяцев. Дело обошлось, к счастью, без меня.

Он выждал, пока улеглось движение в зале, потом показал двух других: юношу, вылеченного рентгеном, и девушку, у которой после подготовки в терапевтической клинике удалили большую часть сильно увеличенной железы.

— Эту операцию, — сказал он почти торжественно, — прекрасно провел в клинике Никиты Петровича Беляева мой товарищ, талантливый и знающий хирург Владимир Евгеньевич Михайлов...

Косте показалось, что в грудь его влилась плотная ледяная масса.

«Вероятно, они сидят рядом, — подумал он, — и вместе наслаждаются оценкой докладчика».

Костя ничего больше не слышал и не видел. Осторожно поднявшись, стараясь не шуметь, он тихо вышел и стал спускаться по лестнице. Сзади часто и гулко застучали каблуки, кто-то его догонял.

— Костя... — услышал он позади себя голос.

Это была Лена. Но Костя не обернулся.

— Костик... — Она взяла его под руку и пошла

рядом, испуганно заглядывая в его лицо. — Что с тобою?

Он молчал.

— Почему ты такой? Что случилось?

Костя не отвечал и продолжал идти к гардеробной. Там он молча отдал свой номерок, взял пальто, осторожно высвободил свою руку и, не оборачиваясь, вышел.

VII

Лена простояла несколько мгновений, побледневшая, с сильно бьющимся сердцем. Потом решила одеться и уйти, но, вспомнив, что номерок остался у Михайлова, с которым она вместе пришла из института, почувствовала себя точно в плену. Теперь не уйти, пока не выйдет Михайлов. Но это будет не скоро. Начнутся вопросы и ответы, длительные прения, заключительное слово председателя. Вызвать Михайлова? Нет, он может понять это по-своему. Зайти разве самой и взять номерок? Лена раздумывала еще с минуту, потом вошла в переполненный зал.

Михайлов, увидев ее, поднялся и стал пробираться к выходу.

— Куда вы торопитесь? — спросил он тихо.

— Мне нужно домой.

— Я вас провожу.

Лена хотела идти одна. Присутствие Михайлова сейчас было ей неприятно.

— Не беспокойтесь, Владимир Евгеньевич, — сказала она заметно раздраженно. — Здесь, вероятно, папина машина.

— Машина еще не могла прийти. Одну же я вас не отпущу.

— Но ведь вам надо остаться.

— Нет, зачем же, с меня хватит.

Он подал ей пальто, быстро оделся и повел к выходу. Машины действительно еще не было. Михайлов, не спрашивая Лену, не говоря ни слова, взял ее под руку. С высоты своего большого роста он словно приподнимал Лену на сгибе крепкой руки. Обычно ей это нравилось. Возвращаясь усталая со службы, она

охотно опиралась на его руку. И даже сейчас, несмотря на тревогу, вызванную странным поведением Кости, несмотря на раздражение против Михайлова, она невольно поддавалась ощущению необычайной легкости, почти невесомости. Ей хотелось быть одной, хотелось скорее повидать Костю, объясниться, но она не могла достаточно твердо сказать Михайлову, что должна с ним расстаться. Она сама не могла понять, что с ней: ее сердила, порой даже возмущала самоуверенность Михайлова, его манера держать себя с ней, и вместе с тем была бессознательно приятна его мужская властность, умение быть любезным и предупредительным. Даже на операциях, когда Лена ему ассистировала, он был с ней подчеркнуто вежлив, в то время как с другими — резок, язвителен. Он был почти в два раза старше ее, но говорил с ней почтительно, и Лена понимала, что и это — только умелый прием, потому что в минуты подчеркнутой учтивости он смотрел в ее глаза ему одному свойственным интимно-дружеским и в то же время дерзким взглядом. Уйти от западни она не имела сил и иногда, сердясь и тревожась, зло усмехалась, банально сравнивая себя с кроликом, «добровольно» ползущим в пасть боа-констриктора. Все это было бы просто и естественно, думала она, и с этим, пожалуй, не надо было бы бороться, если бы она хоть немного его любила или не любила бы никого другого. Но она привязана к Косте, он ей дорог.

Лена твердо решила не встречаться с Михайловым вне службы. Все свободное время она будет отдавать только Косте. Снова, как в институтские времена, они будут проводить вечера вместе, вместе читать, вместе переводить новые книги, вместе ходить в театр, в филармонию.

Она шла легко и быстро, поддерживаемая сильной рукой Михайлова, и думала все о том же. Не может быть, чтобы Костик стал таким только оттого, что она уделяла ему мало времени. Очевидно, он знает о частых встречах ее с Михайловым. Может быть, он даже видел их вместе? Недаром ей показалось вчера, когда она с Михайловым возвращалась с вечеринки у его приятеля, что остановившийся на мгновение и быстро

исчезнувший в темноте человек был Костя. У нее кружилась голова от шампанского, она слушала какие-то тонкие комплименты Михайлова, которые он произносил почти шепотом над самым ее ухом, и, увлекшись, не успела рассмотреть, кто это был. Нянька говорила, что Костя весь вечер ее искал. Надо его понять. Что он должен был пережить, увидев ее с Михайловым! Надо скорее повидать Костю и все объяснить ему. Он поймет, поверит. Иначе быть не может.

Они приближались к дому. Лена замедлила шаг, чтобы сказать Михайлову те несколько слов, которые, казалось, были уже на языке. Но она промолчала, пока не остановилась у самого подъезда дома.

— Владимир Евгеньевич... — сказала она почти умоляюще. — У меня к вам серьезная просьба.

— Ради бога, пожалуйста.

В голосе его была почтительность и предупредительная готовность.

— Видите ли... — смущалась Лена, подыскивая ускользающие слова. — Я хотела просить вас... Нам нельзя встречаться так, как мы встречаемся сейчас.

— Ради бога, Елена Никитична, мы это организуем иначе.

— Нет, вы меня не поняли. Нам совсем нельзя встречаться... То есть, мы, естественно, будем встречаться только на работе.

— А к вам заходить нельзя? — шутивым тоном, мягко спросил он.

— Почему нельзя? Как всегда, к папе.

— Только к папе?

— Владимир Евгеньевич, — сказала Лена твердо. — Вы знаете, о чем я говорю. Я занята.

— Но ведь мы с вами встречаемся именно в свободное время, — пробовал он все так же любезно-шутливо возражать.

— Нет, именно это свободное время у меня и занято.

— Вот как? — он сделал вид, что не знает, о чем идет речь. — Тогда это для меня ужасно.

— Почему ужасно? — словно поверив его искренности, спросила Лена.

— Потому, что я... — Он говорил так, будто не находил слов или не решался их произнести. — Потому что... Я слишком привязался к вам, Леночка.

— Но, Владимир Евгеньевич... — пыталась возразить Лена.

Он не дал ей сказать.

— Мне теперь уже трудно, почти невозможно не встречаться с вами.

— Нет, нет, — испуганно прервала его Лена. — Не нужно ничего больше говорить. Я связана. Вы знаете Константина Михайловича... доктора Сергеева.

— Разве это действительно серьезно? — не то иронически, не то как бы недоумевая, спросил Михайлов.

— Конечно. Вы разве не знаете? Он... мы скоро будем вместе.

— Вот как? Нет, я не знал.

Он сказал это с чувством большого сожаления, безнадежности.

— Ну вот, — облегченно сказала Лена, протянув ему руку. — Не сердитесь, Владимир Евгеньевич.

— Нет, Леночка, погодите. Это невозможно.

Он держал ее руку в своей, смотрел блестящими глазами и говорил одни и те же слова, словно стремясь вдолбить их в голову Лены.

— Это невозможно. Поймите, это невозможно. Пройдемтесь, еще немного поговорим.

Он снова, как вчера вечером на набережной, нагнулся и тихо, почти шепотом проговорил:

— У меня к вам огромная нежность...

Не давая ей возразить, он доказывал, что расстаться им невозможно, что без нее жизнь для него кончится, что страшная пустота и одиночество убьют его и как человека, и как врача.

— Да, главный стимул — любовь — исчезнет, и я конченный человек, — говорил он печально.

Он не привык к такому упорному сопротивлению. Его обычный набор готовых приемов не действовал. Но, войдя в азарт борьбы, он загорался все большей страстью и сам начинал верить в искреннюю привязанность. Конечно, Лена была красивее прошлых его героинь, в ней было больше женственности, она была умнее, глубже, и, конечно, Михайлов относился к ней

серьезнее, чем к другим. Он не верил, что Лена могла бы согласиться на брак с ним, но и оставить ее он не хотел, не сомневаясь, что рано или поздно он добьется своего. Как старый, испытанный охотник, он шел по пятам «горной козы» и, чуя близость победы, заранее торжествовал. Несмотря на занятость, он подолгу гулял с ней, настойчиво приглашал в театр, которого не любил, придумывал совместные занятия в клинике, которые никому не были нужны, и, наконец, не без удовольствия пригласил на дружескую пирушку к приятелю. Приятель был холостой, и пирушка была холостяцкая, хотя были женатые мужчины и замужние женщины. Пили очень много. Было шумно и весело. Но, выпив, шутили и вели себя не так, как к этому привыкла Лена в доме отца или как это было в кругу студентов. Однако и она выпила несколько бокалов шампанского, и у нее приятно кружилась голова, и хотелось смеяться, дурачиться, танцевать.

— Не правда ли, здесь очень хорошо? — спросил Михайлов, заглядывая Лене в глаза, и тут же пояснил: — Хозяин — мой большой приятель и всегда охотно предоставляет свою квартиру, когда она мне нужна... Я здесь чувствую себя отрезанным от всего мира, как на далеком острове, отдыхаю от семьи, от быта, от клиники.

Он довольно откровенно намекнул на то, что здесь им будет удобно встречаться, и был несколько удивлен, когда Лене вдруг захотелось домой.

Сейчас, в темноте позднего вечера, много раз пройдя взад и вперед по длинному кварталу, он уже начал теряться перед упорством Лены, хоть и мягко, но решительно доказывавшей ему, что он должен оставить ее в покое.

— Мне холодно, — остановилась она у подъезда. — Я пойду.

— Но мы ни до чего не договорились.

— Нет, договорились до конца.

— Не могу с этим согласиться.

— У вас нет другого выхода.

Он понял, что сейчас больше не надо говорить, что нужна встреча в других условиях.

— Я не хочу вас больше утомлять. Но умоляю: встретимся в более подходящей обстановке.

И настойчиво просил ее прийти завтра после работы к его приятелю, где они спокойно обо всем договорятся. Усталая, продрогшая Лена сказала, что подумает, и быстро поднялась к себе.

Она сейчас же позвонила Косте, но его не оказалось дома. После ужина она снова позвонила и, не застав его, решила, что он не хочет подойти к телефону. Несмотря на поздний час, на усталость, на чувство оскорбления, она направилась к нему. Но Кости действительно не было дома, и мать взволнованно жаловалась на него. Он не только не приходил с работы, но даже не позвонил, не сказал, где он и когда придет. Он и в прошлую ночь пришел на рассвете и свалился в постель так, словно был мертвецки пьян, а утром с трудом поднялся и долго обливался холодной водой, еще дольше делал гимнастику, пил крепкий чай. А теперь опять его нет.

Лена, встревоженно слушая, перебирала в уме все места, где Костя мог бы сейчас быть. Куда он, в самом деле, девался? В клинике его нет, театры давно закрыты, друзей, к которым его бы влекло в минуты тягостных переживаний, у него не было. И где он был в прошлую ночь? Костя сейчас вел себя настолько необычно, что Лене, знавшей и то, чего не знала мать, минутами становилось страшно, и чувство собственной вины охватывало ее все больше и больше. Если бы она сразу повела себя с Михайловым так, как сделала это сегодня, у Кости не было бы никакого повода...

В квартиру позвонили. Звонок был длительный и резкий. Мать побежала открывать, на ходу испуганно шепча:

— Кто это, господи... Отца разбудят...

Из передней послышался приглушенный шум, какие-то слова вперемежку с шиканьем. В комнату, раскачиваясь, вошел Костя. Он был в распахнутом пальто, без шапки, без очков. Лицо его, обычно бледное, сейчас казалось совсем белым, тусклые глаза смотрели сердито и вместе растерянно.

Лена поднялась навстречу.

— Костик, что с тобой?

Он на миг остановился, видимо пораженный неожиданностью.

Мутный взгляд его впился в лицо Лены.

— Костенька, милый, — повторила она вопрос, стараясь шуткой смягчить его, — где это ты так прогулял?

— А вам какое дело? Разве я вас спрашиваю, где вы гуляете??

Он бросил это так зло, словно перед ним стоял ненавистный человек.

— Напрасно ты не спросил меня.

— Зачем? Кто вы мне? Не жена, не любовница. Вы чужой человек! Хуже — вы мой враг, вы мой убийца.

Мать охватила его обеими руками, стараясь увести.

— Замолчи, сынок, нельзя так. Иди к себе.

Костя отстранил мать.

— Оставьте меня! Я ей скажу все, что думаю.

— Костя, — тихо сказала Лена, — не надо, поговорим в другой раз.

— Нет, именно сейчас. В другой раз может не выйти. А я должен вам сказать! И вы обязаны выслушать! Вы — убийца... И непонятно — зачем вы пришли? Чтобы насладиться своей работой? Поглядеть на труп? Да? Убийцу всегда тянет к месту преступления!

Он качнулся и чуть не упал. Его поддержал отец, встревоженно вышедший из своей комнаты. Волосы Кости рассыпались по лбу, рот искривился злой гримасой, руки искали чего-то в воздухе.

— Ладно, ладно, брат, не буянь, — строго сказал отец. — Выпил, иди спать.

— Нет! — вырывался Костя. — Нет, я скажу ей все! Она меня убила и пришла похоронить.

— Ух, как страшно... — засмеялся отец.

— Да! Она убила человека!

— Фу, как противно слушать! — рассердилась Лена. — Ты просто глупый и пьяный мальчишка! Мне стыдно за тебя!

Она взяла со стола свою сумку и быстро направи-

лась к выходу. Но Костя вырвался из рук отца и преградил ей путь.

— Нет, постойте!

— Ну что ж, — сказала Лена, бледная. — Тебе остается еще ударить меня.

— Нет, я не ударю вас, не бойтесь. Я не хулиган. Вы лучше меня знаете, кто я. Вот вы — глупая, легкомысленная бабенка. Вам не нужны ни любовь, ни преданность. Вам не нужна истинная нежность. Вас потянуло на роман с заведомым ловеласом, для которого вы одна из сотни...

— Пусти меня!

— Нет, дослушай! Ты мне больше горя доставила, ты меня раздавила! Но не будь самонадеянной. Да, вот это я и хотел сказать. Не думай, что я до конца погиб...

— Ну и слава богу.

— Да, я тяжело страдаю, мне будет ужасно без тебя, но я найду утешение, найду. Я врач, я... Предомной широкое поле, простор!.. Я буду работать, я свое сделаю. Ты обо мне услышишь!

— Ну и прекрасно. Пусти меня!

— Пожалуйста, идите.

Мать вышла проводить Лену и, плача, извинялась.

— Начитался, глупый мальчик, всяких романов и прямо из книги все говорит. Вы не сердитесь. Он чистый, благородный. Это от честности.

— Я не сержусь, я сама все знаю, — утешала ее Лена.

Лена пришла домой уже поздней ночью, и Никита Петрович, обеспокоенный ее длительным отсутствием, недовольно сказал:

— Это нехорошо. Ты хоть и взрослая, и врач, и все такое, а это я не одобряю. Или, вернее даже, попросту запрещаю. Вот... просто запрещаю.

— О-о! — старалась Лена превратить все в шутку. — Этого я давненько не слыхала.

— А ты не доводи до этого. И вообще мне надо с тобой поговорить. Не нравится мне эта история. Но об этом не сейчас. Ложись спать.

«Опять о Михайлове, — подумала Лена. — Свалился на мою голову».

— Я была у Кости, — сказала она. — Он что-то нездоров.

— У Кости? — переспросил профессор, посмотрев на дочь. — А что с ним?

— Ничего особенного. Немного простудился.

— У Кости — это ничего, — сказал отец, сразу успокоившись, и направился к себе. — У Кости можно.

«Что он там делает сейчас? — подумала Лена. — Хоть бы он скорее заснул».

А Костя, сжав голову руками, сидел у стола в неподвижности.

— Дай, отец, выпьем еще по рюмке... — вдруг сказал он.

— По рюмке? — переспросил отец, как бы обдумывая сложный вопрос. — По рюмке можно, это даже полезно, скорей уснешь.

Старик поставил на стол графин, налил себе и сыну и чокнулся с ним.

— Ну, брат, того... За то, чтобы это не повторялось. Чтобы ты так не пил больше. И чтобы никогда, слышишь, никогда, упаси тебя бог, не обижал бы женщину. Понял? Особенно Лену. Ты это, брат, помни. Ну, будь здоров.

Они выпили, и Костя, еще больше опьяневший, но подавленный и усталый, стал объяснять родителям, почти плача:

— Не верьте ни одному моему слову... Я говорил глупости...

— Знаю, знаю, сынок, не объясняй.

— Она прекрасная, чистая.

— И это верно.

— Давай, отец, еще по рюмке...

— Давай, давай, сынок!..

Они еще раз чокнулись, выпили. Отец отвел сына в его комнату, раздел и уложил, как делала это когда-то мать.

— Спи, доктор, — сказал он, заботливо укрывая сына.

Утром Косте позвонил секретарь бюро комсомольской организации института доктор Васильев и просил зайти к нему.

Один из самых способных молодых хирургов, Васильев пользовался у комсомольцев не только любовью, но и каким-то особенным доверием.

В кабинете было много людей, потом, когда они вышли, секретарь долго говорил по телефону. Наконец он освободился.

— Послушайте, товарищ Сергеев... — сказал секретарь тихим голосом, будто опасался, что его услышат посторонние. — Раньше всего садитесь... Вот так...

Васильев, очевидно, сам немного смущался или подыскивал нужные слова — он то отворачивался, смотрел в окно, то перекладывал на столе бумаги. Потом, словно набравшись духу, сказал:

— Так вот... Нехорошо, товарищ Сергеев, что вы так грубо разговаривали со старым врачом... Накричали на него... Оскорбили... Это недопустимо...

— Но я уже просил извинения... Мы помирились, — сказал Костя, неприятно удивленный тем, что в бюро узнали об этом инциденте.

— Ах так? — словно обрадовавшись примирению, улыбнулся секретарь. — Очень хорошо. Прекрасно. Будем считать этот инцидент исчерпанным... Но... Дело не только в данном происшествии...

«Неужели он знает и вчерашнюю историю с пьяным скандалом?.. — с ужасом подумал Костя. — Кто мог рассказать об этом?»

— У вас вспыльчивый характер... — продолжал секретарь. — Еще студентом вы нередко бывали несдержанны, слишком горячились... В спорах бывали резки... Мы знаем, что все это от твердой линии, что ли... От принципиальности, уверенности в своей правоте... И так далее... Но надо быть сдержанней. Надо научиться владеть собой. Нельзя же, в самом деле, по каждому поводу кричать, вступать в грубый спор... Нельзя оскорблять людей...

— Но со мной это бывает очень редко... — попробовал оправдаться Костя. — Совсем редко... Когда уж очень выводят из терпения.

— Да, не часто, — согласился секретарь. — Я знаю. Но этого не должно быть совсем. Каждого из нас выводят иногда из терпения. И мы немало выводим других из терпения... Значит ли это, что мы должны от-

вечать грубо? Говорить дерзости? Хлопать дверьми? Оскорблять? И так далее... Ведь Степан Николаевич — старый, опытный врач, почтенный человек, отец семейства... У него дети — врачи, ученики — врачи...

— Да, да... — тяжело смутился Костя. — Я все знаю, и мне очень неприятно...

Как всегда в минуты смущения или недовольства собой, он часто снимал очки, тщательно протирал стекла, снова надевал их, поправлял и снова снимал. Близорукие глаза его становились мягче, добрее, и сам он вдруг казался беспомощным, будто, сняв очки, он обезоруживал себя, сдавался. И это выражение лица в свою очередь обезоруживало и собеседника. Секретарь улыбнулся.

— Поймите, Сергеев... — сказал он совсем просто, совсем по-дружески. — Вы комсомолец... Хороший комсомолец... В школе и в институте вы всегда были на лучшем счету... И мы хотим, чтобы вы были безупречны во всем, даже во внешнем своем поведении... Вы должны быть примером для молодежи не только в основном и главном, но и во всем — в быту...

«Знает...» — снова испуганно подумал Костя.

— ...в манере держать себя, разговаривать, спорить, возражать старшим и так далее... Надеюсь, вы согласны с этим?

— Да, конечно. В истории со Степаном Николаевичем я очень виноват... но я извинился... он простил...

— А тут мы еще как раз ознакомились с вашим заявлением о вступлении в партию и полностью поддерживаем ваше желание... У вас две хорошие рекомендации... Очень хорошие...

Костя надел очки, сел ровнее, словно приготовился выслушать что-то очень важное, большое.

— Бюро ВЛКСМ охотно даст вам третью... Активно поддержит вас.

— Спасибо!..

Они беседовали еще с полчаса. Костя рассказал секретарю о своем намерении перейти в эндокринологическое отделение клиники, и секретарь его одобрил. Васильев охотно рассказывал о новых успехах хирургии, и Костя жадно слушал его. И только тогда, когда

в кабинет вошла группа студентов и отвлекла секретаря, Костя, успокоенный и умиротворенный, вышел.

«Как хорошо, что он ничего не знает о вчерашней истории... — думал Костя. — Это было бы ужасно... И так от стыда некуда деваться...»

VIII

Костя работал в эндокринологическом отделении клиники. Все, что его волновало в последние недели, теперь благоприятно разрешалось, и он мог целиком, как и мечтал, отдать делу, казавшемуся ему бесконечно интересным, открывающим огромные возможности. Ему еще в институте ясно представлялось, что в основе многих болезней лежат те или иные патологические изменения в каком-нибудь органе внутренней секреции. И то обстоятельство, что заболевание этого одного органа нередко вовлекает в болезненный процесс всю эндокринную систему и порождает целый ряд самых различных заболеваний, заставляло его с особым увлечением предаваться клиническому изучению большой, сложной, но, очевидно, далеко не до конца изученной отрасли медицины.

В палатах его отделения лежало много больных, и каждый из них был несчастен только оттого, что какая-то железа неизвестно почему — и это «неизвестно почему» больше всего терзало Костю — отказалась работать нормально. Что знал этот больной об этой железе до того, как он заболел? Ничего. А теперь все его страдания идут от нее, все мысли сосредоточены вокруг нее, вся жизнь изменилась, и может быть прервется, только из-за нее.

Больная Катенька — так ее называли в палате все; и профессор, и сестры, и сиделки, и больные — любила показывать свои фотографические карточки и заливалась краской, когда ей говорили «какая красавица!» А сейчас невозможно было поверить, что эта красавица была она — Катенька, — и всего лишь год тому назад. Щеки ее глубоко запали, глаза были резко выпучены и неестественно блестящи, шея раздута, будто в нее вдавили мяч, на коже лица всегда высту-

пали крохотные капельки пота. Пальцы ее, когда она протягивала руки, мелко дрожали. И девушка часто плакала, раздражалась и грубо кричала на больных и на персонал. И все только потому, что щитовидная железа увеличилась, по причине никому не известной, и стала выделять в кровь больше секрции — тироксина, чем это организму требовалось.

А рядом с Катенькой лежала девочка Лялька, лет шести, маленькая, намного меньше, чем ей полагалось по возрасту. Странно грубая кожа ее, особенно на веках и на шее, делала ее не похожей на ребенка, а узкие, вследствие отечности век, глазные щели, отсутствие мимики и поперечные складки на лбу придавали ей тупой вид. И это уродство возникло только потому, что вскоре после рождения у девочки началось необъяснимого происхождения уменьшение щитовидной железы, а родители только теперь догадались привезти ее, правда издалека, в специальную клинику.

В соседней палате лежал молодой инженер Сахновский, год назад заболевший странной болезнью — акромегалией. Он, в отличие от Катеньки, никому не хочет показывать своих фотокарточек и дал их только по требованию Кости, для вклейки в историю болезни. Костя был поражен изменением внешности, которую произвела болезнь. Надбровные дуги теперь резко выпирали вперед, уродуя лицо, торчали большие, грубые скулы, нос стал длиннее и шире. Больше всего, однако, Костю поразили подбородок, заметно увеличившийся и выдвинутый вперед, и толстые губы, так непостижимо не похожие на те, что на фотографии. Сахновский, выглядевший на снимках элегантным юношей, несколько не был похож на уродливого человека, сидящего сейчас перед Костей. И все это только потому, что крохотный придаток мозга — гипофиз, вернее его передняя доля, увеличился, или на нем появилась опухоль, и усиленное выделение гормона этой железы, заведующей и ростом человека, привело не только к расстройству многих функций организма, но и к увеличению конечностей и лица больного.

Через койку от Сахновского лежал пожилой железнодорожник Павел Алексеевич, с лицом, словно

выкрашенным в темно-бронзовый цвет. С этой окраской резко контрастировал цвет его ладоней. Когда он поднимал руки, чтобы показать врачу ладони, они резали глаз своей удивительной белизной. Больной ослабел до последней степени, он едва двигался, почти не поднимался с постели, опасаясь головокружения и обморока. Все это — проявление бронзовой, или Аддисоновой болезни. Костя хорошо знал, что «специфического лечения нет» и что «прогноз неблагоприятен». Осматривая больного, он, со свойственной ему силой воображения, представлял себе виденную как-то на вскрытии маленькую надпочечную железу, вернее ее корковую часть, видел следы туберкулезного поражения, и снова печально размышлял о том, что это крохотное изменение в маленькой железе, исчезновение или недостатка ее секрета — картина, решает вопрос не только здоровья, но и жизни человека.

И большая палата диабетиков, страдающих губительной сахарной болезнью только из-за того, что поджелудочная железа отказывается вырабатывать инсулин, необходимый для усваивания в организме поступающего с пищей сахара; и дети-карлики, не растущие только потому, что продукция передней доли гипофиза, гормон роста в детском возрасте, не вырабатывается у них в достаточном количестве, и женщины и мужчины, задолго до положенного природой возраста потерявшие неизвестно почему инкреторные функции половых желез; и много других уродств, вызванных изменениями различных желез, — все властно захватывало, глубоко тревожило напряженное сознание растерявшегося Кости.

Он со всей страстью отдался новой работе. Обычная история болезни, несмотря на все предусмотренные клиникой вопросы, Костю не удовлетворяла. Он завел для каждого больного отдельную тетрадь и старался выяснить «всю подноготную» наследственности больного, условия его жизни, детства, ученья, труда, перенесенных нервных потрясений. Ему хотелось найти первопричину заболевания, узнать, где лежит начало первичных изменений, чем они вызваны, как развиваются, каким путем вовлекают в процесс заболе-

вания другие железы. Он стремился выяснить: что поражается раньше — нервная или эндокринная система? В короткое время он прочел немало трудов из огромной советской и иностранной литературы по этому вопросу, ознакомился с рядом статей из комплекта специальных журналов. И вот самым отрядным для Кости, самым волнующим и отвечающим его собственным предположениям была философская идея современного учения о внутренней секреции, заключающаяся в том, что все функции человеческого организма неразрывно соединены единой целостной системой. Ведь недаром Гиппократ еще две с половиной тысячи лет назад сравнивал замкнутое кольцо функций животного организма со змеей, «кусающей свой собственный хвост». Взаимосвязь всех жизненно важных желез и во главе — главная железа, гипофиз, руководящая всей системой. Вот стержень мысли!

Эта мысль поддерживалась еще и другой идеей, давно заполнявшей горячую голову Кости. Он давно об этом думал и с каждым новым часом работы все больше убеждался в оторванности науки от повседневной лечебной практики. Он видел большие контингенты больных, страдающих «неопределенными» болезнями. Они не подходили ни под одно из существовавших названий, не получали точного диагноза. Больные жаловались на слабость, на утомляемость, на общее плохое самочувствие, страдали головными, сердечными, мышечными болями, некоторые теряли трудоспособность, странно полнели, бледнели или, наоборот, резко худели, возбужденно работали, но еще быстрее теряли силы. Эти больные чаще всего говорили стереотипную, не волнующую сердце врача фразу:

— Доктор, что-то я себя очень плохо чувствую...

Доктор предлагал сделать те или иные анализы, ничего не находил или находил какие-нибудь незначительные изменения, прописывал кальций, или бромвалериан, или оварин, или спермин, или назначал франклин, д'арсонваль, кварц, соллюкс, советовал улучшить питание, отдохнуть, после обеда обязательно полежать или, наоборот, обязательно погулять, и на этом свою помощь больному заканчивал. Новые врачи, к которым обращался тот же больной, за редким

исключением, проделывали то же самое. А между тем — и Костя был в этом глубочайшим образом убежден, проверив это на целом ряде случаев, — все дело было в каком-либо, чаще всего пока еще «несерьезном» изменении одной железы. Ее функции чуть-чуть усилились или чуть-чуть ослабели, ее секреты стали чуть больше или чуть меньше, но она уже изменила химизм какой-нибудь области, вывела из строя целый участок или орган, тот поневоле отказался работать на соседа, этот в свою очередь не сумел поддержать вовремя соседку, и пошло круговое нарушение нормальной деятельности организма. И вот уже возникла болезнь. Какая — неизвестно.

Что же изменилось в организме этого человека? Как будто ничего особенного. А на деле очень многое. Нарушилась регуляторная деятельность коры головного мозга, а отсюда и вся жизнь находящейся под ее контролем эндокринной системы, а отсюда, естественно, и жизнь всего организма.

Эти мысли не оставляли доктора Сергеева. Они захватывали его все больше и больше, подчиняя себе все остальное. Они заставили его забыть и о музыке. Он давно не был в филармонии, без которой раньше не обходился ни одной недели. Клиника, лекции, заседания научного общества, дежурства, переводы специальных статей — отнимали все время.

Сергеев был бы весь поглощен своей работой, если бы душа его не была омрачена тяжелой размолвкой с Леной.

После той ночи, когда он встретил Лену с Михайловым, и следующего вечера с новой, оскорбившей его, встречей на докладе Загарина и отвратительной пьяной сценой дома, они ни разу не виделись. Лена, в точности следуя своему решению, рано утром направилась к Косте, но его уже не застала. Без предупреждения она заехала после работы в клинику, но снова не застала его — он ушел в патологоанатомический институт, где работал теперь по вечерам у профессора Гарина. Она сделала еще одну, неудачную, попытку повидать его. Потом чувство горечи, все больше охватывавшее ее все эти дни, сменилось обидой.

«Если он может так бессмысленно вести себя, если

он вдобавок ко всему еще и груб и упрям, пусть и пеняет сам на себя, — думала Лена. — Когда Костя опомнится — она поведет себя так же, как он сейчас».

Она и сердилась, и обижалась, и тосковала. По несколько раз в день она твердо решалась позвонить ему и уже подходила к телефону, но обида брала верх. Она ждала, что Костя позвонит первый.

И он позвонил бы, если бы с ним не происходило то же самое. Он не верил в измену Лены и раскаивался в своем поведении. Он никак не мог забыть тот вечер, когда после доклада в хирургическом обществе пошел в кавказский погребок на Невском, и один, под звуки восточного оркестра, пил сначала водку, а затем вино и опять водку.

Потом он долго бродил по шумным вечерним улицам и никак не мог выйти к своему дому. Фонари желтели в дымно-коричневом тумане, вокруг кружились золотистые нимбы, отчаянно грохотали трамваи. Дважды он спрашивал прохожих, как пройти к дому, дважды шел в обратную сторону и наконец радостно узнал свой подъезд.

Здесь он виновато сознался удивленному дворнику:

— Вот, Никитушка, сто двадцать четыре года ежедневно хожу сюда... Родился здесь, вырос здесь, состарился здесь, и вдруг не смог найти свой же дом... Вот нехорошо, брат... очень нехорошо... Никогда, брат, не пей... Боже тебя сохрани...

Он настойчиво требовал от дворника честного слова, что тот не будет пить, потом дворник помог ему войти в квартиру, и там вдруг эта неожиданная встреча с Леной...

С тех пор прошло несколько недель, но Костя, вспоминая, каждый раз заново переживал тот вечер. Досада и раскаяние каждый раз терзали его. Ему хотелось позвонить Лене, просить у нее прощения, объяснить все, договориться о встрече, но всегда неизменно, когда он уже решался на это, его охватывала необычайная робость. Ему казалось, что за это время могли произойти какие-то непоправимые изменения, что Лена отказалась от него, что о прошлом не может быть и речи. Эти сомнения не оставляли его все по-

следние дни, и, приближаясь к телефону, он каждый раз испытывал какое-то особенное, острое волнение, страх перед возможным несчастьем. И каждый раз он откладывал разговор до другого случая и обманывал самого себя придумыванием различных причин: занятостью или необходимостью поговорить лично. А между тем размолвка становилась все более тягостной. Каждый новый бесконечно длинный день тянулся томительно, как в тяжелой болезни. Иногда ему казалось, что он больше не выдержит, сейчас же все бросит и поедет к Лене. Он поедет и скажет, что...

Но он никуда не ехал, потому что мгновенная мысль о том, что виновата она, что «все это правда», — снова огромной тяжестью душила и нежные порывы, и твердые решения.

Он приходил в отчаяние от созданной его фантазией «глубокой пропасти», которая легла между его чувством и тем, что случилось. И он в тысячный раз повторял себе:

«Надо еще немного помучиться, надо проявить еще немного твердой воли, и все кончится, и все будет хорошо, я смогу обойтись без нее...»

И сейчас же в отчаянии опровергал самого себя:

«Зачем же? В чем она виновата? Ни в чем. А если и виновата, так ведь это случайность, это прошло, это прощено. Конечно, он простил. Иначе и быть не может, потому что без нее он не сможет жить...»

Он не мог целиком отдаться работе, как бы интересна она ни была. Он видел Лену такой, какой привык ее видеть все эти годы, — чуткой, доброй, ласковой. Глаза ее улыбались, зубы, когда она смеялась, особенно выделялись на фоне детски маленьких губ, и золотистые локоны, как ни приглаживала их она, всегда немного развевались и тонко просвечивали. И все мучения последних недель снова терзали его.

«И понесла же ее нелегкая в хирурги... — серьезно сердился он. — Что с того, что она превосходный врач и еще лучший хирург. Она действительно унаследовала талант отца, многому научилась у него, у нее действительно руки вышивальщицы, или кружевницы, или художника-ювелира, и врачи ей предсказывают карьеру тончайшего нейрохирурга. Но что с того? Все

равно, по своей натуре — по внешности, женственности, поэтичности — она музыкант, художник, но никак не грубый хирург, вечно копошащийся в крови, в гное. И, главное, тогда она не встретила бы с этим...»

Костя ловил себя на этих нелепых мыслях, продиктованных, как сам он себе говорил, одной лишь ревностью, и вспоминал, как он сам горячо убеждал Лену еще в институте — избрать только хирургию.

Надо было и ему, Косте, также избрать хирургию, у него к этому была большая склонность. По крайней мере они были бы всегда вместе...

«Серьезный довод... — тут же издевался он над собой. — Для избрания специальности это, конечно, решающий момент...»

Недели шли в большой, напряженной работе, почти не оставлявшей Косте времени для всех этих горестных чувств и размышлений. Но они все же вползали в работу, переплетались с ней, порою мешали. Если же все-таки выдавался свободный вечер, особенно в воскресный день, он тяготился этим вечером, боясь своих терзаний, зная, что в эти часы он остается целиком в их власти. И то, что так привлекало его в былые дни — театр, Филармония, прогулки по городу, — теперь чем-то пугало, отталкивало. И в то же время влекло. Он сам не сознавался себе в том, что искал «случайной» встречи с Леной. Он жадно бродил по тем улицам, садам, набережным, где так недавно гулял с Леной, посещал театры и концерты, в которых раньше бывал с ней. Он и желал встречи, и боялся встретить Лену не одну.

В Филармонии давали первую симфонию Калиникова и пятую Дворжака. Он никогда раньше не пропускал этих концертов. И вот сейчас, прочитав афишу, он обменялся с товарищем дежурством и днем заехал в кассу.

В глубине души, втайне, он надеялся встретить Лену. Он волновался весь день, с нетерпением ждал вечера, приехал раньше времени и долго бродил в сквере против Филармонии, потом стоял у подъезда.

Уже оставалось несколько минут до девяти, уже прошли последние запоздавшие слушатели, но Лены не было.

Костя уже не верил в ее приход. Разочарованный, грустный, сразу почувствовавший усталость, он направился к дверям. Но в эту самую минуту он увидел знакомую, кофейного цвета, машину Беляева, резко свернувшую с улицы Лассалья и мгновенно застывшую у подъезда. Костя хотел незаметно войти в вестибюль, но дверца «зиса» распахнулась, из машины вышел, грузно ступая, профессор, и вслед за ним легко выскользнула тонкая фигура Лены. Они все столкнулись у входа, и Никита Петрович, взяв за локоть растерявшегося Костю, сразу же, на ходу, отчитал его:

— Стало быть, вы живы, дорогой доктор? Где же вы пропадали? Загордились?

— Я... — пытался объяснить Костя. — Дело в том, что....

— Здравствуй, Костик, — первая сказала Лена.

Костя, что-то пробормотав, остановился.

— Идем скорей, мы опаздываем, — напомнила Лена.

Они сидели в разных местах, далеко друг от друга. Костя хоть и старался сосредоточиться, но слушал музыку плохо. В одно мгновение его согрела и успокоила дружеская простота Лены. Значит, она не сердится. Значит, все осталось по-старому. Уверенность в том, что через двадцать-тридцать минут он будет стоять возле Лены, смотреть в ее глаза, наполняла его каким-то блаженным покоем. Он слушал Калиникова, как всегда наслаждался близкой сердцу русской мелодией. Основная тема симфонии повторялась много раз, и сознавать, что она вернется еще и еще, было бесконечно приятно. С детских лет, когда Костя ежегодно проводил лето с матерью на ее родине, в волжской деревне, он сохранил нежность к чудесным песням, слышанным там. Их пели и на рассвете, выезжая в поле, и в горячий полдень на жатве, и в темные вечера, когда кто-нибудь поголосистей запевал, а хор подхватывал старинную грустную песню. Широкая мелодия тревожила, волновала до слез, и Костя не засыпал и слушал все песни, до последней.

И сейчас Костя как бы перенесся на Волгу. Ему представилось поле, желтые тяжелые хлеба. В мягко

шелестящих под теплым ветром золотых волнах уютная трескотня кузнечиков. Голубое небо, и в нем с пронзительным свистом прорезывают воздух юркие стрижи...

В перерыве Костя поднялся, чтобы пойти навстречу Беляевым. Они шли, окруженные компанией знакомых. Когда он наконец пробился к ним, уже надо было возвращаться в зал. Лену оттеснили, и Костя, не сказав ей и двух слов, вернулся на свое место. Но он совсем успокоился, словно примирение уже состоялось и все действительно пошло по-старому.

Концерт окончился, и Костя поторопился к выходу. Он спешил одеться, чтобы не пропустить Лену, но его задержали в гардеробе.

Одевшись, он быстро пошел вниз.

Беляевых уже не было.

Он вышел на улицу, — но здесь стояла только одна незнакомая машина.

Он вернулся, поднялся в гардероб, снова спустился.

Стало совсем пусто и тихо; потом погас последний свет, и Костя, подавленный, оскорбленный, медленно пошел домой.

IX

На секционном столе лежал труп. Приготовленный помощником прозектора, он, несмотря на распиленный череп с едва державшейся черепной крышкой, несмотря на сквозной продольный разрез, казался живым, тревожно ожидающим операции. Профессор Гарин, в запятнанном халате, молча, привычным движением, быстро раздвинул в обе стороны грудную клетку, оттянул ребра, несколькими короткими взмахами перерезал сосудистый пучок и, сильно потянув его кверху, вытащил наружу тесно связанные между собой легкие и сердце. Положив их тут же на крохотный столик, он губкой обмыл обе плевры и сказал: — Вот, пожалуйста, смотрите...

Доктор Сергеев подошел вплотную, давая место остальным врачам. Он стоял рядом со Степаном

Николаевичем и молодым ординатором, доктором Светловым.

Профессор, высокий, с чертами на редкость правильными, с пристальным взглядом больших и темных глаз под широкими и густыми бровями, смотрел на врачей строго, как судья.

— Видите — на плевре фибринозные наложения... Это сразу же заставляет думать о крупозной пневмонии, хотя у вас в истории болезни, — Косте показалось, что профессор криво усмехнулся, — о ней ни слова не сказано.

— Да... — без смущения, равнодушно ответил Степан Николаевич. — Это мы меньше всего предполагали.

— А между тем, — продолжал Гарин, — все говорит именно за это. Вот серозный экссудат, вот, посмотрите, легкое. — Он перерезал легкое в трех местах. — Видите, поражена вся нижняя доля, на разрезе типичное для третьей стадии серое опеченение... Вот красноватые и красновато-серые пятна... Не так ли, дорогой доктор?

— Но у больного не было даже температуры, — возразил Светлов.

— Помилуйте, зачем же обязательно температура? Что же мы — первый день в медицине? Откуда взяться температуре у пожилого, крайне истощенного субъекта? Разве она обязательна? А если у него уже не было сил для температуры? И потом — организму уже явно не хватало времени для лихорадки, потому что он был уже занят другим, более важным делом: он умирал!

Гарин, продолжая быстрыми, ловкими движениями резать труп, показывал, объяснял. Он говорил резко, но очень интересно. Он обобщал факты, излагал свою точку зрения, полемизировал.

Но Косте нужно было возвращаться в отделение, и он, не дождавшись конца, сожалея, что не может дольше оставаться, ушел.

«В этом деле нет ни правых, ни виноватых, — думал Костя, пересекая двор клиники. — У больного не было ни кашля, ни болей, ни температуры, ни даже притупления или хрипов. Пневмония была, очевид-

но, внезапным осложнением другой, необнаруженной болезни. Могут ли за это отвечать врачи? Конечно, нет! Хорошо анатомопатологу кричать, когда он потрошит покойника и видит все, будто читает знакомую книгу. Пусть бы он сам попробовал поставить диагноз пациенту, у которого нет ни одного типичного симптома!..»

Поднималось глухое раздражение против Гарина.

«Вот ведь умный, талантливый человек, серьезный ученый, а не хочет понять простых вещей, и часто, слишком часто, сурово обвиняет врачей, особенно молодых, в том, в чем они решительно не виноваты».

И Костя вспомнил слова знаменитого физиолога Клода Бернара о патологоанатомах:

«...Если в некоторых случаях результаты вскрытия позволяют заключать о непосредственных и прямых причинах смерти, то во многих других случаях наши ожидания в этом отношении оказываются обманутыми. Самые тщательные исследования не приводят часто ни к какому удовлетворительному заключению, так как может случиться, что органы окажутся столь же здоровыми, как и в нормальном состоянии, и что исследование их не может объяснить нам прекращения жизни. С другой стороны, как часто находим мы глубокие повреждения, присутствие которых оставалось скрытым для нас при жизни!..»

«Конечно, это так! — думал Костя. — Ведь врач не чародей. Ведь в нутро не влезешь!.. — как любит говорить сердитый Степан Николаевич. И здесь в сотый, тысячный раз поневоле возникает столетиями повторяющийся вопрос: что же такое, в конце концов, медицина — наука или искусство? У постели одного и того же больного различные врачи ставят различные диагнозы или, даже установив верно болезнь, назначают разное лечение. И в этом их нельзя упрекнуть, хотя бы потому, что нет болезней, а есть больные, и каждый из них болеет по-своему, и на каждого лекарство действует также «по-своему». Если взять сотню больных, например брюшным тифом, то окажется, что болезнь дает ту же сотню вариантов. Значит, установить, чем пациент болен, как он болеет,

как на него действует то или иное лекарство — зависит не только от знаний врача. Большую роль играет также и талант врача. Да, талант! Не надо бояться этого слова, — убеждал себя Костя. — Именно талант в сочетании с подлинными знаниями, опытом, всесторонними исследованиями и вдумчивым отношением дает возможность проникнуть в сущность болезни.

Медицина — это больше искусство и больше наука, чем какая-либо другая наука и другое искусство, ибо раньше всего это искусство и наука сохранения жизни человека! Это больше, чем искусство, потому что здесь надо нутром ощущать не природу, не линию, не краски, не звуки, не мрамор, не слово, а живой человеческий организм. И это больше, чем наука, потому что это целое собрание наук — анатомии, физиологии, биологии, химии, физики. Эти науки надо изучать глубоко, жадно, и умом и сердцем. Их надо изучать всю жизнь параллельно с практической работой...»

Отдавшись целиком своим мыслям, Костя не заметил, как прошел изрядное расстояние и вошел в вестибюль. Он уже снял пальто, когда его остановила незнакомая санитарка.

— Не раздевайтесь, доктор, идите скорее в приемный покой.

— Что случилось?

Санитарка не сумела толком рассказать в чем дело, но Костя понял, что вызывают именно его.

— Вот, доктор, смотрите, — взволнованно встретил его молодой дежурный врач. — Мне думается, диабет... Я уже приготовил инсулин, но без вас не решался...

Костя взглянул на больного, сосчитал пульс, послушал дыхание, надавил пальцем на веки закрытых глаз и нагнулся ко рту больного.

— Да, это, конечно, диабет. Но почему вы думаете, что нужен инсулин?

— Помилуйте, у него диабетическая кома...

— Нет, — прервал Костя. — У него не кома, у него гипогликемия.

— Тогда... — заторопился окончательно растерявшийся врач.

— Приготовьте сорокапроцентную глюкозу, дадим внутривенно.

— Слушаю, — отчетливо, словно с удовольствием подчиняясь приказу, сказал врач и отдал распоряжение сестре.

— Товарищи, — обратился Костя к группе студентов. — Я воспользуюсь вашим присутствием и объясню, какая опасность сейчас грозила больному. Это тем более важно, что такого рода недоразумения всегда возможны, особенно если врач не специалист, как это имеет место в данном случае... Вы, кажется, хирург? — спросил Костя дежурного врача.

— Точно так, — ответил тот по-военному.

— Ну, вот. Товарищи, все вы уже проходили внутренние болезни и знаете, что такое диабет. Видите, — Костя показал одновременно на больного и на дежурного врача. — Если бы это была кома, инсулин наверняка вернул бы больного к жизни. Но... Вот на это «но» я и должен обратить ваше внимание.

Доктор Сергеев говорил горячо и увлеченно. Ему впервые пришлось прочесть лекцию по поводу такого сложного клинического случая. И то обстоятельство, что он чувствовал себя в своей стихии, что он глубоко ощущал знание предмета и ценность того, что он сообщал, наполняло его уверенностью.

На обычно бледном лице его появился румянец, волосы рассыпались по высокому лбу, и он, как всегда, когда немного волновался, снимал и надевал очки, протирая стекла. Ему было очень приятно — он с некоторым смущением обратил на это внимание, — что одна из студенток, высокая, голубоглазая, все время смотрела на него не отрываясь.

— Но в данном случае мы столкнулись не с комой, а с обратным явлением — с гипогликемической реакцией, то есть с уменьшением в крови сахара ниже нормы. Больной этот, несомненно, пользуется инсулином, и вот в данном случае, введя его в солидном количестве — а надо вам сказать, что обычно больные впрыскивают его себе сами, — он второпях не поел, то есть не ввел в организм новых углеводов, а инсулин помог ассимилировать весь имевшийся в наличии сахар, — и вот наступило сахарное голода-

ние. У больного появилась резкая слабость, чувство острого голода, головокружение, и, как это бывает всегда в тяжелых случаях, больной потерял сознание и даже не смог сообщить, что именно с ним произошло. А это могло бы быть для него роковым. Почему? Потому что, во-первых, трудно сразу установить, что мы имеем дело с диабетом вообще, во-вторых, если это диабет — то кома или гипогликемия? При первой должно быть глубокое, шумное, так называемое кусмаулевское дыхание — вы это уже проходили и знаете, что это такое, — затем резкий ацетоновый запах изо рта, очень похожий на запах яблок, сухая кожа, усиленное сердцебиение; а при второй — дыхание нормальное, запаха ацетона нет, больной сильно потеет, пульс неопределенный. У этого больного все грани словно стерты: и дыхание как будто нормальное, и кожа не то сухая, не то чуть влажная, и пульс средний... Но вот полностью отсутствует запах ацетона, а при коме он должен был бы быть обязательно, особенно потому, что случай, как вы сами видите, довольно тяжелый. И еще одна маленькая деталь — на нее, к сожалению, редко обращают внимание: это гипотония глазных яблок; при коме она обязательна, при гипогликемии отсутствует. Вот, посмотрите.

Костя продемонстрировал перед студентами плотность глазных яблок больного.

— Итак, мы здесь несомненно имеем дело с гипогликемией. И если бы мы ввели в организм инсулин, то несомненно погубили бы больного. В легких случаях достаточно дать больному грамм пятьдесят хлеба или две-три ложечки сахару, но сейчас мы уже принуждены прибегнуть к более сильным средствам, — мы введем внутривенно сорокапроцентную глюкозу в количестве до пятидесяти санти. Вот, пожалуйста...

Сестра принесла большой шприц. Костя, вымыв руки и обтерев их спиртом, сам приготовил место укола, отчетливым движением вколочил в надувшуюся синеватую вену большую иглу и пустил жидкость. Потом он впрыснул маленьким шприцем адреналин, одновременно разъясняя студентам, зачем это делает.

Больной сделал движение, открыл мутные, словно пьяные глаза, тупо посмотрел на окружающих и снова как бы заснул. Но вскоре опять пошевелился, всмотрелся в лицо Кости и тихо спросил:

— Что со мной?

— А вы разве не знаете? — спросил Костя.

— Догадываюсь... — ответил больной, подумав. — Это уже бывало.

— То-то, — улыбаясь сказал Костя, разговаривая как со старым знакомым. — Сколько вкатили себе сегодня?

— Двадцать.

— Щедро. Завтракали?

— Нет, доктор, не успел...

— Все как по-писаному. Разве вы не знаете, чем это вам грозит?

— Торопился, доктор, не успел.

— Пошлите на кухню за обедом, — обратился Костя к сестре. — Накормите больного, так не отпускайте.

Больной все больше приходил в себя и охотно отвечал на вопросы студентов. Уходя, Костя посоветовал больному, во избежание врачебной ошибки, иметь в кармане записку: «У меня диабет, пользуюсь инсулином».

Студенты окружили Костю, засыпали вопросами, просили разрешения посетить его отделение. А та высокая, голубоглазая, с овальным чистым лицом, все так же пристально и ласково смотрела на него, а потом, прощаясь у входа в клинику, смущаясь спросила, можно ли ей, так как она очень интересуется эндокринологией, работать у него в отделении, и Костя ответил, что можно, пожалуйста.

— Ах, «можно», «пожалуйста»? — весело пердразнил его кто-то сзади, когда он входил в вестибюль.

Он сразу узнал голос Лены.

— А мне «пожалуйста», «можно»? — все так же смеясь, спрашивала она. — Любезничаешь тут, ловелас несчастный!

— Откуда ты? — обрадованный, искренне удивился он.

Оказалось, что Лена пришла уже давно и, узнав, что Костя в приемном покое, пошла вслед за ним и видела и слышала все, что происходило.

— Как ты, Костик, вырос. Разговариваешь совсем как папа...

Она смеялась и шутила, рассказывала, как на своем дежурстве выиграла у Николая Ильича Курбатова и у Михайлова по коробке шоколада. Курбатов говорил, что у больной, доставленной в карете скорой помощи, аппендицит, Михайлов — что внематочная беременность, а она, Лена, утверждала, что здесь ни то, ни другое. Когда вскрыли полость живота, и Курбатов, и Михайлов первый раз в жизни, эдакие самоуверенные наглецы, смутились, — у больной оказалась киста яичника, которая настолько разрослась, что прорвала яичник. Вся брюшная полость была залита кровью. Михайлов еще спорил, доказывал, что это зародыш, а не киста, и сдался только после заключения лаборатории. А папа сказал: «Ну что же, молодежь талантливее нас, у нее больше чутья... В этих случаях чутье — великая вещь. А главное — молодежь честно, увлеченно, горячо учится, волнуется, тревожится о судьбе больного...»

— Вот, Костик, — тормошила его Лена, весело смеясь и заражая его своим весельем. — Я, брат, талантливая, у меня, брат, чутье... И я увлеченно учусь... Покажи мне свое отделение, — вдруг уже серьезно сказала Лена. — Идем.

— Подожди минуточку... — взмолился он. — Поговорим еще немного...

— Нет, времени мало, только один день такой выдался, а я хочу обязательно посмотреть, как ты работаешь.

Она шла быстро, но ступала по вымытому линолеуму мягко, словно была в домашних туфлях. С ребячьим любопытством заглядывала в палаты, делала шутливые замечания.

— Сестра хорошенькая, даже очень. А главное, блондинка, совсем в твоем вкусе. Сам выбирал, или это случайно? Господи, и докторица красивая! Где ты их достаешь? Смотри, Костик, я ведь ревнивая!

Она делала «страшные» глаза, смешно гримасничала и была похожа на ту тонкую и легкую, чуть угловатую девушку-подростка, какой он узнал ее шесть лет назад. И Косте было особенно радостно то, что серьезная, даже солидная, порой суровая на работе в клинике, в научных собраниях, в отношениях с товарищами, Лена с ним была детски-шаловлива, весела. Только с отцом и с ним, Костей...

«Только ли?» — вдруг мелькнула короткая ревнивая мысль.

Он посмотрел на Лену, увидел ее простую, ясную улыбку и сразу успокоился.

Он показывал Лене одного за другим своих больных, коротко излагал историю болезни, рассказывал об успехах лечения, демонстрировал поправлявшихся.

— Вот, посмотри, — показывал он больную девушку Катю. — При поступлении в клинику вся классическая триада была резко выражена. И вообще она была в тяжелом состоянии. А сейчас... Вот возьми пульс... Почти норма... Железэ наполовину уменьшилась, глаза сравнить нельзя с тем, что было...

— Как вы себя чувствуете, Катя? — обратился он к больной.

— Ох, Константин Михайлович, спасибо. Очень хорошо. Вот смотрите, доктор, — обрадовалась Катя, обращаясь к Лене, и вытащила свои заветные карточки. — Смотрите... Вот это я была до болезни. Факт! Честное слово! А вот это меня сняли здесь, в клинике, два месяца назад, видите, какая страшила. Глаза как у той жабы. А шея — не дай бог даже вспомнить! А худущая была — прямо ложись и помирвай! Факт! Честное слово! А теперь, видите, опять ничего...

— Мы готовили ее к операции, — сказал Костя, переходя к следующей койке, — но сейчас думаю недели через две отпустить ее совсем. А вот наша знаменитая Лялька.

Лялька бесцеремонно вылезла из-под одеяла, встала на кровати и потянулась к Косте. Костя взял ее на руки.

— Что ты мне принес? — деловито спросила Лялька.

— Шоколад.

— А где он?

— Да ты же его съела.

— Когда?

— Утром.

— А еще?

— Еще я не успел, я еще на улицу не выходил.

— А выйдешь — принесешь?

— Обязательно.

Обвив руками шею Кости, Лялька оглядела всех победоносным взглядом.

— Ты, конечно, догадываешься, что у нее микс-эдема? — спросил Костя растроганную, взволнованную Лену. — Совсем недавно это было крохотное, отечное существо, без признаков мысли, без речи. А сейчас видишь? Все это под влиянием тиройдина.

Лялька не хотела расставаться с Костей, и он продолжал обход палаты, держа ее на руках. Он показывал Лене своих больных — диабетиков, аддисонников, тетанников... Но особенно он останавливал ее внимание на тех, кто сейчас привлекал все его мысли, — на больных с заболеваниями запутанными, сложными, но, несомненно, по глубокому убеждению Кости, идущими из эндокринной системы и, вероятно, в первую очередь из гипофиза.

Лялька уже переменила место и сидела на плече Кости, крепко держась за воротник пиджака и халата. Он с увлечением рассказывал Лене о блестящих перспективах эндокринологии, о будущей роли врача-специалиста в диагностике и терапии внутренних болезней.

— Что с ним? — тихо спросила Лена, увидев, как Сахновский, при появлении ее в палате, схватил халат и стремглав выбежал в коридор.

— А ты заметила его лицо и фигуру?

— Да. Это, видимо, акромегалия?

— Вот в этом весь ужас. Он не привык еще к своему уродству. Еще совсем недавно он был красив. А теперь прячется от людей, особенно от женщин.

А я ничего не могу сделать. Ничего... У него, как ты уже поняла, опухоль гипофиза, хирургу или рентгенологу вмешаться опасно. Меня угнетает полная наша беспомощность при этой болезни. Вот я и хочу вплотную заняться гипофизом, — задумчиво сказал он, с минуту сосредоточенно размышляя. — От него тысячи неприятностей.

Не без труда уложив Ляльку в постель, Костя пошел дальше.

Он не пропустил ни одного больного и показал Лене всех, как на большом профессорском обходе, и объяснил все, как объясняют студентам, специально интересующимся предметом.

Потом он показывал Лене библиотеку клиники, музей, где была представлена работа их отделения, любопытнейшие фотографии, демонстрирующие больных до и после лечения, отпрепарированную нервную систему, мозг со всеми его патологическими изменениями, железы с бесконечным количеством самых разнообразных заболеваний.

Они продвигались от экспоната к экспонату, и Костя рассказывал о своей работе, забыв о пережитом за эти длинные недели. Он вслух мечтал о том, что он разработает, а государство немедленно примет и реализует проект огромнейшего, первого в мире научно-исследовательского и практического нервно-эндокринно - терапевтического - хирурга - рентгенологического института. Он даже название придумал: «НЭТХРИ». В этом институте, соединив все биологические науки и все основные медицинские специальности, будут изучать нервную и эндокринную систему и, значит, окончательно победят все болезни.

— Ты фантазер, — радостно улыбаясь, говорила Лена.

— Но фантазер реальный, — серьезно настаивал Костя. — Без фантазии наука не может развиваться. Первых большевиков тоже называли фантазерами.

Они обедали вместе в большой столовой института. Костя познакомил Лену со Степаном Николаевичем, с доктором Светловым, со своим новым товари-

щем по отделению, веселым и энергичным толстяком, краснощеким балагуром Браиловским, недавно получившим степень доктора медицинских наук. Они все сидели за одним столом, и Светлов, по обыкновению немного застенчиво и тихо, сообщал о том, как Домна Ивановна, отказываясь уйти на отдых, сказала профессору:

— Как же клиника-то без меня останется? Больных я на кого оставляю? Здесь я отработала сорок пять лет. Здесь я всю жизнь провела, здесь и помру. Я уже с тобой вместе, Василий Николаевич, на покой уйду. Когда ты, тогда и я. Я ведь не старше тебя. А то, поди, и младше...

— Ну, нет, Домна Ивановна, — не соглашался профессор. — Это ты уже врешь... Ты, поди, лет на двенадцать старше меня.

И добрая, умная старуха вдруг начинала серьезно сердиться.

Степан Николаевич ядовито поддразнивал добродушного Браиловского.

— Вы не врач, а сушеная вобла, дрессированная крыса. Такие сочинения может даже дуровский морж написать. Помните, у Чехова — «Прошедшее и будущее собачьего налога...» Так и у вас — «Роль гречневой каши в обмене веществ» или «Влияние гиперфункции селезенки на деторождаемость в Конотопе». А, поди, аспирин прописать не можете. «Доктор меди-ци-ны!..»

— Я вас очень уважаю, дорогой Степан Николаевич, — язвил Браиловский, обжигаясь супом, — главным образом за старость. Ваш преклонный возраст заменяет вам все. И былой ум, и забытые знания. Очень просто.

— Какой вы все-таки... — перебил его Светлов, — как можно дерзить...

— ...такому древнему старцу? — заканчивал за него Браиловский. — Так вы хотите сказать? Вы правы, я больше не буду. Стариков надо уважать.

— Вот так всегда, — объяснил Костя смеявшейся Лене. — Их сажать рядом нельзя.

— А жить друг без друга тоже не могут, — говорил Светлов, — всегда ищут друг друга.

К столику подошла одна из сестер клиники и передала просьбу профессора: после обеда всем зайти к нему.

— Что-й-то случилось.... — меланхолично заметил Степан Николаевич.

— Будьте готовы, — откликнулся Браиловский. — Какой-то экстраординар. Очень просто.

— Надо идти, — поднялся Костя.

Пошли всей компанией. Лена ждала Костю в дежурной, но он долго не шел, и Лена уже собралась идти разыскивать его. Он появился несколько взволнованный.

— Всем врачам клиники предложено прослушать цикл лекций по военно-полевой хирургии. Это интересный предмет, — говорил Костя. — И нужный. Но, понимаешь, для меня это сейчас очень некстати. С первого числа я начинаю работать в лаборатории, и у меня ни секунды не остается. Даже для музыки часа не выделить.

— Ничего, Костик, — улыбаясь, сказала Лена. — Будем слушать вместе. Нам предложено то же самое.

— Но я еще не знаю, где мы будем слушать.

— А я знаю. У нас.

— Кто будет читать?

— Папа и Михайлов.

Костя, собрав все силы, пошутил:

— Ладно — ты у Михайлова, я у папы.

— Нет уж, вместе и у того и у другого. Кстати, папа говорит, что Михайлов блестяще знает предмет и очень интересно читает. Михайлов вообще талантливый человек.

Когда они вышли из клиники, было очень холодно. Дул пронзительный ветер. Острые снежные крупинки били в лицо и забивались за воротник. Но ни Лене, ни Косте не хотелось уходить с улицы, хотя они шли домой к Лене, сговорившись быть весь вечер вместе. После целого дня, проведенного в клинике, дышалось легко, морозный воздух вливался в легкие бодрящей струей.

— Дорогой кавалер, — шутливо поучала Лена рассеянного Костю, — возьми меня под руку. Пожа-

луйста, увсреннее, — диктовала она, — крепче. Не бойся, я не фарфоровая. Вот так. Идем в ногу, быстрее. Ах, как хорошо!

Над скованной льдом темнеющей Невой вертелись огромные бело-синие, рассыпающиеся облака снега, смутно угадывались контуры Кировского моста, его высоких тройных фонарей.

— Хорошо! — подставляя лицо ветру, повторила Лена.

Они шли быстро, шагая широко и энергично. Ветер бил в лицо еще сильнее, будто стараясь их задержать. Но чем яростнее он мешал им двигаться, чем злее впивались острые снежные колючки в глаза, в щеки, в лоб, тем оба они становились веселее, тем громче смеялись и быстрее продвигались вперед.

Х

Вторую половину дня Костя обычно посвящал лаборатории. Он работал все так же увлеченно, целиком отдаваясь своей идее раскрытия тайн природы.

— Не верите, так сказать, готовой науке? — сдержанно подтрунивал Степан Николаевич. — Желаете собственноручно порыться в собачьем нутре?

И новые его товарищи, специалисты-физиологи, также высказывали, хотя и очень корректно и мягко, некоторое удивление: зачем-де врачу самому экспериментировать, когда к его услугам все, что только выходит из-под умелых и опытных рук.

Костя затруднился бы объяснить, что именно больше всего заставляет его рыться в «собачьем нутре». Ему раньше всего хотелось самому воочию убедиться во всем, о чем сообщали научные исследования.

«Надо посмотреть собственными глазами... — усмехаясь, упрямо думал он. — Надо пощупать собственными руками, надо помыслить собственной головой».

Он хотел выяснить многое, на что до сих пор нигде не находил ответа, и в первую очередь — какие именно гормоны выделяются гипофизом? Ведь помимо ряда уже изученных оставались и такие, химиче-

ское строение которых до сих пор было решительно неизвестно, и, стало быть, оставалось неизвестным их влияние на жизнь организма.

Косте было трудно в первые дни работы. Он не привык к обстановке лаборатории, к технике эксперимента, к возне с животными. Кроме того, он не представлял себе той высокой степени строжайшей подчиненности общей теме кафедры, которая была совершенно обязательна для всех ее работников. При первом же знакомстве с профессором Ворониным Костя узнал, что тема кафедры не имеет ничего общего с тем, что интересует его. Профессор, после долгих переговоров, разрешил ему работать в лаборатории, но при условии, что он в своих опытах обязательно будет иметь в виду также и основные интересы кафедры.

— Нас интересует химическая природа нервного возбуждения в организме человека, — объяснил профессор, еще молодой, очень худощавый и бледный человек с глазами немного скорбными и фанатичными. — И, что бы вы ни делали, вы обязаны помнить также о нас.

Костя, смущаясь под взглядом пытливых глаз профессора, твердо обещал выполнять требования кафедры. Он знал, что это очень трудно, что он берет слишком большие обязательства, но утешал себя тем, что «так нужно». Да, так нужно! И, кроме того, он еще извлечет крайне ценные дополнительные знания. В мозгу Кости упрямо жила мысль, что только полное объединение эксперимента с клиникой может создать подлинного врача.

Это убеждение возникло у него давно, еще в студенческие годы, когда, читая труды Павлова, он все больше и больше проникался его идеей полного слияния лаборатории с практикой, физиологии с медициной. Он также твердо помнил, что еще замечательный русский врач Боткин, предоставив молодому Павлову заведование лабораторией при своей терапевтической клинике, стремился именно к такому соединению эксперимента с терапией, видя в этом слиянии громадную пользу для обоих разделов медицинской науки.

В лаборатории удаляли гипофиз у молодой собаки, и Костя видел, что это не вызывает смерти, и это удивляло его. Но он вскоре замечал, что удаление это вызывает остановку роста и полового созревания животного. Родной брат подопытного щенка, родившийся с ним в один и тот же час, превратился через полтора месяца в огромного пса, а оперированный остался маленьким, недоразвитым щенком. Костя стал ему впрыскивать вытяжки передней доли гипофиза молодых здоровых животных — пролан, и Джонни начал быстро расти, семенные железы стали созревать. Он снова крепко стоял на ногах, весело вилял хвостом, прыгал и визжал. Он лизал Костины руки, будто горячо благодарил за очередную порцию пролана. Когда у другой собаки удалили только переднюю часть гипофиза — вся картина от начала до конца повторилась. Тогда стали удалять только заднюю долю, и увидели среди прочих интересных явлений, что у собаки, только перед этим собиравшейся ощениться, прекратились родовые схватки. Костя впрыснул ей экстракт задней доли железы, и схватки возобновились с прежней силой, собака благополучно подарила лаборатории пять щенят. Все эти опыты были давно известны и ничего нового не представляли, но Косте казалось, что это открылось ему впервые, ибо он по-настоящему понял и почувствовал все это только сейчас. Но он увидел и другое: что и в передней, и в задней, и в промежуточной доле вырабатывается еще несколько различных гормонов, и что их действие решительно неясно, и что, стало быть, эту тайну еще предстоит открыть. И он был доволен, будто именно ему предстояла честь этого открытия. Обширное поле предстоящей деятельности радовало Сергеева, манило, и он сожалел, что в сутках так мало часов. Он торопился из клиники в лабораторию, чтобы скорее выяснить что-то очень важное, а утром, волнуясь, спешил в клинику, чтобы скорее осмотреть своих больных и, может быть, применить в диагнозе и лечении то, что он накануне обнаружил в лаборатории.

Проходя по коридорам крупного экспериментального института, который Сергеев вместе с группой

молодых ученых посетил по приглашению Воронина, работающего там по совместительству, он испытывал чувство удивления и восторга перед тем, что делается в тиши этих больших и малых лабораторий. За каждой дверью таилась большая мысль, возникала новая теория, создавалась новая, практически ценная возможность врачебной помощи больному. Тишина прерывалась только далеким разноголосым лаем и визгом собак, редким блеянием овечки, даже петушиными криками, и снова наступала удивительная тишина, словно в огромном здании все крепко заснуло. Но за обманчивой этой тишиной Костя чувствовал напряженную работу. Вот здесь, в этой маленькой комнате, работают над вопросом, который покажется непонятным любому непосвященному, но который может дать избавление от болезней миллионам людей. Это работа над химическими факторами нервного возбуждения при пептической язве желудка или двенадцатиперстной кишки; в соседней комнате работают над теми же факторами нервного возбуждения — но уже при спастическом колите; рядом какой-то молодой, пытливой голове нужно выяснить, каковы химические факторы нервного возбуждения при бронхиальной астме; а вот в той лаборатории бьются над происхождением самопроизвольной гангрены; еще дальше — над эссекциальной гипертонией; а вот здесь, в огромной, светлой, первоклассно оборудованной лаборатории, работает сам профессор Воронин над все теми же химическими факторами нервного возбуждения, но уже в другой области — в воспалительном процессе.

Костя уходил из института окрыленный, думая о завтрашнем возвращении сюда. Его немного огорчало, что именно сейчас, не раньше и не позже, надо ходить на лекции по военно-полевой хирургии. Но что же делать? Это теперь нужно больше, чем когда бы то ни было раньше. Профессор Никита Петрович Беляев сказал в большом вступительном слове, что предмет, предлагаемый сейчас вниманию врачей, может понадобиться в любую минуту, что слушатели должны отнестись к лекциям со всей серьезностью и с глубочайшим вниманием. И Костя понял, что это

не обычный лекторский прием, обязательный в начале любого курса. И рассказ Лены о том, что отец сейчас почти все время отдает новому предмету, что по ночам он пишет большой труд: «Военно-полевая хирургия», — тоже подтвердил мысли Кости о безусловной своевременности этой дисциплины.

Он аккуратно посещал лекции, аккуратно записывал их в тетрадь и был рад, что снова сидит рядом с Леной. Когда читал Михайлов, Костя ревниво наблюдал за ее лицом, иронически настраивался, ожидая случая «критикнуть», но, увы, не только ни на чем не мог «поймать» его, но, незаметно для себя, сам все больше увлекался содержательными лекциями. Михайлов, как и его учитель, профессор Беляев, был несомненным знатоком своего дела, вносил много нового, практически ценного, и Костя еще больше понимал, что все это вскоре может понадобиться, что война может вспыхнуть в любую минуту.

Толстый, розовощекий Браиловский, смеясь и балагурия, говорил, хлопая Костю по спине:

— Все это, дорогой медикус, понадобится гораздо раньше, чем вы думаете. Очень просто. И мы с вами обменяем клинику на ПМП, или на ДМП, или на какой-нибудь уютный, как бомбоньерочка, медсанбатик. И вам не придется взбалтывать беременным кошкам мозги, а надо будет серьезным делом заняться. Очень просто...

Браиловский рассказывал о целом ряде сложнейших случаев в работе медицинского персонала во время войны с белофиннами и неизменно прибавлял:

— А ведь это были детские игрушки в сравнении с тем, что может произойти, если начнется большая война. Очень просто. Будьте готовы!

В кругу врачей, особенно на лекциях, часто говорили о возможности больших военных событий, и в Костином представлении война рисовалась все более и более реально.

Когда же лектор по международным вопросам прочитал в институте лекцию и разъяснил слушателям, как важно быть готовым ко всяким «неожиданным» событиям, — Сергеев особенно остро понял, что война может разразиться в любой день, в любую мину-

ту. Он глубоко ощутил, что лекции по военно-полевой хирургии — это сейчас наиболее важный предмет и что именно сейчас и наступило для него свое время.

Комсомольская организация поручила Косте сделать ряд сообщений для молодежи института на ту же тему, и Костя ознакомился с необходимыми материалами. Он глубоко проникся всей исключительной важностью военно-полевой подготовки медицинского персонала института и клиники. Он не только слушал с глубоким вниманием лекции Беляева и Михайлова — он присутствовал на многих операциях и даже сам произвел под наблюдением Михайлова две ампутации раздробленных пальцев руки у человека, попавшего под трамвай. Он заново, с особенным прилежанием проштудировал анатомические атласы Воробьева, вместе с Леной и Браиловским посетил несколько раз прозекторскую и произвел ряд вскрытий и препарирований трупов, чтобы снова и снова освежить в памяти курс анатомии.

Косте было странно и обидно думать о возможной войне. Все жило для мира, для благополучия, для счастья. Откуда же война? Зачем? Разве для этого работают, строят, учатся? Разве для того построены заводы, фабрики, институты, школы, театры, музеи, курорты, чтобы их разрушила война?

Но Костя понимал всей глубиной сознания, что, как ни хочешь мира, надо быть готовым к войне.

«Хочешь мира, — звучало в его ушах, — будь готов к войне...»

Приближалось лето.

Все чаще стали говорить об отпусках, санаториях, Домах отдыха, собирались в поездку по Волге, по Военно-Грузинской дороге. Клиники закрывались на два месяца, и большинство врачей могло уехать на все это время.

Ленинград окутывался светлой зеленью, все больше распускаясь его сады, чище становились воды широкой Невы. Весеннее, на редкость голубое небо отражалось в них, и от этого река казалась еще просторнее, полноводнее. Набережные, площади, улицы — обновленными, вымытыми. Особенно выделялась, словно приобретая новые черты, привычно любимая

архитектура города. Не хотелось идти в помещения, город манил, удерживал. Тянуло бродить по знакомым, много раз исхоженным и тем более любимым дорогам.

Лена и Костя часами гуляли, стараясь обойти все полузабытые места: Лоцманский островок, уголки у самого взморья в конце Фонтанки, тихие улочки Крестовского острова с его крохотными ампирами особнячками за старинными решетчатыми оградами, сквер с древними деревьями и обелиском «В память победы Румянцева» на набережной между бывшим Кадетским шляхетным корпусом и Академией художеств, — все эти чудесные места вновь и вновь привлекали к себе неизъяснимой прелестью прошлого.

В один из вечеров, сидя после работы в Михайловском саду, они, смеясь и дурачась, обсуждали ритуал своей свадьбы. Мать и отец Кости требовали именно свадьбы, хотели, чтобы после записи в загсе был обед с приглашенными родственниками и друзьями, с музыкой и танцами до утра.

— Я для этого откладываю деньги уже два года... — говорила мать Кости. — Иначе что же это за свадьба, ежели будете таиться от людей, как, прости господи, незаконные сожители!

А отец Лены говорил, что все это чепуха.

— Надо в одно из воскресений с утра записаться, потом устроить семейный обед с шампанским — и все. Кто вечером захочет зайти поздравить — милости просим, пожалуйста.

Сами же Костя с Леной хотели сделать все по-другому: в неизвестный для окружающих день зайти в загс, зарегистрироваться и сообщить об этом родителям перед самым отъездом в отпуск, а поселиться вместе — уже после возвращения.

Но потом, решив, что это огорчит стариков, они согласились на предложение отца Лены.

Сейчас, сидя на скамейке, Костя до слез смешил Лену, изображая, как его бабушка, выдавая замуж внучку-комсомолку, бегала за новобрачными по квартире с иконой в руках, желая во что бы то ни стало благословить их по всем правилам старины; молодые, только что пришедшие из загса, держась друг

за друга, прыгали через стулья, прятались за мебель и наконец выбежали на лестницу. Но тут их подстерегал предусмотрительный дедушка с другой иконой и все-таки благословил.

Лена и Костя хохотали. Каждый пустяк смешил их. Прошел пожилой гражданин, посмотрел строго, осуждающе, и они стали смеяться еще больше. Потом парочка, давно за ними наблюдавшая, прошла мимо нарочито близко, чтобы лучше их разглядеть, и юноша сказал девушке:

— Это Шостакович, я его хорошо знаю.

И Костя с Леной принялись снова хохотать. Он вспомнил свое посещение кавказского погребка в тот вечер, когда он «с горя» напился, — его там тоже приняли почему-то за Шостаковича, — и Лене захотелось пойти туда поужинать. Через час они уже сидели в полуподвальном помещении, пропахшем вином, табачным дымом, пряной кухней. Официант ухаживал за ними любезно, как за старыми знакомыми, и очень рекомендовал съесть «сегодня очень удачный» чанахи, и шашлык по-карски, который «сегодня получился мировой», и «выдающиеся чебуреки», и выпить «из новой, сегодня полученной партии кахетинского». Дирижер, улыбаясь Косте, спросил, что сыграть, и Костя ответил:

— Пожалуйста, что угодно.

И оркестр играл одну за другой мелодии, которые Костя с трудом узнавал, но, узнав, смеясь говорил:

— Браво, браво, спасибо, очень хорошо!

Они с аппетитом ели и чебуреки и шашлык и пили действительно хорошее вино, или, может быть, оно только казалось таким.

Вечером, после двенадцати, когда они, шумно разговаривая, вернулись домой, Беляев сказал, что на этой неделе он заканчивает свою работу в клинике и в ближайшее воскресенье уезжает в Кисловодск.

Костя с Леной посоветовались и решили в день папиного отъезда с утра пойти в загс, вместе со стариками позавтракать, вместе с ними провести весь день и прямо с «большого семейного обеда» проводить Беляева на вокзал.

XI

Утро выдалось ослепительное.

Ленинградцы устремились за город. Трамваи, автобусы, троллейбусы, переполненные сверх всякой меры, уносили сотни тысяч людей к вокзалам, к паровозным пристаням, к стоянкам такси. Пригороды, дачные места — излюбленные уголки летнего отдыха — влекли к себе. Одна Приморско-Финляндская линия, на которой шестидесятикилометровой каруселью кружили по воскресеньям сто двадцать пар поездов, обслуживала огромный круг дачных мест и вывозила к тихому взморью десятки тысяч горожан.

Костя в новом костюме, чувствуя себя легким и подтянутым, шел к Лене. Он немного досадовал на предстоящую процедуру «записи акта гражданского состояния» и старался не думать о ней. Он нарочито отвлекался, смотрел на толпы по-летнему одетых людей, на все те дорогие сердцу места, которыми и в раннем детстве, и подростком, и позднее с Леной столько раз любовался.

«Скорее бы отдохнуть...» — подумал он и сейчас же вспомнил с удовольствием, что в этом году поедет с Леной на юг. Все, решительно все складывалось так, как об этом можно было только мечтать.

Смущенный, взволнованный, он надавил знакомую кнопку звонка и, когда нянька Мокеевна отворила, вдруг растерявшись, спросил:

— Елена Никитична дома?

— Ах ты господи, — рассмеялась Мокеевна. — Невесте в церковь ехать, а ее дома нету? Где ж ей быть-то? Леночка, иди, женихи приехали! Иди скорее, очень они беспокоятся!

Лена вышла. Белое платье усиливало бледность ее лица. Костя никогда еще не видел ее такой красивой.

— Идем, Ленок.

— Ишь, торопится, — благодушно смеялась няня. — Не терпится!

В загсе им пришлось с полчаса подождать. Они облегченно вздохнули, когда кончилась, к счастью

совсем короткая, процедура записи их брака, и с наслаждением вышли на залитую солнцем улицу.

Дома их встретили оба отца, мать и приодевшаяся, торжественная Мокеевна.

— Можно поздравить? — спросил профессор.

— Можно! — в один голос ответили молодые.

Никита Петрович молча обнял Лену, долго целовал ее, потом посмотрел в глаза и снова обнял.

— Он ведь и за отца и за мать... — вытирая слезы, сказала Мокеевна. — Мать-то в родах померла.

Потом Беляев пожал руку зятя и поцеловал его, и после этого подозрительно долго протирал очки, искал что-то на полу, в карманах, на столике, пока остальные обнимали молодых.

В столовой Костя обратил внимание на множество цветов и был рад, что его корзина — самая белая, самая большая и красивая. Недаром он обошел четыре магазина, прежде чем нашел то, что хотел. А чьи же это?

Лена подошла к нему.

— Хорошие цветы, Костик? Это от папы, это от ваших. Правда, прелестные? Эти от Курбатовых. Вот эта корзина без записки. Не знаю от кого.

Лена на секунду остановилась, потом спокойно прибавила:

— Вероятно, от Михайлова.

— Разве он знает?

— Еще бы — папа да вдруг не скажет своим возлюбленным сотрудникам! Но твои цветы, Костик, самые прекрасные. Спасибо... — и, обняв его, стала целовать. — Костик, ведь мы можем теперь целоваться при всех, даже при папе!

— Но-но-но! — строго покрикивал отец, расставляя по-своему бутылки на столе. — Не смей при мне!

— А мы теперь тебя не боимся!

— Вы, кажется, и раньше не очень-то боялись.

Раздался звонок, и через минуту в столовую шумно вошли Курбатов и Михайлов. Вслед за ними пришли старый друг Беляева, директор Костиной клиники профессор Василий Николаевич, и полный, розовощекий Браиловский с высоко поднятыми цветами в левой руке. Он декламировал поздравительные

стихи собственного сочинения и вручал Лене цветы, целуя необычайно галантно ее руку. Михайлов произнес речь об исключительных удачах некоторых симбиозов, дающих изумительные плоды, учтиво и ласково поцеловал руку Лены, пожал руку Кости и, комически вздохнув, добавил:

— Повезло вам, Константин Михайлович, ох, как повезло! Отхватили вы себе жену всему человечеству на зависть!

— Ладно, ладно, — крикнул Никита Петрович, — довольно речей, пожалуйста к столу!

Он с удовольствием вытирал бутылки шампанского, ловко срывал фольгу и проволочку, медленно вертел в обе стороны пробку, потом отпускал ее, и она пулей летела в потолок. Умело, не пролив и капли пенящейся влаги, он торжественно наполнял хрустальные бокалы, не доливая их на одинаково точное расстояние до краев, затем поднял играющий веселыми пузырьками, покрытый матовой влагой бокал и проговорил:

— Вы, друзья, как хотите, а я пью за здоровье моих детей!

Пили за здоровье, за успехи, за счастье.

Никита Петрович открывал всё новые бутылки, особенно важно разливал их по бокалам, придвигал гостям блюда, настойчиво угощал, рекомендовал особо удавшиеся и хвалил Мокеевну. Михайлов с аппетитом поглощал все, что ему подсовывал профессор, и говорил, подставляя тарелку:

— Образцы удовлетворительны, отпустите товар.

— Вот, дорогие люди, что я хочу сказать... — начал свой тост отец Кости. — Может, не складно, так вы не осудите... Мой отец был крестьянин Тверской губернии. А я мальчишкой пришел в Петербург. Пешком пришел. Служил три года за хлеб и угол у водопроводчика. Потом сбежал. Не вытерпел гаечного ключа, которым водопроводчик чуть что норовил по голове. Потом попал я к монтеру. Тоже было не сладко. Но делу научился. Работал у Айваза на электролампах. Потом, уже в советское время, на заводе «Электроаппарат». Но тянуло меня к медицине. Так сказать, болел этим делом. Ну, думаю, в докторане

привелось выйти, но в рентген, шутишь! — никто остановить не вправе. Не то время... И вот вышел я в специалисты. Так сказать, в технические доктора медицины. И, так сказать, не в последний сорт!

— Вы — знаток своего дела! — убежденно сказал Беляев.

— Спасибо, Никита Петрович, на добром слове. И вот, когда сынок у меня подрастать стал, занял я мечту — обязательно его вывести в медицину. Пусть, ежели не отец, то хоть сын науку эту замечательную насквозь произойдет... И вот, мечта моя была не пустая. Вот он, сын мой... Константин, — он посмотрел на смущенного Костю любовно и гордо, — вот он, нынче врач, и люди понимающие говорят: хороший врач. И жена его, Елена Никитична, тоже золотой хирург. И сидит он в своей дружеской семье, среди лучших людей медицины... И вот, дорогие мои друзья, ежели позволено мне так назвать вас, я хочу выпить этот стакан за ту великую советскую власть, которая сына моего в доктора вывела, и за ту великую медицину, которой все мы служим!

Слезы помешали ему продолжать. Он высоко поднял свой бокал, и, как по сигналу, все шумно поднялись. Никита Петрович, обойдя стол, обнял Сергея и, чокаясь, сказал:

— Выпьем, старина, от самого сердца до самого дна!

Вслед за ним подходили все и, чокаясь, пили.

Василий Николаевич весело рассказывал, как на его венчании в Сергиевском соборе подвыпивший шафер уронил ему на голову венец так, что вскочила огромная шишка на лбу. Михайлов молчал, упиваясь дорогой сигарой и черным кофе. Брайловский и супруги Курбатовы с удовольствием слушали сочные рассказы профессора.

Костя и Лена вышли на балкон. По Неве тихо плыл белый пароход. Мягко скользили лодки. На асфальтовом тротуаре девочки шумно играли в классы.

— Какое счастье, Ленушка, что мы с тобой теперь никогда не расстанемся... — глядя в глаза Лены, целуя ее руки, шептал Костя.

— Да, Костик, теперь мы всегда будем вместе... — так же тихо говорила Лена.

На расстоянии полуквартала от их дома, на углу двух улиц, громко вещал большой репродуктор, но слов издали нельзя было понять.

Под репродуктором собирался народ.

— Смотри, что-то интересное передают, — сказала Лена. — Сколько слушателей.

— Здесь всегда толпятся, — ответил Костя.

Но у репродуктора в одну минуту собралась огромная толпа.

— Пойдем, — предложила Лена, — включим радио, слушаем.

Они вернулись в столовую.

Было беззаботно, светло и весело. Через открытые окна щедро вливались широкие потоки яркого солнца, в темных стеклах играла глубокая синева неба, от цветов исходила свежесть.

— Одну минутку, товарищи, — попросила Лена, — слушаем радио.

Все смолкли. В это мгновение в столовую вошла Мокеевна с переносным аппаратом в руках.

— Тебя, Никита Петрович, — сказала она привычно. — Из клиники. Просили сейчас же позвонить.

Она включила аппарат, набрала номер и подала трубку профессору.

— Это я! — произнес Беляев весело. — Да. Кто? Доктор Лавров? Здравствуйте, доктор. Радио? Нет, не слушаем. А что?

Лена с Костей переглянулись. Лена подошла к приемнику и включила его.

— Что?.. — вдруг взволновавшись, переспросил Никита Петрович и встал. — Что такое?.. На нас?.. В четыре часа ночи?.. Сейчас включу.

Он бросил трубку. Резко повернулся. Хотел что-то сказать, но голос пресекся, и он издал странный хриплый звук.

Радио уже передавало слова сообщения.

Лена переключила приемник на Ленинград, и знакомый голос зазвучал совсем близко:

«...Теперь, когда нападение на Советский Союз совершено, Советским правительством дан нашим вой-

скам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины...»

Да, сомнений быть не могло!

Страшное испытание, как внезапный гром, обрушилось в час, когда, казалось, ждать его было невозможно.

Костя стоял бледный, оглушенный, не отрывая глаз от освещенного окошечка приемника.

«Мирная жизнь окончилась... — билось в его подавленном мозгу. — Началось тяжелое испытание. Мирная жизнь окончилась...»

Все стояли неподвижно. Только Костина мать внезапно опустилась на диван, словно у нее подломились ноги, а старая Мокеевна широко перекрестилась.

«...Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда...»

— Да... — сказал Никита Петрович, прослушав обращение. — Мокеевна, позвони в гараж, чтоб прислали машину. Поедем? — не то спросил он, не то приказал, обращаясь к Михайлову, Курбатову, к Лене. — Надо сейчас же в клинику.

И, словно отвечая ему, откликнулся Василий Николаевич.

— Да, и нам надо, — сказал он Браиловскому и Косте. — Я только позвоню домой — и поедем.

Огромная тяжесть придавила всех.

В комнате стало душно, тесно и как будто темнее.

Хотелось сказать что-то важное, но слова ничего не выражали.

— Какое жестокое, подлое коварство... — тихо, как бы про себя, сказал Никита Петрович. — Какая злобная подлость!

— Неслыханно, неслыханно! — негодовал Василь Николаевич.

— Как же так? — разводил руками старик Сергеев. — Без предъявления каких-либо... без предупреждений... Как же так? Ведь эдакое злодейство!..

Михайлов сидел молча, напряженно думая. И вдруг, багрово покраснев, с силой ударил по столу огромным кулаком.

— Ах, сволочь!..

Посуда на столе зазвенела, точно ее разбили, но Михайлов снова ударил по столу еще сильнее прежнего и резко встал.

— Ах, сволочь! Ну, погодите ж!.. Погодите!..

У него не хватало слов для возмущения, его душили негодование, гнев, ненависть, и он выражал все, что разрывало его грудь, вот этим ударом кулака и этим грубым словом.

Костя вышел на балкон, за ним вслед вышла Лена. Оба они, будто ожидая чего-то страшного, одновременно посмотрели на небо. Но синий купол был таким же голубым и чистым, как утром. И Нева так же отражала в себе его прозрачную синеву, и так же неслышно проплывали тихие лодки, и на тротуаре весело играли дети.

Костя посмотрел в глаза Лены, взял ее руки, прижал к груди, к лицу, снова к груди и молча, долго, неотрывно целовал их.

— Костик, — сказала Лена. — Милый... Что бы ни случилось, что бы война с нами ни сделала, куда бы нас ни раскинула, я всегда, везде буду только с тобой...

К подъезду подошла знакомая машина, и они вернулись в комнату.

ХІІ

Дни проходили в беспрерывном движении. Обе клиники — и у Лены и у Кости — превратились в большие госпитали. Надо было срочно распределить больных по больницам, часть выписать домой, быстро оборудовать отделения, начать приемку раненых, комплектовать новые штаты, заменять мобилизованных.

Костя подал заявление о зачислении в армию, но ходатайство было отклонено, — его оставили при клинике. Он обратился в высшую инстанцию, но там ему сказали, что «клиническая и научная работа в стране не кончилась», что «надо делать то дело, на

которое вас поставило государство». Никакие доводы о его возрасте, о военном долге, о том, что в клиниках и лабораториях достаточно пожилых людей, — не действовали. Его не отпускали. Лишь тогда, когда Беляев был назначен главным хирургом одного из фронтов, а Михайлов — одной из армий, Косте удалось добиться своего.

В ближайшие дни он должен был выехать по назначению. В новой форме, юношески сухощавый, по-военному подтянутый, он чувствовал себя сильным как никогда. Ему казалось, что он действительно никогда не был так здоров, крепок и готов к работе, как сейчас. Если бы не разлука с Леной, воинское положение которой еще не определилось, и причитания матери, тяжело переживавшей его отъезд на фронт, он чувствовал бы себя превосходно. Тяжесть, жестоко давившая в первые дни войны, рассеялась. Для Кости, как и для многих людей, горячо увлеченных своим мирным делом, война была жестокой неожиданностью, возможной и все же невероятной. Люди жили, работали, строили — и вдруг в эту жизнь ворвалась извне злобная сила, готовая убить миллионы людей, уничтожить целые города, области, страны. Мир вновь посетила чума!

В первые дни эта черная сила минутами казалась трудно одолимой, сокрушающей. Но вскоре Костя услышал в глубине своего напряженного сознания резкую отповедь мрачным представлениям. И не только всем сознанием, но и всей глубиной души он ощутил невозможность гибели.

— Это невозможно! — говорил он убежденно Лене, отцу, Браиловскому, Степану Николаевичу. — Нет, невозможно! Нас победить никто в мире не сможет! Взгляните! Вот!

Он показывал на карту страны, вглядывался в бесконечные просторы, разбегающиеся вглубь и вширь на тысячи километров. Он видел цветные линии границ республик и краев, очертания доброй сотни огромнейших областей. Он видел красные звезды многих столиц, кружочки неисчислимых городов, синие пятна океанов, морей, озер, безграничные извилины длиннейших и широчайших в мире рек.

— Смотри! — заставлял он Лену следить за движением своей руки. — От наших западных границ до восточных — десять тысяч километров! От южных до северных — тоже добрых шести! Нет в мире другой такой грандиозной страны, и, главное, на ней двести миллионов советских людей!..

Он сам словно впервые открывал это только сейчас, почему-то только теперь увидел непостижимые размеры и богатства своей родины, только сейчас так взволнованно впивался взглядом в яркие краски ее полей, лесов, гор, заповедников! Отчего до сих пор он не смотрел так прикованно-жадно на свою землю — от Мурманска до Памира, от Минска до Владивостока? Глаза не могут сразу охватить масштабы карты, вмещающей одну шестую всего мира — от крайних южных границ Черного и Каспийского морей до северных границ Ледовитого океана, от «Балтийских волн» до Охотского моря.

«Сколько хлеба родит наша земля, — думал Костя, — сколько скота на ней пасется, сколько неизмеримых богатств таит она в своих недрах!..»

Он на миг останавливался, словно для того, чтобы постигнуть эту силу. Он всматривался в карту, вдохновлялся ею и снова думал:

«Сколько рудников, шахт, промыслов, сколько заводов, фабрик, промышленных предприятий раскинуто на нашей безграничной территории!»

И вдруг, словно эта мысль впервые посетила его, восклицал:

— А сколько людей на нашей земле! И каких людей!

Этими словами он всегда заканчивал свои горячие рассуждения.

— Вот вы увидите! — убежденно говорил он в клинике, в лаборатории, дома, на улице. — Пройдет немного времени, и вы сами все увидите!

Дни, напряженные, порой обжигающие пламенем событий, горьким дыханием тревожных известий, шли необычайно быстро, и срок отъезда Кости надвинулся для всех — для него самого, для родителей, для Лены — как-то сразу, словно неожиданно.

Сергеев зашел в бюро комсомола проститься с секретарем и товарищами. Васильев уже был назначен в один из санбатов и уехал, а из товарищей лишь немногие остались на месте, остальные — молодые врачи, студенты, сестры — разъехались по военным частям, госпиталям и прочим санитарным учреждениям. Доктору Сергееву стало как-то не по себе — казалось, что он опаздывает, отстает, в то время как все товарищи уже находятся на местах и делают свое дело.

Новый секретарь передал Косте оставленную Васильевым рекомендацию бюро ВЛКСМ, и Костя бережно присоединил ее к двум, уже давно имеющимся.

В последний день стало известно, что Лена тоже получает назначение в армию, но куда именно — она пока не знала. Они оба уезжали на фронт и решили проститься с близкими.

Утром в день отъезда Кости Никита Петрович позволил ему воспользоваться машиной, и Костя с Леной помчались по городу.

Военные события и приготовления к обороне резко изменили облик Ленинграда. В садах и скверах, на площадях и проспектах рыли узкие щели — окопы, стекла домов были заклеены замысловатыми узорами белых полос, у ворот и подъездов стояли женщины с противогазами и санитарными сумками, окна первых этажей зашивались досками, закладывались мешками с песком, по улицам проносились грузовики с эвакуируемыми детьми, огромные прицепы со станками, моторами, кранами, — но Ленинград при всем этом оставался таким, каким был всегда, — прекрасным и величественным. Раздавалась сирена воздушной тревоги, останавливался транспорт, люди входили в подъезды домов, но где-то далеко, на невидимых подступах к городу воздушная оборона останавливала попытку налета, и звонкий горн возвещал отбой.

Машина быстро несла Лену и Костю. Они мчались по набережной, печально прощаясь с городом. Оба молчали, и оба думали одно и то же.

«Когда же мы все это увидим снова?.. И увидим ли?..»

Они возвращались усталые, в глазах еще мелькало все, что пронеслось перед ними, как в быстро вертящейся панораме. Все казалось, что они многое пропустили, о многом забыли или не заметили.

Поезд отходил вечером. Костя предусмотрительно ничего не сказал дома о точном времени отъезда, сообщив об этом только за час до срока. Он боялся сцены прощания, слез матери.

И час этот был действительно тяжел.

Мать то охватывала его голову и прижимала к груди, то отталкивала и смотрела в глаза и снова прижимала к себе, горестно рыдая.

— Ничего, мама, не плачь,пусти... Я скоро вернусь... — успокаивал Костя. — Я скоро вернусь... Я еду в тыловой госпиталь...

Отец, скрывая слезы в голосе, силою отрывал ее от Кости.

— Ладно, мать, ладно,пусти его. Дай и мне проститься!..

Вырвавшись из объятий матери, Костя выбежал из дому, но и отец и мать догнали его на улице, когда машина трогалась с места. Он, оборачиваясь, долго размахивал фуражкой, пока фигуры родителей не скрылись из виду.

Грудь наполнило каменной тяжестью, — было до спазмов в горле жалко стариков, будто он жестоко с ними поступил, в течение многих лет обещая что-то большое, нужное для них, а сейчас бросил их, беспомощных и одиноких.

Лена молчала. Как ни крепилась она, скрыть горе было невозможно. Через час после Кости уезжал отец. Она оставалась одна. Где и когда они встретятся вновь? И встретятся ли?

Слезы тоненькими струйками текли по щекам, она отворачивалась, кончиком пальца быстро вытирала их.

На вокзале было темно, вокруг уезжающих толпились близкие. Лена вошла вместе с Костей в вагон.

— Печально, — сказала Лена, — что мы уезжаем не вместе.

— А может быть, так лучше... — ответил Костя. —

Волнуясь друг за друга, мы на работе, вероятно, только мешали бы один другому.

— Это было бы наше свадебное путешествие... — грустно усмехаясь, сказала она.

Костя встревоженно посмотрел на ее бледное лицо. Губы у нее подергивались, подбородок дрожал. Внезапно она села на скамью, будто лишилась сил, и, закрыв лицо руками, жалостно, по-детски заплакала.

— Лена, Леночка, не надо... — просил Костя, стараясь оторвать ее руки от лица. — Ленушка...

Но она продолжала плакать, и слезы сквозь пальцы падали на прикинувшую к ней голову Кости.

Он наклонился и долго целовал ее мокрые руки, лицо, глаза.

Раздался второй звонок.

Он помог ей подняться.

— Иди, девочка, иди скорей.

На перроне она уже не плакала и, когда поезд тронулся, пошла за вагоном, неотрывно глядя на высунившегося в окно Костю, и долго, пока не скрылся весь состав, махала вслед платком.

Часть вторая

ФРОНТ

I

После больших помещений ленинградской клиники в медсанбате все казалось крохотным и неудобным. Просторная изба, служившая операционной, заполненная столами, шкафчиками, словно сузилась, стала маленькой, неместительной. Рабочее место было ограничено, воздуха не хватало.

Костя, выйдя от командира санбата, надел халат и вошел в операционную в ту самую минуту, когда на стол положили больного и сестра быстрыми движениями смазывала йодом кожу вокруг раны.

— Военврач третьего ранга Сергеев прибыл в ваше распоряжение, — старательно, по-военному доложил Костя старшему хирургу Соколову.

Хирург, невысокий, в белом халате, с белым колпаком и с марлевой маской, закрывшей почти все лицо до самых глаз, склонился над столом. Руки его, в желтых резиновых перчатках, были подняты вверх, готовые опуститься на операционное поле.

— Очень хорошо, — сказал он, подняв голову. — Прекрасно. Переодевайтесь и приступайте к работе. Дела по уши.

Он говорил, почти не глядя на Костю. В желтых пальцах холодно блеснула полоска скальпеля, глаза, обманчиво темные на белом фоне маски и колпака, нетерпеливо следили за подготовительной работой сестры.

— Скорее! — сказал он ей.

Но Косте показалось, что это относится к нему.

Он быстро вышел в предоперационную, снял с себя гимнастерку и рубашку, попросил санитаров выйти с ним во двор, помочь ему вымыться с дороги.

— Где тут оперировать, когда на мне слой пыли! — словно оправдываясь, объяснял он.

— Ничего, товарищ военврач, здесь пыль не помеха, привыкнете, — спокойным баском отвечал санитар, щедро поливая ему на руки воду. — Санбат — не клиника.

Крупный, обросший рыжеватой бородой санитар Бушуев был солиден и важен. Серые глаза смотрели ласково и умно. Костя почувствовал к нему симпатию. Санитар, родом уралец, служил когда-то в Ленинграде. Он обрадовался Сергееву, словно встретил земляка.

— Спервоначалу будет трудненько... — дружески говорил ему санитар. — Потом легче будет. А люди наши — первый сорт! Люди — на подбор: один старший хирург чего стоит! А комиссар и того лучше! Не парень, а золото!

Операции были в разгаре. Ассистировали сестры. На соседнем столе оперировал молодой врач, и Костя неожиданно узнал в нем своего сокурсника Николая Трофимова.

«Неужели он?» — не веря собственным глазам, подумал Костя.

Трофимов нагнулся над больным, белый колпак плотно закрывал голову, почти все лицо было прикрыто маской, но Костя узнал его сразу именно благодаря позе, мгновенно напомнившей облик того студента, с которым он работал сначала в анатомичке, а позднее, на четвертом курсе, в клинике Беляева. Тот же изгиб фигуры, тот же поворот головы. Пока сестра помогала Косте надевать халат и вытирала его перчатки спиртом, он неотрывно всматривался в Трофимова, но молчал, боясь отвлечь его.

«Так вот где мы встретились, вот на какой работе столкнулись...» — подумал Костя.

— Военврач Сергеев! — оторвался старший хирург

от своего стола. — Вы готовы? Возьмите на третий стол вон того раненого, посмотрите!

Сестра уже сняла с больного простыню, санитары поднимали его, но Костя, осмотрев ранение, с ужасом почувствовал, что не готов к сложной операции, что не сможет один провести ее.

В эту минуту его окликнул Трофимов:

— Костя? Неужели ты?!

Он стоял у своего стола с покрытым кровью скальпелем в руке. Глаза его выражали радость и удивление.

Костя подошел ближе.

— А я сразу узнал тебя, — сказал он и, волнуясь, прибавил:

— Послушай, Николай, мне надо сейчас оперировать... кажется, сделать ампутацию, но я... сознаться... немного растерялся...

— Приготовься, я сейчас закончу и помогу. Но, боже мой, какие бывают встречи!

Костя вернулся к своему столу, нащупал у раненого раздробление коленного сустава и понял, что ампутация действительно неизбежна, но сам решиться на нее не мог. Он посоветовался со старшим врачом и тот, посмотрев, коротко проговорил:

— Режьте.

Но резал Трофимов, а Костя только ассистировал.

И то, как Трофимов легко сделал круговой надрез большим двухсторонним ампутационным ножом, как быстро он сменил его на маленький резекционный, когда дошел до плотных сухожилий вблизи суставов, и то, как просто он взял дуговую пилу и ровно перепилил кость — все говорило о профессиональном опыте Трофимова, имеющего за спиной всего лишь один год практики. Костя почувствовал глубокую неловкость за свою, как ему казалось, полную неподготовленность к делу, которое сейчас было так нужно. Когда же, казалось совсем близко, раздался оглушительный грохот разорвавшегося снаряда и Костя, побледнев, вздрогнул всем телом, в то время как все оставались невозмутимы, а Трофимов даже не поднял головы, Костя ощутил себя совсем жалким человеком.

— Ничего, ничего, — сказал Трофимов, — завтра ты будешь все делать не хуже меня.

Но оперировать Сергееву пришлось даже не завтра, а в тот же вечер. Беспрерывный поток раненых требовал работы на всех столах, и Сергеев, быстро освоившись с обстановкой, стал делать наиболее легкие, но все же и не совсем простые операции.

Все говорило о длительных, упорных боях. От раненых шел горячий запах сухой земли, пороха, еще чего-то неуловимого, что было присуще только им одним и резко отличало их от всех других людей.

Они не жаловались, почти не стонали, редко просили о чем-нибудь.

— Больно? — спрашивал Костя, боясь при исследовании причинить раненому лишние страдания.

— Ничего, товарищ военврач, потерплю... — почти одинаковыми словами отвечали и совсем молодые, и средних лет бойцы, и командиры, и кадровые, и запасные.

«Удивительные люди...» — думал Костя.

— Я говорю на полковом пункте: «Пустите меня обратно в часть», — извиняющимся тоном объяснял Косте молодой танкист с большой резаной раной, — а они отвечают: «Не имеем никакого полного права, обязаны отправить с таким ранением в медсанбат...» И вот, товарищ военврач, очень извиняюсь, отправили. А мне надо обратно, у меня там товарищи остались.

Костя долго объяснял огорченному танкисту, что до заживления раны ему придется полежать в тыловом госпитале, но тот так и не поверил, что «из-за такого пустяка» необходимо отправлять в тыл.

И Соколов, и Трофимов, и соседняя вторая бригада, и большинство людей медсанбата не спали уже третью ночь. Шестьдесят восемь часов подряд они принимали, осматривали, оперировали, транспортировали в тыл.

Старший хирург, военврач второго ранга Иван Николаевич Соколов, человек лет сорока, худощавый и бледный, обросший седоватой щетиной, в небольших перерывах между операциями бессильно опускался на ящик у стола, а когда надо было браться снова за

работу, едва поднимался с места. И Трофимов, также чудовищно уставший, все боялся, что внезапно уснет и свалится на операционный стол. И фельдшера, и сестры, и санитары, и шоферы одинаково напряженно боролись со сном и поддерживали себя крепким, почти черным чаем, рекомендованным Соколовым против усталости.

Ночью стало заметно тише, и Сергеев, оставшись без Соколова и Трофимова, ушедших отдохнуть, оперировал до утра один, — ему помогали две сестры и три санитаря. Напряженность первых часов уже исчезла. К нему пришла некоторая уверенность, ощущение хорошо усвоенных знаний. Превосходно помогали молодые сестры — они прекрасно знали свое дело. Они легко определяли общее состояние больного и состояние раны, умели остановить кровотечение, ловко накладывали повязку и шины, при шоке быстро впрыскивали морфий, вливали кровь, отогревали раненых. Костю трогало это удивительное профессиональное умение совсем молодых девушек, отрешенность от своих личных переживаний и особенное, глубочайшее понимание своего долга.

Одна из сестер, маленькая и тоненькая, выглядела шестнадцатилетним подростком, хотя в действительности была намного старше. И Косте казалось странным, что на операциях она вела себя как опытная хирургическая сестра. Не ожидая указаний, она подавала инструменты, знала их очередность, и если Костя ошибался, называя не то, что требовалось, она уверенно протягивала нужный инструмент.

— Кохер! — говорил Костя.

Но Шурочка протягивала зажим Пеана, и Костя не возражал, сразу вспомнив, что действительно для венозных сплетений, лежащих в нежных и мягких тканях, зажим Кохера подходит менее.

Другая сестра, которую все, несмотря на ее молодость, называли Надеждой Алексеевной, заменяя врача, уверенно и спокойно ассистировала, вызывая еще большее удивление Кости.

С рассветом гул канонады снова усилился, и к утру подвоз раненых сравнялся с вчерашним. И уже снова стояли за своими столами чуть отдохнувшие

Соколов и Трофимов. И снова санитары укладывали на столы раненых, и снова в тесной операционной слышался приглушенный стон, внезапный крик, металлический звон падающих в таз инструментов, отрывистые голоса врачей.

К полудню Косте показалось, что канонада приближается, а к вечеру выяснилось, что наши батареи действительно стоят уже где-то совсем близко.

— Отходят наши... — сказал Сергею побледневший и осунувшийся Трофимов.

— Я и то догадался... — тихо ответил Костя.

Бушуев, снимая с носилок раненого, таинственным полупшепотом сообщил ту же новость:

— Опять, товарищ военврач, отступаем...

Санбат получил приказ отойти на запасную площадку. Было ясно, что отойти надо немедленно, но поток раненых не прекращался, операции надо было производить непрерывно. Между тем близость боя ощущалась все явственнее. Снаряды рвались вблизи расположения санбата, где-то рядом пылали колхозные конюшни, и полыхающее пламя сливалось с далеким багровым заревом, охватившим половину неба на западе. У села окапывалась пехота, устремлялись пулеметы, невдалеке прошла легкая батарея.

Медсанбат ушел, оставив хирургическую бригаду заканчивать работу. Последним должен был уйти Костя. Вместе с Шурочкой, заметно побледневшей, еще больше похожей на подростка, вместе с невозмутимо спокойной Надеждой Алексеевной, вместе с санитаром-уральцем, энергичным и угрюмо-бодрым Бушуевым, Костя работал в ожидании возвращения машин. Раненых, минуя батальонные и полковые перевязочные пункты, приносили прямо в санбат, вследствие загруженности машин эвакуация задерживалась; перевязки, и особенно операции, в обстановке боя, казалось, шли очень медленно. Где-то совсем близко грохнуло, и волной вышибло все рамы в избе. Пыльный сквозняк пронесся через помещение.

— Закрыть рану!.. — крикнул Костя сестре сквозь марлевую повязку.

Но Надежда Алексеевна уже прикрыла стериль-

ной салфеткой большую рану на желтом от йода бедре раненого.

«А дальше что? — в отчаянии подумал Костя. — Ведь в рану ворвется облако пыли. Что делать?..»

— Продолжайте, — тихо сказала Надежда Алексеевна. — Все будет хорошо.

Она открыла рану, и Костя продолжал операцию, заканчивая перевязку бедренной артерии.

— Вот тебе и асептика и антисептика... — сказал он, стараясь овладеть собой.

Работать стало невозможно. Земля под ногами содрогалась, изба покачивалась, с шумом падали вещи. Ветер, отрывая наскоро прибитые к окнам одеяла и простыни, вносил клубы пыли, дыма, сухие листья и солому. Ослабевшие аккумуляторы давали все меньше света.

Сергеев решил до переезда прекратить операцию и поставил весь персонал на перевязки.

Но первый же тяжелораненный, пораженный в грудь молоденький лейтенант с чудесной фамилией — Чехов, заставил Костю изменить решение.

Когда раненого положили на стол, Сергеев увидел, что из-за открытого пневмоторакса воздух через рану проник в область плевры. Раненый задышался.

И Сергеев, волнуясь, торопливо думал:

«Если не оперировать здесь же, на месте, раненый погибнет в ближайшие часы... Если же прооперировать сейчас, не теряя ни минуты, шансы на благополучный исход резко поднимаются... Что делать? У меня нет достаточных знаний, нет опыта, нет техники... Как хирург — я слаб... Очень слаб... И, наверное, не сумею провести операцию на должной высоте... Но если я не рискну, тогда раненый обречен... Он не дотянет до госпиталя...»

В помещение вошел комиссар Фролов — высокий, худощавый, подтянутый человек с продолговатым бледным лицом и строгими темными глазами.

— Кончайте перевязки, готовьтесь сняться! Сейчас придет транспорт! — крикнул он с порога.

Костя объяснил комиссару положение.

— Задумываться не приходится, — заметно снизив голос, чтобы больной его не услышал, сразу же

ответил Фролов. — Сами же говорите: «Не сделать — будет худо, а сделать — может, и удастся спасти». Стало быть, надо делать.

Костя заставил трех санитаров держать вокруг стола раскрытые простыни, образующие ширму, комиссар поднял над операционным полем два аккумуляторных фонаря, и Костя, забыв об окружающем, будто работал в хорошо оборудованной больнице, освежил рану, обнажил мышцы и, осторожно проникая в глубину грудной клетки, перевязывал кровоточащие сосуды.

Надежда Алексеевна и Шурочка помогали так умело и точно, и Костя чувствовал в них таких дельных и опытных работников, что и сам стал ощущать все большую уверенность.

После ушивания открытого пневмоторакса раненый почувствовал облегчение, стал легко дышать, на порозовевших губах появилась улыбка.

До прибытия транспорта Костя успел сделать еще несколько неотложных перевязок и отошел от операционного стола лишь тогда, когда отправил всех до единого раненых и погрузил в машину все оставшееся оборудование операционной. Тех, кто прибывал в последнюю минуту, несли на носилках, на палатках и просто на руках бойцы отходящих частей, которых Костя мобилизовал для этой цели. Он ехал с комиссаром батальона и с тремя ранеными в последней машине.

Над колонной несколько раз, пересекая дорогу, появлялись немецкие бомбардировщики, но, отгоняемые нашими истребителями, уносились в стороны. Вскоре они появлялись снова, и Костя испуганно думал о том, что поток металла и пламени может в ближайший же миг обрушиться на беспомощных раненых и больных, только что так тщательно оперированных, перевязанных, лежащих под защитой ярко нарисованных крупных знаков Красного Креста.

«Не может быть... — думал он. — Не может быть, чтобы они сознательно пытались бомбить именно санитарную колонну!.. Ведь существует Женевское международное соглашение... Нельзя стрелять в раненых, уносимых с поля боя, нельзя стрелять во врача,

в фельдшера, в сестру, в санитаря, охраняемых знаком Красного Креста. Ни одно государство не может разрешить себе обстрел санитарного поезда, госпиталя, какого бы то ни было помещения, в котором лежат раненые!..»

И в то же мгновение раздался оглушительный, подбросивший Костину машину удар. Над головной каретой взвилось плотное облако клубящегося дыма, пронизанное языками пламени. И сейчас же, вслед за первым, обрушились второй и третий удары. Дорога покрылась серой завесой пыли, каких-то больших и малых кусков ткани, медленно плывущих в воздухе.

Дыхание Кости остановилось, будто кто-то сжал его горло тугой петлей.

— Вперед! — крикнул он.

Но шофер, словно не поняв его, упрямо смотрел на серую завесу впереди и не отвечал. Над ними на огромной скорости пронесся истребитель и в какую-то неуловимую частицу времени врезался в тройку черных машин. Две из них шарахнулись в стороны, а третья, вскинувшись кверху, вдруг выпустила огненно-дымовую хвост и, растягивая его по небу, горящим комом упала у леса, в стороне от дороги.

От первых двух карет остались разбросанные по сторонам ломаные части, рваные хлопья одеял, простынь, обгоревшие тела. Молоденький лейтенант Чехов, сияя на солнце особенной, удивительной белизной лица, рук, свежих бинтов, лежал поперек придорожной канавы и странно спокойно смотрел в небо. Чехов казался живым, и Костя бросился к нему. Он послушал сердце — оно не билось, он заглянул в глаза — большие, светло-карие, они тускло отразили ставшее серым низкое небо, но солнечных бликов не было. Глаза, час назад смотревшие на Костю с такой надеждой и благодарностью, были мертвы. Чуть поодаль лежал неподвижный шофер, а рядом с ним — сестра Шурочка. Она была, видимо, жива. Повреждений не было заметно, только белый халат покрылся слоем серой грязи и худенькое лицо ее потемнело. Костя, приложив трубку к груди и услышав дыхание, схватил Шуру на руки и отнес в свою машину. Оглу-

шенная, она лежала в карете без движения, крепко зажав в детской руке широкий бинт.

Заново распределив раненых и забрав убитых, комиссар отправил колонну дальше.

Лавируя между глубокими воронками, машины медленно двигались мимо догорающего фашистского бомбардировщика, мимо обуглившегося трупа немецкого летчика, мимо своих разбитых, разметанных карет, и Костя, подавленный, думал о непостижимой жестокости чудовищ, не знающих удержу в своей нечеловеческой злобе.

Он сделал еще один укол в неподвижную руку Шурочки, но она оставалась почти бездыханной, сердце едва билось, руки были холодны.

— Шура, очнитесь!..

Но тело оставалось безвольным, безучастным, и только когда на ухабе подбросило машину, рука с зажатым бинтом, вздрогнув, вдруг мертво свалилась с носилок и безжизненно повисла в воздухе. Он не знал, что делать. Все было испробовано — ничто не помогало.

На одной из остановок Костя перешел в другую машину. В ней лежал тяжелораненый боец-украинец. Костя хотел осмотреть его, но остановился, увидев Бушуева, перевязывающего собственную голову.

— Ранен? — спросил Костя.

— Пустяки... товарищ военврач...

— Покажите...

Он быстро размотал бинт, снял большой, намокший в крови кусок марли и увидел рану.

— Вы с ума сошли! — рассердился Костя. — Отчего вы мне не сказали?

— Так это ж пустяки... — оправдывался резко побледневший Бушуев.

— Надо было сразу показать мне или кому-нибудь из персонала, — все еще сердился Костя, перевязывая Бушуева.

— И без меня всем работы хватает, товарищ военврач, — вяло возражал Бушуев. — Я ведь сам, извиняюсь, персонал...

Рана была, хотя и несерьезная, поверхностная, но большая, и кровь крупными каплями падала на

халат, а Бушуев, едва прикрыв рану куском марли, продолжал работу до той минуты, когда пришел Костя.

Наложив повязку, Костя пытался устроить Бушуева на полу кареты, но тот решительно отказался:

— Что вы, товарищ военврач! Мне за ранеными ходить надо... Я ж персонал!..

К полудню машины прибыли на место. В стороне от нового месторасположения санбата похоронили убитых. Расставаясь с телом молоденького лейтенанта Чехова, Костя с завистью смотрел на запыленных артиллеристов, быстро идущих за тяжелыми орудиями. Он чувствовал, что хочет быть на их месте, чтобы самому, своей рукой посылать снаряды и убивать тех, кто принес его стране столько горя.

«Убивать их! — горело в его мозгу. — Убивать, убивать, убивать!.. Истреблять всех, кто пробрался на нашу землю!..»

Сергеев подошел к комиссару и, достав из планшета толстый конверт, раскрыл его и подал несколько сложенных вместе документов.

— Разрешите доложить...

— Пожалуйста.

— Вот. Здесь мое заявление о принятии в партию и три рекомендации — одна от комсомольской организации и две от коммунистов.

— Прекрасно, — сказал комиссар, быстро пробежав глазами по документам и аккуратно сложив их. — Прекрасно...

Сергеев вернулся в операционную.

II

На новом месте работали не так много, как раньше. И расположились здесь прочнее, заняв ряд удобных помещений достаточно просторной школы. Сортировочная, перевязочная и операционная помещались в больших комнатах, столы освещались широкими окнами; рядом поместилась такая же светлая предоперационная, за ней госпитальная, состоявшая из трех палат. Все было совсем как в больнице мир-

ного времени. Когда подвоз раненых на время прекращался, Косте казалось, что он снова в своей ленинградской клинике, что тишину помещений ничто не может нарушить и он будет снова спокойно записывать в свои толстые тетради все, что захватывало его внимание. Порой выдавался свободный час-другой, и он торопился занести в «анналы» — как шуточно именовал Трофимов его тетради и блокноты — все случаи поразительного действия сульфидина и стрептоцида в лечении гнойных ран.

Эта тема стала теперь его основной темой. Он знал статистику прошлых войн: его поражали цифры смертности и ампутаций вследствие нагноений и сепсиса. Даже в самые светлые времена расцвета листеровского учения хирургия не могла в полной мере бороться с послераневыми инфекциями, и во всех армиях погибали и оставались калеками сотни тысяч людей, в то время как сама рана вовсе не угрожала ни жизни солдата, ни даже целостности его рук и ног. И вот сейчас порошок стрептоцида запросто решает судьбу человека — припудривая из самого примитивного пульверизатора свежую рану, Костя уже твердо знал, что стрептоцид безусловно задержит рост и размножение микробов. Если врач сталкивался с уже инфицированной раной, то, обрабатывая ее тем же путем, он знал наверняка, что резко уменьшает или вовсе устраняет инфекцию.

Костя переживал период влюбленности в сульфамидные препараты. Он с удовольствием смотрел на банки с стрептоцидом, сульфидином, сульфазолом, и его охватывало то великолепное чувство, которое испытывает артиллерист, стоя у дальнобойного усовершенствованного орудия, или летчик, управляющий чутким, беспрекословно подчиняющимся боевым самолетом. Обрабатывая рану, он словно смотрел через сильнейший микроскоп и видел мириады микробов, страшных врагов человека, готовых захватывать все большее и большее пространство, терзать живой человеческий организм, приносить страдание и смерть. И вот эти невидимые человеческим глазом убийцы миллионов людей сейчас во власти человека. Надо их только достаточно засыпать вот этим белым порош-

ком, надо только достаточно насытить им кровь больного, и убийцы будут уничтожены!..

Костя обрадовался, когда ему поручили сопровождать санитарный транспорт в полевой подвижной госпиталь. Он хотел увидеть своих старых больных, осмотреть их раны, услышать от врачей отзывы о результатах работы санбата.

Первым он увидел Бушуева. На его голове еще белела круглая, как ермолка, плотная повязка, но выглядел он почти здоровым и работал вместе с остальными санитарями, ничуть не уступая им в бодрости и силе. Сергеев был удивлен, но Бушуев сказал невозмутимо, пряча в глазах озорные огоньки:

— А как же иначе, товарищ военврач, — я ж персонал, мне хворать не полагается.

— А Шурочка как?

— То же самое. Работает самосильно в операционной...

Костя застал Шурочку на том самом месте, где операционная сестра обычно стоит во время операции, словно тяжелая контузия не лишила ее недавно на много часов сознания, угрожая самой жизни. Девушка выглядела еще бледнее обыкновенного, под глазами ее темнели круги, голова временами подергивалась. Но, как и всегда, она неотрывно следила за операцией и даже не подняла головы, когда Костя вошел.

Бушуев ходил с Костей по палатам и важно, как профессор, показывал ему больных.

Пулеметчик Евдокимов, раненный осколком мины в голову, казался не только Косте, но и Соколову, и Трофимову, и всем другим врачам безнадежно больным. Костя хорошо помнил эту рану: она поразила его своей трагичностью. Осколок раздробил часть правой лобной кости и всю височную кость, проник в мозговую массу и раздробил вещество головного мозга, в частности — участок правой височной доли. Раненый, несмотря на плотную повязку, сделанную на поле боя санитарным инструктором, истекал кровью. Вместе с ней отходили частицы поврежденного мозга. Эвакуация больных задерживалась. Соколов сделал операцию. Он тщательно очистил края раны, удалил кост-

ные осколки, частицы раздробленной части мозга и обрывки ткани и густо засыпал рану порошком белого стрептоцида. Потом в течение целых суток, пока Евдокимова не отправили дальше, он внимательно следил за ним. Больной бредил, и бред его был необычен. Он почти не переставал петь и пел полным голосом, лишь изредка устало затихая и мурлыкая что-то под нос. Костя знал, что характер этого бреда связан с резким раздражением именно правой височной области, которая хранит звуковую, даже именно музыкальную память. Костя с глубочайшим интересом наблюдал за Евдокимовым.

Сейчас раздражение исчезло, Евдокимов был в полном сознании, больше не пел, разговаривал с соседями, просил курить и только изредка жаловался на боль в голове, мешающую ему, по его словам, «серьезно думать».

Второй больной, почти с такой же раной, как у Евдокимова, был боец Рагозин.

— Раньше такие больные безусловно погибали, — говорил Соколов.

— А теперь безусловно должны поправляться! — добавлял Сергеев.

И сейчас он вспоминал, как Соколов широко раскрыл входное и выходное отверстия, удалил осколки, а затем, старательно промыв дезинфицирующими растворами свищевой ход, засыпал его стрептоцидом. На следующий день, так как Рагозин не приходил в себя, Сергеев щедро поил его теми же чудодейственными сульфамидами.

И вот сейчас, на одиннадцатый день после ранения, Рагозин, хоть и слабым голосом, хоть и прерывисто и глухо, но сообщил Сергееву свою фамилию, имя, отчество и назвал военную часть.

Сергеев тогда дивился высокому искусству Соколова, с такую великолепной техникой выполнявшего сложные операции, которые, казалось бы, под стать только крупному нейрохирургу в специальной клинике. А ведь Соколов по своей должности в мирное время всего только рядовой заведующий хирургическим отделением обыкновенной городской больницы на периферии. Костя испытывал чувства благодарности и

уважения за те прекрасные уроки тончайшей хирургии, которые он получил и получает у такого превосходного врача и учителя.

Костя вспоминал сейчас, как долго он не мог решиться на полостную операцию, как мучительно сомневался в своих возможностях хирурга и как однажды решился только потому, что рядом стоял Соколов и обычным тихим голосом сказал: «Не волнуйтесь, делайте». Операций было так много, нужда в хирургических руках так велика, что задумываться не приходилось, работать надо было бесперебойно и во что бы то ни стало, и он, незаметно для себя, стал заправским хирургом. Ведь нарастание опыта шло со скоростью в десятки, в сотни раз большей, нежели в мирной обстановке. Если в обыкновенной больнице или в клинике хирург делал две-три операции в операционный день — это составляло двадцать-тридцать случаев в месяц. При этом молодой врач делал самые легкие операции, не скоро получая полостные и добираясь до них очень постепенно и очень осторожно. Здесь же требовалось оперировать нередко с утра до вечера, а случалось, и круглые сутки, и при этом все, что ни приходилось, — выбирать не было возможности. И обстановка сплошь и рядом бывала такая, что, казалось, даже самая легкая операция в этих условиях технически невозможна. Нередко здесь все вопиюще противоречило требованиям не только асептики, но и простым правилам гигиены. Случалось делать операции не только в малоприспособленных, наскоро прибранных избах, не только в тоненьких, насквозь продуваемых палатках или в сырых, темных землянках, но и на открытом воздухе — в лесу, в поле и даже просто в развалившемся окопе или в канаве.

Размышляя сейчас об этом, Сергеев вдруг вспомнил, как Коля Трофимов, вынужденный обстоятельствами, сделал молодому командиру срочную трахеотомию в лесу под деревом. У больного вследствие ранения шеи образовался отек трахеи. Он стал задыхаться. На лице его выступил пот, пульс сильно участился, нос и подбородок посинели, концы пальцев, особенно под ногтями, стали почти черны. Трофимов не стал дожидаться, пока принесут специальный тро-

акар или трахсотом — медлить нельзя было ни минуты, — подложил под затылок больного обыкновенный камень, чтобы голова его запрокинулась назад, и простым скальпелем сделал прокол гортани. Трофимов был принужден из-за особой поспешности отказаться от применения анестезии и даже от остановки кровотечения. Все это он сделал уже после операции, когда больной через трубку свободно дышал, когда усиление исчезло и пульс установился.

— Пуля дура... — любил повторять слова Суворова рассудительный Бушуев, поворачивая эти слова по-своему. — Дырявит человека где хочет. — И сокрушенно добавлял: — Война есть война. Где убили, там и похоронили, где ранили, там и полечили. Тут каждая минуточка дорога, зря терять ее нечего. А всё ничего, всё слава богу, наш человек быстро поправляется, потому что по натуре крепок, вынослив и очень даже желает жить. Кто очень хочет жить, тот всегда скорее поправляется.

Из сведений, присылаемых московскими и другими тыловыми госпиталями и клиниками, Сергеев знал, что значительная часть раненых, которых при первой обработке раны пользовали сульфамидными препаратами, прибывала в тыл с нормальной температурой, в наиболее благоприятном для дальнейшего лечения состоянии. Те же раненые, у которых почему-либо не проводилась обработка новейшим способом, нередко доставлялись с нагноениями, флегмонами, сепсисом и другими тяжелыми явлениями.

Костя видел раненых, которые заканчивали свой лечебный путь здесь, в полевом госпитале. А ведь и они принадлежали к разряду тяжелых, многие еще совсем недавно лежали неподвижно, не верили в свое выздоровление. Сейчас они быстро поправлялись и уже вскоре могли вернуться в строй.

Возвращение в строй!

Это одна из основных проблем воюющей армии. Французские врачи много писали о том, что в войне 1914—1918 годов победоносный исход ее решили хорошо излеченные раненые, быстро вернувшиеся в армию. Может быть, это и преувеличено, но доля правды здесь несомненна. По сведениям, приходящим из

тыловых госпиталей, получалось, что в нашей армии в строй возвращается больше семидесяти, может быть даже под восемьдесят процентов всех раненых.

Костя часто вспоминал отца Лены, в последние годы отдававшего все силы сложному делу медицинского обслуживания армии. Как ни насыщен был рабочий день профессора Беляева, несколько часов он обязательно уделял работе над своей книгой «Военно-полевая хирургия». Каждый вечер после лекций, приемов, обходов, операций он садился за письменный стол в углу большого кабинета и до глубокой ночи писал свою книгу. Он почти отказался от личной жизни. Страстный хлебосол, он, казалось, больше всего любил принимать гостей. У него собирались его товарищи, ассистенты, помощники, партнеры по инструментальному ансамблю. Традиционные семейные обеды и ужины были в жизни вдового старика Беляева подлинным отдыхом. Но теперь каждый раз, когда он задумывал такой обед или ужин, его охватывало раздумье: ведь на это уйдет несколько часов драгоценного времени. И старик отказывался от приема друзей. И другое, уже по-настоящему любимое занятие — музыка также отошла на дальний план. Старая виолончель профессора теперь подолгу сиротливо стояла в углу за роялем, и хозяин только поглядывал на нее с болью в сердце и не решался вынуть из уютного кожаного футляра. Ему все хотелось возобновить свои камерные вечера — трио и квартеты. В былые дни эти камерные собрания были обязательны, для них отводились среды или субботы, и очень редко что-нибудь могло помешать им. А в последние месяцы для них не находилось времени.

Как упорно работал Беляев и как своевременно выпустил свою книгу. Огромную роль сыграла она сейчас в полевой хирургии!

Костя видел перед собой высокую фигуру профессора, его тяжелую поступь, внешнюю медлительность, порой похожую на лень, и проникался все большим уважением к его сорокалетней врачебной деятельности.

«Сколько больных принял он! — взволнованно думал Костя. — Его ассистенты подсчитали: шестьдесят

тысяч; сколько операций сделал! — по документам клиники, около двенадцати тысяч; сколько людей спас от смерти! А за последние двадцать лет сколько написал замечательных трудов, сколько подготовил хирургов, из которых иные приобрели славу превосходных врачей и ученых!

Где он теперь, этот обаятельный человек?

Главный хирург фронта, он объезжает подчиненные ему подвижные санитарные учреждения, и, говорят, недавно был в соседнем полевом госпитале. Как хочется его повидать, поговорить с ним, узнать о Лене...»

Костя напряг всю свою волю, чтобы не думать о Лене. Он приучил себя вспоминать о ней только наедине с собой, вдали от людей, от тяжелой рабочей обстановки...

«Потом, потом...» — упрямо думал он, словно боясь внести в мечты о Лене горечь и боль окружающего.

Он старался вернуться к мыслям о Беляеве, о его учениках и помощниках. Он вспомнил Михайлова. И старая ненависть на миг охватила его, как в «те дни». Но тут же он подумал, что Михайлов возник в его памяти как ученик и помощник Беляева. Ведь он один из самых даровитых хирургов, и работы его пользуются доброй славой. Это особенно относится к области военно-полевой хирургии. Костя слышал, что Михайлов день и ночь инспектирует полковые и дивизионные пункты, войсковые подвижные госпитали и прочие полевые санитарные учреждения армии, что Михайлов, стремясь помочь хирургам в трудную минуту, охотно, где только может, сам производит сложнейшие операции. Его энергия увлекает врачей, помогает в их тяжелой и сложной работе. Костя знал об этом, и, против желания, старая ненависть странно смягчалась, бывая неприязнь почти исчезала, и он проникался холодным уважением, какой-то особенной почтительностью к высокой врачебной честности Михайлова, к его глубочайшей преданности делу, сейчас особенно ярко выраженной. Косте даже показалось, что он был бы рад, если бы вдруг здесь или у себя в санбате встретил Михай-

лова. Да, эта встреча была бы, пожалуй, очень интересна.

Костя на миг опять вспомнил Лену и опять упорно отстранил ее образ. «Нет, нет, потом... — говорил он себе, — потом».

Он обходил палаты, осматривал больных, приглядывался к работе врачей, сестер, и чувства, похожие на те, которые наполняли его сердце, когда он думал о Беляеве, о Михайлове, охватывали его все сильнее. Как хорошо — умно и тонко — провел сейчас на редкость сложную операцию этот немолодой, но такой подтянутый и любезный врач Сухотин, и как сразу же, без отдыха, сделал почти такую же вторую операцию. Как заботливо укладывает больного этот старый фельдшер, с виду такой мрачный и суровый. Как матерински ласково и привычно, будто она всю жизнь только это и делала, кормит с ложечки раненого бойца эта красивая золотоволосая сестра с тонким профилем.

У Кости вдруг сжалось сердце — что-то очень близкое померещилось ему в облике юной золотоволосой сестры. Линии рта, подбородка, прозрачное золотое облачко над белым лбом мгновенно вызвали образ Лены. Он подошел ближе — нет! Сходства никакого!

Но образ Лены уже не оставлял его.

Он вышел в большой, как лес, осенний сад, окружавший госпиталь. В этот удивительный день осенний сад спутал все представления Кости. Он шел по его широким аллеям, сворачивал на узкие, извилистые тропинки, переходил по крохотным мостикам через маленькие пруды. Ему казалось, что он бродит не то по ленинградским островам, не то по детско-сельскому парку. Деревья были уже наполовину оголены, только верхушки, покачиваясь, манили зеленью сохранившейся листвы. Кружевной рисунок переплетающихся полуобнаженных ветвей отчетливо темнел на голубом полотне неба. Красновато-желтые листья покрывали дорожки, скамьи и, освещенные мягким светом позднего октябрьского солнца, играли неуловимыми красками. Тишина увядающего парка, прозрачный воздух, терпкий, едва уловимый запах

осенней прели — все уводило Костю к родным местам, к Ленинграду, к тем чудесным уголкам, которые были ему — и сейчас он это особенно остро чувствовал — дорожке всего на свете. Тропинка, пересекающая длинную аллею, была сплошь покрыта пестрой листвой, хрустевшей под ногами. Он шел все дальше, словно у него была определенная цель — остаться одному и отдаться мыслям о Лене.

Прошло около трех месяцев со дня разлуки с ней, но, кроме одной открытки с несколькими словами приветия, он ничего от нее не получил. А ведь он написал ей добрый десяток писем. Выехала ли Лена из Ленинграда? Если бы выехала, она бы сейчас же написала. Нет, конечно, она осталась в Ленинграде. Вероятно, работает в своей же клинике. Каково ей? Город отрезан от страны, муж и отец по другую сторону вражеского кольца, над улицами с зловещим гудением носятся бомбардировщики, на дома падают бомбы, уже разрушено немало прекрасных ленинградских зданий, не одна тысяча людей сражена разбойничьим налетом. А Лена, беспомощная, милая Лена, жившая до сих пор под опекой отца, привыкшая к вниманию друзей, сейчас одна в этой огромной, черной тревоге. Что, если в настороженные улицы города прорвутся колонны фашистских танков?..

Костя мгновенно остановился, грудь его внезапно завалило огромной тяжестью. Он не мог дышать.

«Нет, нет!.. — как всегда в минуты таких размышлений, огнем зажглось в мозгу. — Нет, это невозможно!.. Этого не будет!..»

Он быстро пошел дальше, не видя ничего вокруг. Он знал, что Ленинград накрепко заперт, что ленинградцы никогда не сдадут своего города, не впустят врага. Но все же уверенность эта не подавляла тревоги. Зачем он не остался с Леной? Разве в Ленинграде не тот же фронт?

Он круто повернул назад.

На площадке, в стороне от госпиталя, выстроился транспорт, готовый к возвращению в санбат. На новые трехтонки грузили ящики с медикаментами, кипы одеял и белья, столы и шкафчики.

У одной из машин стояла Шурочка. Шинель си-

дела на ней неуклюже, будто маленькая девочка надела отцовскую одежду.

— Вы куда? — удивился Костя.

— Домой, товарищ военврач.

— То есть, куда домой?

— В медсанбат.

Костя рассердился.

— Вам надо в тыл. Лечиться.

— Я здорова, товарищ военврач.

Шурочка волновалась, голова ее заметно подергивалась. И худенькая рука, когда она козыряла, также дрожала.

Бушуев, в шинели и с узелком в руках, неожиданно вытянулся перед Костей.

— Явился в ваше распоряжение, товарищ военврач.

Подстриженный и помолодевший, он хитровато улыбался:

«Что, мол, какие у тебя основания не взять меня?»

— Надо и вам, Бушуев, в тыл. Лечиться... — сказал Костя, поглядывая на видневшуюся из-под фуражки повязку.

— В санбате, товарищ военврач, долечимся, — улыбаясь ответил Бушуев.

— Садитесь, — махнул рукой Костя.

Скоро машины, соблюдая установленный интервал, растянувшись на добрый километр, двинулись в путь.

III

Еще задолго до войны Лена часто видела один и тот же сон: будто идет она по своей Гагаринской улице и над ней внезапно появляются гудящие черные машины и быстро покрывают все небо почти до самого горизонта. Машины спускаются совсем низко и вдруг выбрасывают блестящие голубые, розовые, зеленые шары. Падая на улицу, шары эти с грохотом взрываются, высоко, насколько видит глаз, подбрасывают многоэтажные дома, и они рассыпаются фонтаном обломков, камней, земли. Люди бегут вдоль улицы, и с ними вместе бежит Лена. В лицо ей дует

горячий ветер, впереди стреляют оранжевым огнем узкие длинные орудия. Она бежит в жестоком испуге, стремясь укрыться в знакомом подвале совсем уже близкого дома, но огромная черная машина спускается над нею, из круглого отверстия вылетает красный шар и, грохоча, шипя, разрывается у самых ног. В грудь ударяет сно огня. Лена умирает, и, умирая, она успевает подумать: «Убита... Что будет с папой?..» — и просыпается. Кругом спокойно и тихо, и она уже понимала, что все это было только во сне, но тоска еще давила грудь. Лена, как в детстве, бежала к старой няньке и шепотом рассказывала об ужасном сне. И Мокеевна, прижимая ее к себе, неизменно отвечала:

— Страшен сон, да милостив бог... Не бойся, девочка, спи.

Лена часто видела этот сон и всегда долго оставалась под его тягостным впечатлением. Изредка содержание сна несколько изменялось, и тогда вместо черных машин появлялись бегущие по улицам немцы с неестественно красными лицами, с большими фашистскими знаками на железных касках. Они оглушительно стреляли из громадных, похожих на большие зенитные орудия, черных автоматов. Длинная пуля попадала в самую середину груди, и рана быстро расширялась, становилась круглой и большой, воздух с шипением вырывался из легких. Лена широко раскрывала рот, мучительно хотела крикнуть, но голоса не было, даже шепот не получался... И, проснувшись, она в испуге снова бежала к няньке, и та тихонько крестила ее под одеялом и говорила:

— А ты поменьше газет читай и радива не слушай.

Но Лена читала газеты и слушала радио. И все, что делали фашисты в Польше, Франции, Бельгии, Греции, Югославии, остро врезалось в память. Убийства тысяч людей, злобная бомбежка Варшавы, Лондона, Белграда, чудовищное разрушение Честер-фильда, Бристоля, Ковентри, Манчестера, тысячи злодейств во всех государствах Европы, — все отлагалось где-то в глубине мозга, в далеких тайниках сердца.

И вот сейчас эти сны, так часто охватывавшие ее ледяным холодом, стали страшной действительностью. В течение первых двух с половиной месяцев войны ни один вражеский самолет не сумел пробиться сквозь воздушные заграждения. Но в сумерки одного из первых осенних дней, скрываясь за густой цепью больших плотных облаков, враг впервые прорвался в город. Двенадцать бомбардировщиков, внезапно вынырнув из-за длинной черной тучи, завывая, понеслись над улицами, переполненными людьми. Лена видела их над самой своей головой, слышала совсем близко завывание моторов. Все останавливались, рассматривали стремительно проносившегося врага. Все жадно слушали близкие и далекие удары зениток, наблюдали за ложившимися у самых машин белыми дымками и уходили во дворы только после строгих окриков. И Лена также оставалась странно спокойной, будто эти машины несколько не были похожи на те, что она видела в своих снах, и ничем ей не угрожали. Она вошла в какой-то подъезд лишь тогда, когда раздалось один за другим несколько взрывов, от которых под ногами качнулась земля. Но она сейчас же вынула из портфеля пропуск и вышла на улицу.

Со стороны Лиговки черно-серыми клубами поднимался густой, непроницаемый дым. Он закрывал всю южную часть неба, поднимался до самого центра и клочьями уплывал в стороны. Жирный чад окутал, казалось, весь город. Сумерки стали быстро сгущаться, словно приближалась неожиданная ночь. Но на улицах было странно спокойно, будто где-то далеко случился обычный пожар, и только собравшиеся у ворот обсуждали: где и что произошло?

Люди называли десятки различных улиц, спорили, но не было и тени испуга, — того, что вносит смятение, растерянность, переполох. Лена быстро шла, почти бежала к своему госпиталю и у всех ворот видела одну и ту же картину — группы саитарной и противопожарной помощи. На крышах стояли застывшие фигуры людей. Шумно носились мальчишки, неподвижно темнели трамвайные вагоны, машины. Когда же раздалась приятная музыка воздушного

отбоя, — все вдруг сразу бурно зашумело, зазвонили пронзительные трамвайные звонки, загудели моторы.

Придя в госпиталь, Лена позвонила домой Мокеевны, успокоила ее, спросила, нет ли писем. Услышав в ответ привычное «нет», она принялась за работу.

В госпитале шли вечерние операции.

В большой операционной, бывшей хирургической факультетской клиники, за столом, у которого всегда работал профессор Беляев, стояла Лена. Готовая пройти тонким пинцетом в круглое, только что выдолбленное в начисто выбритом черепе отверстие, она напряженно вглядывалась в затянувшуюся крохотную ранку мозга, чтобы из глубины ее изъять едва видимый осколок. В операционной было светло, на рабочее поле падал широкий белый луч рефлектора, тихо позвякивали инструменты. Казалось, белоснежная комната прочно отделена от остального мира толстыми стенами, плотными клеенчатыми портьерами, всей атмосферой белой чистоты и редкой тишины. Лена слегка кивнула наркотизатору, и тот молча прибавил в маску хлороформа. Она протянула руку, и сестра так же молча подала ей пинцет. Старой операционной сестре приятно было работать с Леной, — она узнавала знакомые жесты, движения, очень похожие на все, что делал ее любимый профессор. Было тихо, как в совершенно безлюдном помещении, только редкий тоненький звон брошенного инструмента, смягченный марлевой салфеткой, робко нарушал тишину. Лена осторожно прошла в тоненький разрез мозга, ощутила чуткими кончиками пинцета твердое тело и осторожно распустила их, чтобы ухватить ускользающий осколок.

В этот самый миг за окнами завывало, протяжно прокатилось, как близкий гром. Дом качнулся в одну сторону, потом в другую. Качаясь, он раздробил стекла и безжалостно, с трескучим звоном вышвырнул их на улицу. Воздушная волна надула, как паруса, белые клеенчатые портьеры. Ветер, отхлынув, потянул за собой тяжелые оконные занавеси.

Потом стало очень тихо, и только через несколько

секунд грохот, как верное эхо, постепенно отдаляясь, трижды повторился.

Лена вздрогнула, рука ее ослабла, не было сил шевельнуться. Она боялась двинуться, она не знала, как быть — продолжать ли попытку ухватить осколок или убрать пинцет прочь от раны. Сердце ее медленно и тяжело стучало, ноги каменно отяжелели. Она оглядела окружающих, словно спрашивая: что делать? Сестра, бледная и чуть растерянная, пыталась что-то сказать Лене, но даже сквозь марлевую маску видно было, как дрожат ее губы. И наркотизатор и санитарка смотрели также вопрошающе. Только ассистент, совсем молоденький врач, выглядел бодро и уверенно, словно ему наконец-то удалось услышать действительно очень интересное и важное.

— Что же вы? — сказал он Лене подчеркнуто бодро. — Вам дурно? Давайте я закончу.

— Нет, — ответила Лена, одолевая испуг. — Я сама.

Где-то уже совсем далеко раздалось еще несколько глухих ударов, выстрелы зениток стали немного тише, и Лена быстро закончила операцию.

В отворенную воздушной волной дверь просунул голову комиссар госпиталя.

— Как у вас? — спросил он Лену.

— Все благополучно. Только, кажется, все стекла вылетели. Да вот кое-что разбилось.

— Продолжать можете?

— Можем.

— Приготовьтесь. Тут есть пострадавшие.

Из операционной выкатили белую тележку с оперированным бойцом и сразу же на его место положили новую раненую. Лена, приготовив руки, вернулась в операционную.

После большого тела унесенного бойца то, что лежало сейчас на столе, казалось совсем крохотным и хрупким. Лена подошла ближе и увидела худенькое личико девочки с запекшейся кровью на щеке. Длинные ресницы закрытых глаз еще резче оттеняли мертвенную желтизну чуть вздернутого детского носика, заострившихся скул и чистого лба. Маленький рот

приоткрылся, виднелась едва заметная белая полоска — только еще прорезающиеся верхние резцы.

«Лет семь...» — тягостно подумала Лена.

Пока сестра вытирала кожу вокруг раны, Лена осторожно приложила ухо к груди девочки. Она словно не доверяла ассистенту, со скептическим видом слушавшему пульс. Сердце ребенка билось едва слышно, тоны были глухи и слабы. Девочка потеряла много крови, или, может быть, осколки задели жизненные центры мозга — организм слабо боролся со смертью. Возбуждающие не помогали. Лену охватил страх. С какой-то особенно острой болью она ощутила возможность гибели больной.

Чувствуя странный холод в кончиках пальцев, Лена сделала первый разрез. Ассистент приложил марлю к ране, но в тот же миг Лена услышала странный звук в горле девочки. Она мгновенно поняла: запал язык. Операцию приостановили. Быстро раскрыв рот, достали щипцами язык, оттянули его кверху, но девочка не дышала. Яснее прежнего видны были едва прорезавшиеся постоянные зубы, крохотная белая полоска на побледневшей десне, и это снова залило грудь Лены острой жалостью и болью. Она сняла перчатки и сама, словно никому не доверяя, вколола в руку ребенка шприц с кофеином, сама сделала искусственное дыхание, снова впрыснула возбуждающее. Ничего не помогало. Носик девочки стал тоньше, круги под глазами резко потемнели, щеки запали. Лена стояла неподвижно и смотрела в ее личико, словно ожидала, что оно еще может ожить, что длинные, густые ресницы могут подняться, посиневшие губы — шевельнуться. Но маленькое личико оставалось мертвым, с белой полоски прорезающихся зубов исчезла ее живая влага, последние видимые соки жизни. Едва ощутимый ветерок шевельнул нежные волосы, и лицо на мгновение словно ожило. Но сейчас же оно снова застыло.

— Кто она? — с трудом выталкивая слова, спросила Лена комиссара вдруг охрипшим голосом.

— Пока неизвестно... — тихо отвечал он. — Бежала, видно, из аптеки... В руках было лекарство...

Он вынул из кармана бутылочку, протянул Лене,

Издали она прочла: «Гражданке Константиновой. Тинктура строфанти 10,0 по 5—6 капель три раза в день».

— Видно, матери... — сказал комиссар.

Мертвую девочку снимали со стола, и головка ее, беспомощно качнувшись, повисла в воздухе.

— Видно, матери... — повторил комиссар, не отрывая глаз от ребенка.

— Ждет, бедная... — прибавила, вытирая слезы, санитарка. — А доченьки уж нет...

Горе, переполнявшее сердце Лены в течение последних минут, вдруг охватило ее с новой силой. Она опустилась на стул, закрыла лицо руками и, не стыдясь, не скрываясь, заплакала.

— Елена Никитична, раненых привезли... — доложила старшая сестра, и Лена, овладев собой, спустилась в приемную.

До утра принимали раненых, но как ни стремилась Лена целиком отдаться работе, она не могла уйти от тягостного впечатления гибели девочки, от тревожных мыслей о близких. Отсутствие писем от отца, от Кости сейчас воспринималось совсем не так, как до сих пор. Бесконечные ужасы представлялись возбужденному воображению. Предположения одно печальнее другого не оставляли ее в течение всего дня, полного новых забот, сложных операций, административных дел. Она звонила в санитарную часть округа, но там ей ничего не могли сообщить об отце, она разговаривала по телефону с родителями Кости, но они также ничего от него не получали. Их тревога передалась Лене, и без того встревоженной и больной.

Почта в Ленинград не приходила, на бесконечное количество ее писем ответа не было. Десятки новых раненых, которых она встречала, заставляли ее рисовать себе картины ранения отца и Кости, их страданий, тоски, может быть смерти. Что бы ни делала Лена, чем бы ни занялась, в голову назойливо заползали черные мысли. В минуты отдыха, в те короткие часы, когда она оставалась одна, тоска становилась еще острее и тягостнее.

Она отдыхала на мягком кожаном диване в боль-

шом кабинете отца, стараясь отвлечься чтением. Взяла со стола его любимую книгу — «Гранатовый браслет» Куприна — и сразу вспомнила, как отец по вечерам читал ей вслух и как она любила эти вечера, как огорчалась, когда что-нибудь, вроде экстренных заседаний хирургического общества, или срочных операций, или вызовов в Москву, отвлекало от нее отца. Книги, прочитанные ей отцом, оставались в памяти дольше других, и вот сейчас, читая Куприна, Лена ясно слышала голос отца, его интонации. И, опуская книгу, закрывала глаза, как она делала это в детстве, когда старалась вообразить знакомое лишь по фотографии лицо матери, и старательно восстанавливала в памяти все детали характерной фигуры и головы отца. Вот он, крупный и грузный, поднимается от стола и идет в детскую, как до сих пор называют комнату Лены, обхватывает своей большой теплой рукой ее плечи, смотрит в ее учебники и, смеясь, говорит:

— Ты ведь у меня дурочка... Ты ведь все равно ничего здесь не поймешь. — Потом, просмотрев страницу-другую, прибавляет: — Впрочем, я и сам тут ничего не пойму, больно мудрено нынче пишут...

Потом ласково треплет ее волосы, берет за подбородок, приподнимает лицо и целует в лоб, в щеки, в губы, приговаривая:

— Господи, в кого только уродилась эта обезьяна?..

Лена вспоминала, как всегда провожала отца в переднюю, поднимаясь на цыпочки, старательно укутывала его шею большим кашне, подавала ему пальто, потом бежала к окну посмотреть, как грузно, совсем медведем, отец садится в машину и, уезжая, обязательно помашет рукой. И, приезжая домой, он так же обязательно, как в детстве, привозил ей что-нибудь сладкое — торт из «Астории», или шоколад от «Норда», или бананы из Гастронома.

Лена, отдавшись воспоминаниям, не замечала, как все больше смягчалась ее тревога. Отец неустрашимо возникал перед ней, и она даже улыбнулась, вдруг вспомнив, как ежегодно, в день ее рождения, до самого последнего времени, отец, помимо всего проче-

го, привозил ей куклу и говорил, что не может же он не привезти своему ребенку игрушку.

Лена ясно видела лицо отца, его смеющиеся глаза, морщины вокруг них, когда он улыбался, характерное движение руки, когда он, садясь за стол, разворачивал большую белоснежную салфетку и засовывал ее конец за воротник. Она видела его крупную, чуть сутулую фигуру, когда он возвращался поздно ночью домой, усталый, бледный, может быть больной, и, поужинав, все же садился за стол и долго, до полуночи, писал. Тепло щемило сердце от нежности к отцу, но тут же что-то и тревожило — ей все казалось, что она не ценила отца, была недостаточно внимательна, не заботилась о его здоровье и отдыхе. Ах, пусть бы только скорее кончилась война, скорее бы он вернулся — она не даст ему так много работать, не даст уставать. Она заставит его отдохнуть, полечиться, он почувствует всю ее горячую нежность.

Лена поймала себя на том, что, отдавшись мыслям об отце, надолго забыла о Косте.

Из Москвы передавали трио Чайковского. Играли Игумнов, Ойстрах и Кнушевицкий. Произведение это пользовалось семейной любовью дома Беляевых. О нем восторженно говорил Никита Петрович, его с восхищением слушал Костя, его играли на беляевских субботах. Шеф кафедры патологоанатомии, заслуженный профессор Великорецкий, целыми днями готовился к репетиции; Никита Петрович в семь часов утра, перед уходом в клинику, уже сидел за пультом и добросовестно, как консерваторист, отделял свою партию; Костя, волнуясь, работал над своей; а в день репетиции в кабинете раздавался гневный голос Беляева, упрекавшего всех и самого себя в недостаточной почтительности к гениальному русскому композитору.

— Черт знает что!.. — возмущенно кричал он. — Безобразие... Ни чувства стиля, ни ритма, ни фразы! Это кощунство! Повторим!

Они снова садились за пульта и репетировали до изнеможения, и только вмешательство Мокеевны заставляло их разойтись. А в торжественный день открытого исполнения тревог и волнений было еще

больше. Лена говорила, что отец никогда, даже во время самой сложной операции, не волнуется так, как волнуется при исполнении любимого камерного произведения.

Слушая сейчас трио Чайковского, навеявшее столько воспоминаний, Лена думала о том, что, может быть, Костя и отец тоже сейчас где-нибудь наслаждаются этой музыкой и также уносятся мыслью в недавнее прошлое.

Но, может быть, они не слушали?

Может быть...

Она в испуге закрыла глаза...

Нет, нет! Об этом не надо думать!..

Она поднялась, прошла по кабинету, вышла в коридор, вернулась. Сумерки уже совсем сгустились, наступил коричневый осенний вечер. Шторы еще не были спущены, и Лена, стоя у окна, смотрела в темноту приближающейся ленинградской ночи. Ни единой точки света, ни щелочки, ни блика. Хорошо знакомые контуры улиц, зданий, фонарей исчезли, будто их унесло огромной взрывной волной. Сколько Лена ни всматривалась, она даже не угадывала контура улицы, которую знала столько лет. Ей представлялось бесконечное поле, охваченное непроницаемым ночным мраком. Где яркий свет круглых фонарей, уходящих двумя нескончаемыми рядами? Где стальной блеск трамвайных рельсов, огни проносящихся вагонов, троллейбусов, автобусов? Где сверкающие фары сотен автомобилей, отчетливые очертания пешеходов, движущихся в обе стороны по широким оживленным улицам?

Изредка тишину нарушал грохот медленно идущего невидимого трамвая или звук внезапно возникающего из мрака автомобильного сигнала.

Лена опустила занавеси, проверила все уголки окон и робко, словно боясь спугнуть темноту, включила настольную лампу. Со стены, из широкой рамы, строго взглянул Пирогов, и Лена, точно уличенная сердитым учителем, быстро направилась в отделение.

В полутемном от синих колпаков коридоре ее встретила дежурная сестра.

— А я вас ищу. Вам звонили.

— Кто?

— Из «Астории».

— Кто именно? — заволновалась Лена.

Кто-то дважды спрашивал Лену и сообщил, что привез ей с фронта письмо. От кого — не сказал. Просил приехать в «Асторию» и спросить в конторе. Если уедет, — оставит письмо у портье.

Лена еще больше взволновалась: от кого письмо — от отца или от Кости? Может быть, сразу от обоих? Может быть, ни от того, ни от другого? От кого же?

Лена решила идти в «Асторию» сейчас же.

Спустившись в вестибюль, подошла к выходной двери.

— Куда вы в такой час, Елена Никитична? — озабоченно спросил ее старый швейцар Викентий Петрович. — На дворе страсть как темно.

— От папы письмо, — неуверенно ответила Лена, — хочется получить скорее.

— От Никиты Петровича? — переспросил он почтительно, но все же наставительно прибавил: — До утра надо бы подождать...

— Не утерпеть...

Она не досказала...

Из репродуктора понеслись завывания сирены.

— Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Лена вернулась.

Три раза в течение вечера пыталась она направиться в «Асторию», и три раза налеты возвращали ее. Гася свет, она поднимала штору и видела далекое зарево пожаров, черные вьющиеся спирали на фоне багрово-золотого неба и, уходя обратно в убежище, долго слышала грохот выстрелов и разрывы бомб.

IV

Костя также томился тяжелым неведением о близких. Лена, отец и мать — все словно сговорились, никто не давал о себе знать.

— Что они, с ума посходили там? — сердился он. — Ни от кого ни слова!

— Так ведь многие же не получают писем... — успокаивал его Трофимов. — Подумай! Разве только на самолетах, так ведь у них и без почты работы хватает.

— Пойми, — все больше волновался Костя. — Ведь я не знаю даже, где Лена, что с ней, уехала ли она, если уехала, то куда?.. Что с отцом, с матерью?..

— Все узнаешь, потерпи еще немного, — обнадеживал его Трофимов.

Если бы не эта неизвестность, вызывавшая в душе Кости невольные страхи, он ни на минуту не отрывал бы своих мыслей от дела, которое все сильнее притягивало его. Работы было очень много, она отнимала почти все время, но несмотря на это и на специальный приказ командира строго соблюдать сроки отдыха, Костя много часов уделял «чужому» отделению, неизменно привлекавшему его внимание. В этом отделении задерживались на день-другой больные с воспалением легких, с плевритом, с осложнениями гриппа, с другими, еще не выясненными болезнями. Костю влекло туда, и он отдавал все свое свободное время этому маленькому терапевтическому стационару, расположенному неподалеку от хирургического отделения. Опять, как год назад в ленинградской клинике, Костя открывал каждому больному «личный листок» в специальной тетрадке и аккуратнейшим образом вел записи. Он внимательно обследовал больных — выслушивал, выстукивал, беседовал с врачом стационара, опытным терапевтом из Новгорода. Он спорил с ним, сидел у постели то одного, то другого больного, изучал реакцию на то или иное лекарство и особенно на излюбленные им сульфамидные препараты. Старый врач посмеивался над ним и этим напоминал Степана Николаевича. Костя называл его консерватором и упрекал в равнодушии к своему делу. А ночью они вместе сидели у койки тяжелобольного, придумывали средства его спасения, сами готовили глюкозу или физиологический раствор, сами вливали его в вену и часто до утра не расходились.

Соколов и Трофимов порой делали вид, что сердятся на Костю, упрекая его в том, что он больше

терапевт, нежели хирург, что хирургия для него хоть и законная, но нелюбимая жена, и терапия, видимо, навсегда останется прекрасной любовницей.

Костя смеялся, но иногда серьезно доказывал, что он одинаково относится и к той и к другой. Он увлекался новой теорией хирургическо-терапевтических «микстов», пограничных болезней, лечение которых должно находиться одновременно и в хирургических, и в терапевтических руках.

— Последствия огнестрельных ранений грудной полости, — доказывал он, — например, плевральные спайки, воспалительные процессы легкого, бронхоэктазы, абсцессы и тому подобное, — разве все это не требует совместного внимания и хирурга, и терапевта? А ранения живота? А перитониты? А сепсис?

Костя перечислял десятки заболеваний, при которых необходимы знания и опыт одновременно обеих основных областей медицины. Он с гордостью припоминал случаи, когда несколько хирургов, в том числе и Соколов и Трофимов, прозевали эмпиему плевры после инфицированной раны бедра, а у больного уже скопилось до трех литров гноя, и только его, Костины, знания терапевта помогли это обнаружить.

— Вот к чему приводит, — горячился Костя, — старая привычка хирурга рассматривать ранение только как местный процесс! Уткнетесь носом в рану и больше ничего не видите!

Он не приводил еще нескольких случаев, когда именно его знания терапевта помогли здесь, в санбате, своевременно обнаружить послеоперационные осложнения: в одном случае пневмонию, в другом — атонию желудка, в третьем — и это было особенно интересно — случай печеночной недостаточности, так называемой «печеночной смерти», явившейся последствием наркоза, в четвертом — обострившийся старый туберкулез.

Соколов сам хорошо понимал, о чем идет речь, но возражал Косте:

— Все, что вы открыли, может обнаружить и хирург.

— «Может!» — передразнивал Костя. — Но обнаружил терапевт!

— Это случайность.

— Помилуйте, сегодня случайность, завтра случайность, а когда же закономерность?

И тут Костя высказывал свою давнюю мысль о том, что курс учения в медицинских институтах должен быть продлен еще на один год, что этот год должен быть полностью посвящен хирургии. Надо, чтобы все врачи обязательно знали эту отрасль медицины. И надо, чтобы хирурги, занимаясь своей специальностью, также отдавали бы достаточно времени всем смежным областям, особенно внутренним болезням и, в частности, эндокринологии и, в частности...

Костя перечислял много «частностей», считая, что теория целостности животного организма, естественно, требует от врача любой специальности известной универсальности.

Трофимов и Соколов слушали Костю с удовольствием, чаще всего соглашаясь с его мыслями, но нередко называли их «фантастическими», «неподдающимися реализации», «неосуществимыми».

— Все это прекрасно, дорогой мечтатель, — полусерьезно говорил знающий и опытный Соколов, — но, увы, боюсь, что все это больше из области благих пожеланий, нежели реальных возможностей...

Это огорчало Сергеева, и все же он любил слушать немногословную речь Соколова, с удовольствием вглядывался в его худощавое лицо с чуть впалыми щеками, с выцветшими светло-серыми глазами и острой, удивительно немодной бородкой. И усы, порыжевшие от коротких и толстых «закруток», были Косте приятны и чем-то напоминали отца.

И то, как Соколов, выходя на свежий воздух, садился на лавочку, как закручивал «козью ножку» или толстую, с палец, «цигарку», как гасил потом окур, бросив его на землю и притоптав сапогом, — все вызывало в Косте представление о русской деревне, о тихой заречной улице, о запахе топленого молока и горячего ржаного хлеба. И то, что Соколов во всем был похож на всех остальных бойцов, то, что он так же коротко и тихо говорил, и то, как он иногда по-

псковски говорил «ону» вместе «ее», тоже привлекало Костю. И, узнав, что Соколов действительно прямой выходец из деревни, что отец его всю жизнь не оставлял своего Подборовья, а мать родилась в соседнем селе Орлецы, Сергеев проникся к старшему хирургу особой почтительностью, почувствовал теплую сыновнюю любовь. Ему всегда хотелось сделать или хотя бы сказать «старику», как он с Трофимовым называл Соколова, что-нибудь приятное.

— Здорово вы сегодня эту операцию сделали, — говорил он, — смело, с предельным совершенством.

— Ну уж и с «совершенством», да еще и с «предельным»... — баском возражал Соколов, не поднимая глаз от толстой закрутки. — Эту операцию любой молодой хирург сделает.

Костя продолжал убеждать Соколова, что он замечательный хирург, а затем уходил приготовить какой-то особенный, «по специальному способу» заваренный чай, которым любил угощать псковского врача.

Соколов был страстный чаевник и мог выпить за день десятка полтора стаканов крепчайшего чая. Косте доставляло большое удовольствие приготовить этот чай, как любил готовить его другой тонкий ценитель этого напитка, профессор Беляев, не доверявший процедуры заварки даже самой Мокеевне. Костя прополаскивал кипятком маленький чайник, всыпал в него три ложечки когда-то привезенного Беляевым из Грузии душистого чая, заваривал его, сначала заливая чуть-чуть, потом наполовину, потом доверху и, наконец, ставил на большой кипящий чайник, покрыв «матрешкой», обыкновенной ватой в марлевом чехле, ярко разрисованном Шурочкой под малявинскую бабу.

— Ну, прямо колдун! — баском говорил Бушуев, помогавший Косте хозяйничать. — Это уж не чай, товарищ военврач, а прямо зелье колдовское.

Соколов с наслаждением отхлебывал почти черный чай, хвалил искусство Кости, называл его «учеником и последователем великого чаевара Беляева».

В зависимости от обстоятельств, он пил иногда

медленно, иногда торопливо, обжигая рот, но всегда обязательно при этом побрякивал, приговаривал: «хорошо», «очень хорошо». И характерным движением вытирал усы, разводил их в обе стороны.

— Будя... — говорил он, изображая своего отца. — Таперича... того... могим и поработать маненько... — и, смеясь, ставил чашку донышком вверх. Потом, поднимаясь, протягивал Косте руку, кланялся в пояс и прибавлял: — Покорнейше вас благодарим за хлеб-соль. Премного довольны.

Костя выискивал себе все новые дела и уходил в них с головой. Он организовал первую внутрибатальонную научную конференцию и прочел свой доклад: «О роли сульфамидных препаратов в лечении ран». Потом повторил этот доклад на большой межбатальонной конференции и приехал оттуда очень довольный. Он подробно рассказывал Соколову и Трофимову о научной работе, которую ведут врачи в своих частях, о серьезных и ценных трудах, возникающих сейчас не только в клиниках и госпиталях, но и на передовой линии.

— Я-то думал, — весело рассказывал Костя, — что наша дивизия самая умная, самая образованная, а на деле оказывается, что таких, как мы, очень много!

Боевые санбаты особенно наглядно доказали, что даже в крайне трудных условиях боев врачи сумели творчески обобщить практический опыт, который получили за недолгие месяцы войны.

Сергеев с увлечением докладывал об открытых здесь, на фронте, новых способах новокаиновой блокады блуждающего нерва при проникающих ранениях грудной клетки, о новейших приемах борьбы с послераневым шоком и поднадкостничной блокаде при переломах конечностей. И все собравшиеся — и врачи, и сестры, и даже санитары — с интересом слушали его сообщение, задавали десятки вопросов, делали замечания.

Привычным был доносившийся оттуда, с переднего края, тяжелый артиллерийский гул, в небе видны были большие темные клубы дыма, по вечерам облака на западе полыхали кровавым заревом, нередко

почти над самой головой кружились вражеские самолеты, и наши вступали с ними в бой, часто один-два против четырех-пяти. Шла война, огромная, напряженная война, и Костя находился в самой ее гуще, но работал так, как это бывало в Ленинграде — в клинике, в лаборатории, в библиотеке института, — оперировал, лечил, наблюдал, записывал, обобщал. Он весь погружался в свое большое, целиком захватившее его дело, и нередко оно казалось ему совсем обычным, будто оно давно, очень давно началось и, видимо, не скоро кончится. Но чувство беспокойства, какое-то «второе ощущение», болезненное и тревожное, идущее рядом с любым другим его ощущением — радостью, удовлетворенностью, — никогда не оставляло его и каждый миг напоминало отяжелом, может быть трагическом.

«Ах, если бы только узнать о них, убедиться, что они живы и в безопасности... — думал Костя. — Если бы получить хоть одно крохотное письмецо или хотя бы привет, два-три слова...»

Но Ленинград был далеко. Ни приветов, ни писем никто не привозил. Родной город, дом, в котором он родился и вырос, близкие люди — жена, мать, отец — словно совсем исчезли, умерли, ни к ним, ни от них ничего не доходило.

Однажды где-то совсем близко, на болоте, опустился самолет. Он оказался подбитым и основательно обгорел. Раненого пилота доставили в санбат. Костя сам оперировал летчика и узнал от него, что он летел из Ленинграда и вез почту. Но раненый был в тяжелом состоянии, а потом его пришлось срочно эвакуировать, и Костя так-таки ничего больше и не узнал. И с той минуты его не оставляла мысль, что в самолете наверняка были для него письма и теперь уже ждать их вскоре никак не приходится. Он вместе с другими ходил осматривать обгоревший ястребок, но даже следов почты не обнаружил, а в воображении возникла картина горящей в воздухе машины и разносимого ветром бумажного пепла.

«Что было в этих письмах?»

Он ненадолго отвлекался, но сейчас же снова вставали вопросы:

«Где Лена?»

«Что с матерью и отцом?»

Ответа не было, и он снова с головой уходил в свою работу.

V

События разворачивались со стремительной быстротой. Фашистская армия приближалась к Москве. На карте отчетливо вырисовывалось огромное полукольцо, с каждым днем все туже сжимавшее столицу. Дороги, идущие по радиусу к одной точке, казались цепкими щупальцами, жадно протянутыми к сердцу страны и готовыми вот-вот вцепиться в него. Они протягивались все глубже на восток, грозя обогнуть Москву и замкнуть кольцо. Информбюро сообщало об отходе наших войск, об оставленных городах. «Правда» в передовой писала об опасности, нависшей над столицей.

Всматриваясь в карту, прислушиваясь к разговорам, Сергеев весь наполнялся тягостной тревогой. Неужели возможно окружение Москвы?..

И тут же чувствовал всей глубиной своего существования, что это невозможно. Ленинград окружен, отрезан от страны, но это еще не значит, что он сдастся врагу; враг приближается к Москве, захватил на пути к ней десятки городов, бросает в бой десятки дивизий — но Москвы ему не видать, как не видать и Ленинграда!

— Почему ты уверен в этом? — спрашивал его ставший в последние дни угрюмым и молчаливым Трофимов.

— Потому, что я уверен в наших силах... — страстно отвечал Костя. — У нас огромные силы... Огромные, нетронутые резервы!

— Есть у нас сила! — убежденно повторял и Бушув. — Товарищ военврач правильно говорит...

Глубокая вера в свой народ, в Красную Армию, уверенность в ее силе, упорстве, выносливости никогда не оставляли Костю.

Даже тогда, когда никто и не думал возражать ему, а просто кто-нибудь хмуро молчал или на лице

собеседника застывала тревога, Сергеев сердился. Лицо его в эти минуты становилось злым, глаза сверкали сквозь толстые стекла очков, волосы рассыпались, и он резким жестом отбрасывал их, открывая высокий лоб.

Костя сильно привязался к Бушуеву. Он ценил его ум и высокую чистоту души.

И то, что Бушуев, назначенный в тыловой госпиталь, просился ближе к фронту, в санбат, и то, как он нежно-внимательно относился к раненым бойцам, и то, как быстро, на лету схватывал серьезные медицинские знания и легко ориентировался даже в обстановке, требующей компетентного врачебного глаза; и то, как дельно и лаконично определял положение дел на фронте и в тылу, и мысли его были при этом согреты неистребимой верой в безусловную победу России, — все делало Бушуева в глазах Кости мудрым и нравственно светлым.

— Наш народ — самый крепкий, — любил говорить Бушуев. — Сколько книг вы ни прочитаете о заграничной жизни, таких сильных людей, как русские, все равно нигде не найдете. Далеко ли ходить? Поглядите на наших бойцов, поговорите с ранеными.

И Костя действительно жадно слушал, что говорили солдаты.

— Как дела? — спрашивал он лежащего на операционном столе раненого, костромского колхозника, только что доставленного с переднего края.

— Дела худые... — неохотно отвечал обросший, с запекшимися губами боец. — Их — страшная сила...

— Что же, не одолеем?

— Как не одолеть! Одолеем!

— Скоро?

— Маленько погодить надо.

В скупых словах была глубочайшая уверенность, и слова эти долго звучали в ушах Кости и потом прочно оставались в глубине сознания как формула текущих и назревающих событий.

Костя беседовал почти со всеми ранеными. С молодыми и со «стариками», с пехотинцами и артилле-

ристами, с олонекскими, псковскими, саратовскими, с казаками, сибиряками, грузинами, ярославцами, узбеками, украинцами, татарами, — и все равно, как бы и что они ни говорили, смысл слов их был всегда одинаков:

«Одолеем!..»

— И откуда только берутся? — говорил раненный в грудь и в ноги тамбовский пулеметчик. — Как клопы, прости господи, чем больше их давишь, тем больше лезут.

— Что же, всех не передавить?

— Передавим! Выведем всех до единого, изба будет как стакан.

Высокий, плотный сибиряк, бронебойщик, бывший лесничий и охотник, лежа в ожидании перевязки, рассказывал:

— Их тьма-тьмущая, а нас еще больше. Они вроде как ветер с громом, с дождем, а мы как лес дремучий. Они бурей налетят, а мы покачаемся, погнемся и опять разогнемся. От них и следа не останется, а мы как стояли, так и стоять будем. Которое дерево сломалось — на его месте три других подымутся, которые листья осыпались — рядом новые зазеленеют.

Костя все чаще думал, что он делает не то дело, которое должен делать в этой войне молодой, здоровый мужчина.

«Врачебную работу в военное время должны выполнять только женщины и старики, а молодые должны воевать».

Ему все сильнее хотелось сражаться, и он нередко с завистью смотрел на бойцов и командиров, на тех, кто держал в своих руках винтовку, автомат. Но почему-то больше всех привлекали его артиллеристы, и не раз в голове его шевелилась тайная мысль, что, может, подлинным его призванием является военное дело, в частности артиллерия.

— Пойми, — говорил он Трофимову, — мы с тобой на войне, но самой войны ни разу за все эти месяцы не видели! Мы где-то вдалеке от сражений.

— Мало тебе! — усмехнулся Трофимов. — Кажется, вся война, как в зеркале, отражается в твоей работе.

— Нет, это не то! Недаром наша Шурочка так настойчиво просится на передовую — я ее понимаю. Я сам при первом же случае отправлюсь туда.

Костя решил во что бы то ни стало добиться, под любым предлогом, отправки в полковой пункт.

— К сожалению, в роте и в батальоне по штату нет врача, — серьезно огорчился он, — придется помириться на полковом...

И это казалось ему уступкой. Ведь полковой пункт располагается позади переднего края — кажется, километрах в трех, — и он опять останется где-то далеко от самого боя.

Костя стал ожидать случая — выезда ли за ранеными, отправки ли на передовую хирургической группы или инструкторской поездки. А там уж найдем, что делать! Необходимо, например, время от времени проследить за быстрым выносом раненых с поля боя. Надо проследить также за быстротой доставки раненых на ближайшие медпункты. Ведь если первая хирургическая обработка раны решает судьбу больного — а Костя раз навсегда усвоил, что это закон, — то первичная, после ранения, перевязка, ее быстрота и качество решают судьбу бойца не в меньшей, а иногда даже в большей степени.

Костя увлекся идеей максимального приближения хирургической помощи к линии боя. Он видел, что в условиях позиционной войны это требование успешно соблюдается, но в маневренной — далеко не всегда. И многие врачи считали, что это вполне естественно, что иначе быть не может. Даже Соколов говорил:

— Здесь уж, батюшка, ничего не поделаешь. Здесь того.. приходится с этим мириться...

Но Костя не давал Соколову закончить мысль.

— Нет, уж разрешите не мириться! Разрешите бороться!

— Боритесь, боритесь, — в свою очередь прерывал его Соколов, добродушно улыбаясь. — Боритесь, дорогой юноша.

— Поймите, — говорил Костя, — здесь все зависит от нас самих. Здесь все решает наша собственная инициатива, наша смелость.

— Правильно, молодой человек, — окончательно раздражал Костю своим удивительным спокойствием Соколов.

— Все зависит от нашей собственной гибкости, — доказывал Костя, — от простого умения учитывать требования данной минуты. А вы живете застывшими формулами: «Здесь, мол, уж ничего не поделаешь, здесь приходится мириться...»

Трофимов поддерживал Костю, но делал это как-то вяло, без обычной энергии и уверенности. Костя сердился. Его возмущала подавленность товарища.

— Что с тобой, Николай, делается? — резко спрашивал он.

Трофимов вынимал из кармана атлас СССР, перелистывал страницы, открывал одну за другой карты областей и отмечал карандашом положение на фронтах.

— Видишь?

— Нет, уж лучше пойдем послушаем сводку.

Сергеев вместе с Трофимовым пошел в землянку командира санбата. В темноте они ощупью пробирались вдоль низеньких строений, палаток, блиндажей. В крохотном помещении было светло. Командир средних лет, полный человек, с лицом круглым и гладким, как у добродушного толстого повара, встретил их радушно.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищи хирурги, — гостеприимно приглашал он. — Знаю, зачем пришли. Ну и прекрасно. Я и сам собирался сейчас слушать Москву, да что-то не получается. Какие-то станции мешают...

— Мешают? — взволновался Костя. — Разрешите мне... Я попытаюсь...

— Пожалуйста.

Костя включил приемник, повертел рукоятки, и сейчас же из круглого окошечка вырвалась струя знакомых звуков.

— Четвертая Чайковского!.. — радостно вспыхнул Костя, узнав ее с первого же такта. — Слышишь? — обернулся он к Трофимову. — Слышишь, чертова клизма?

— Слышу.

— Жива Москва!.. Жива!.. И будет жить!.. Понял? Будет жить вечно!

Он схватил Трофимова, поцеловал, закружил, потом усадил на скамью против приемника и наставительно сказал:

— Сиди тихо, слушай. — Он сел рядом, застегнув шинель.

И не только любимая с детства мелодия: «Во поле березонька стояла», не только прекрасное оркестровое обрамление этой песни, но и самый голос диктора, какие-то звуки сдержанного не то шепота, не то дыхания, — все было истинной отрадой, будто в минуту мучительной жажды он выпил стакан ключевой воды.

— Говорит Москва! Говорит Москва!

Сочный голос диктора звучал уверенно, был близок, как голос брата, друга, и слушать его было сладостно до боли в сердце.

В обзоре передавалось то, что в последние дни уже сообщалось в газетах, — что немцы от Москвы отброшены, что освобождены Клин, Калинин, Серпухов, Можайск, что немецкие войска под ударами Красной Армии отступают на запад и оставляют город за городом. Корреспонденты передавали, что в ряде мест отступление носит характер панического бегства и напоминает картины отхода Наполеона в 1812 году. Рваные, грязные толпы голодных, замерзающих бродяг, закутанных в платки и тряпки, брошенные орудия, груды ржавеющих винтовок на дорогах и тысячи окоченевших, засыпанных снегом мертвецов.

— Что?! — восклицал Костя. — Слышал?! Это начало их конца, это начало их гибели! Иначе быть не могло! Давно ли они пришли к нам спесивые, надменные, а сейчас, смотрите, — они бегут из-под Москвы, как ошпаренные собаки!..

Внезапно затрещал зуммер телефонного аппарата.

— Командир санбата слушает, — привычно сказал в трубку командир. Лицо его выразило сначала готовность, потом удивление. — Кто прибыл?.. Глав-

ный хирург фронта? Иду, иду, товарищ дежурный, — сказал командир санбата и почти бросил трубку.

Неожиданно быстро для своей комплекции он начал приводить себя в порядок: схватил шинель, надел, путаясь в рукавах, потом начал затягивать на толстом животе пояс с револьвером и одновременно, немного задышавшись, прерывисто бросал:

— Прибыл главный хирург фронта... Диввврач... Профессор Беляев... Сообщите сейчас же Соколову... и всем.

Он направился к выходу, но в это время дверь отворилась и в помещение вошел седой плотный военный в сопровождении двух военных врачей. Он сразу заметил Костю.

Командир молодецкато подтянулся и, держа руку под козырек, отрапортовал о состоянии санбата.

— Спасибо, — ответил диввврач, — делами займемся завтра, а сейчас разрешите поздороваться с сыном. — Он протянул обе руки. — Здравствуй, Костик.

То, что Никита Петрович посмотрел на него нежными глазами Лены, и то, что он назвал его сыном и так ласково протянул обе руки, и то, что он впервые сказал ему «ты», — наполнило Костю давно не испытанным теплом. Он бросился к Никите Петровичу, обнял, расцеловался с ним. Потом, откинув голову и снова увидев родные глаза, еще раз поцеловал старика.

— Ты что же не пишешь Лене? — спросил Никита Петрович с шутливым упреком.

— Я написал десятка два писем. Она не отвечает.

— А она жалуется, что тебе много пишет, но ты не отвечаешь.

— Вы видели ее?

— Ну, нет. Видеть не видел, но письмо получил. И тебе привез.

— Дайте, — протянул руку Костя.

— Еще бы! Веди раньше к себе, там и отдам.

Костя густо покраснел.

— А про моих что-нибудь знаете?

— Как же! Живы-здоровы!

— Разрешите представить, Никита Петрович, —

сказал все еще смущенный Костя и взял Трофимова под локоть. — Мой товарищ по институту, а теперь по работе, Николай Иванович Трофимов.

— Очень рад... — протянул руку профессор.

— Пойдемте, — пригласил Костя. — Вы, наверно, голодны с дороги.

Они вышли в темноту сырой и холодной ночи. Костя бережно взял старика под руку.

VI

Было странно видеть Никиту Петровича в этой крохотной землянке, на узкой дощатой койке, за маленьким, почти игрушечным столиком. Его крупная фигура заполняла все помещение, и, казалось, ему невозможно будет подняться или повернуться. Но он сидел спокойно, невозмутимо, словно все здесь было давно знакомо и привычно: и размеры помещения, и терпкий запах земли, и плохонькая лампочка, и эмалированная кружка, и подогретые походные щи.

«Неужели это тот самый гурман и хлебосол, который в своей большой столовой кормил гостей изысканными блюдами? — словно не веря своим глазам, думал Костя. — Неужели это тот ученый, который в своем обширнейшем кабинете работал за большим письменным столом, заполненным книгами и рукописями, блокнотами? Неужели это знаменитый ленинградский хирург, заслуженный деятель науки, академик, известный всему миру ученый?» Сейчас он с аппетитом ест простые щи, подставляя под ложку кусочек черного хлеба, как это делают крестьяне, пьет чай вприкуску, скупно откусывая крошечные кусочки сахара.

Сергеева все это очень трогало. Ведь Никите Петровичу далеко за шестьдесят, и он не из числа вполне здоровых людей, — то вдруг сердце давало о себе знать, то с почками что-то не ладилось, и поддерживал он себя в течение многих лет обязательным ежегодным отдыхом и лечением в каком-нибудь хорошем санатории. А в этом году, наиболее утомительном

из-за крайне интенсивной работы, отдохнуть и полегчить ему не пришлось совсем. И вот сейчас он не только все свои силы отдает напряженной деятельности главного хирурга фронта, но вникает во все детали работы, часто присутствует на операциях, проверяет лечение, следит за четкостью эвакуации. Он заметно похудел, подтянулся и стал как будто моложе. Но усталость наложила свои тени на чуть загорелое лицо, а в глазах упрямо держится незнакомое раньше выражение озабоченности, тревоги.

Костя дрожал мелкой внутренней дрожью, когда брал из рук тестя узенький синий конверт. Почерк Лены, немного детский и наивный, так хорошо знакомый по ее студенческим тетрадям, мгновенно вызвал в нем волну горячей нежности. Но в ту же минуту эта нежность сменилась тоскливым разочарованием. В письме было всего несколько строчек:

«Костик, пишу, не зная, дойдет ли это письмо. Слишком много послала тебе писем, оставшихся без ответа, чтобы сейчас вдруг поверить, что это найдет тебя. Михайлов обещал во что бы то ни стало переслать, но я уж в это не верю. Где ты? Увидимся ли? Если мое письмо дойдет, значит и ответ твой может прийти, — Михайлов обещал опять прилететь сюда. Пиши. Я здорова, много работаю. Живу в клинике. Твои живы. Тороплюсь сдать письмо, пишу между двумя операциями. Надо еще папе написать. Жду твоих весточек, нежно целую».

— Кто привез это письмо? — боясь выдать свои чувства, спросил Костя.

— Михайлов.

— Он был в Ленинграде?

— Да, на несколько часов залетал.

«На несколько часов...» — пронеслось в голове Кости. — «Пишу между двумя операциями...»

«Значит, они виделись только в клинике. Он привез письмо от отца, взял обратную почту и улетел...»

Но то, что Михайлов имел возможность хотя бы несколько часов побывать в Ленинграде, пройти или проехать по родным улицам, быть в своей клинике, увидеть Лену, говорить с ней, — представилось Косте необычайным счастьем. Он представил себе Михай-

лова, его встречу с Леной. Он ясно видел, как Михайлов берет обеими руками пальцы Лены, медленно поднимает ее руку и, заглядывая горячим взглядом в ее глаза, прижимает губами к мягкой и нежной коже с тонкими синими жилками. Не отпуская ее руки, пристально смотрит в лицо, говорит комплименты, советует развлечься, вообще «как следует встряхнуться»...

«Ах, да не мог же он ей говорить это! — останавливал себя Костя. — Какие глупости лезут в голову. Да, конечно, словарь у него теперь новый, «военный», но приемы те же. Руки ее он, конечно, целовал, в глаза заглядывал».

— Ну, о чем влюбленный муж задумался? — неожиданно спросил Никита Петрович, отставляя пустую чашку.

Костя ничего не ответил. Потом, помолчав, спросил, можно ли будет передать Лене письмо.

— Да, конечно, Михайлов на днях опять туда слетает.

«Опять Михайлов!.. Опять слетает... И носит же его черт туда!..»

Никита Петрович устал, и Костя уложил его спать. Он бережно оградил его от сырой стены подушками и прикрыл двумя одеялами. Ему приятно было заботиться о старике. Что-то теплое и дружеское было в его неожиданном приезде. Он радовался и предстоящему разговору. Сколько интересного, важного расскажет завтра старый профессор...

Трофимов ушел ночевать к Соколову, и Костя лег на его постель.

— Вы устали, вам надо уснуть, — как можно мягче предложил он, опасаясь, что Никита Петрович поймет его слова как нежелание слушать.

— Нет, ничего, — ответил Беляев и начал рассказывать.

Он говорил обо всем, что видел на фронте, — о непостижимой душе русского человека — скромного и великодушного в мирной жизни, но непреклонного и грозного на войне, о людях, незаметных в обычных делах, но величавых перед лицом своего гражданско-го долга.

— Удивительные люди! — повторял он. — Иной раз поглядишь на человека и не понимаешь — откуда что берется? Тих, неприметен, — и вдруг перед тобой вырастает богатырь, громадная силища! Удивительное сердце!..

Когда Беляев уснул, Костя долго еще лежал с раскрытыми глазами, полный новых впечатлений и чувств, охваченный теплом письма Лены, встревоженный сообщениями о Ленинграде.

Рано утром они встали, не успев отдохнуть, но Костя, как ни вглядывался в лицо тестя, не видел даже и следов усталости.

Беляев обходил помещения санбата, заглядывал во все уголки, осматривал постели и белье, пробовал пищу, опрашивал больных. Потом в течение трех часов он присутствовал на операциях и пристально, не упуская ни одной мелочи, приглядывался к работе врачей, сестер и санитаров.

Костя с трудом одолел волнение, когда Беляев подошел к его столу и, став рядом с ассистентом, молча впился глазами в операционное поле, в пальцы Кости, словно замороженный тонким искусством прекрасного оператора или, может быть, наоборот, — очень недовольный им.

— Эту операцию я впервые делаю... — почему-то вырвалось у Кости, будто он уже понял, что делает ее плохо, и торопится объяснить, почему именно это получается так.

— Ничего, ничего, не волнуйся, — просто сказал Беляев. — Все идет хорошо.

На обычно бледном лице Кости кожа между колпаком и маской стала розовой. Увидев улыбающиеся глаза Надежды Алексеевны, он покраснел еще больше. Беляев не отходил от Кости до конца операции, и чем дольше он стоял, тем сильнее смущался Костя. Он уже не сомневался, что старику что-то не нравится, что у него с языка готово сорваться какое-то замечание.

Так оно и оказалось.

— Видишь ли, — тихо, но очень убедительно сказал Беляев, когда раненого унесли. — Конечно, сульфамиды — великая вещь. Это бесспорно. Но, надеясь

на них, ни в коем случае не следует отказываться от старого обязательного правила: не делать глухого шва в условиях войскового района, в боевой обстановке. При малейшем сомнении в полном гемостазе или стерильности раны я решительно рекомендую лишь частичное зашивание ее, с временным дренажем.

Костя в глубине души возмутился. Как, и этот замечательный хирург не верит в сульфамиды? Неужели и он до сих пор не сумел убедиться, что сила этих удивительных препаратов превышает всяких старых правил? Неужели и он не знает, что, используя местное и общее применение стрептоцида и сульфидина, можно безусловно зашивать рану наглухо?

Костя сказал:

— Несколько месяцев практического опыта убедили нас, что сульфамиды достаточно гарантируют от...

Беляев, улыбаясь, прервал его:

— На сульфамиды надейся, а сам не плошай!

И потом, пока Костя готовил руки для следующей операции, Беляев объяснял ему, что больных с зашитой раной нельзя выпускать из-под наблюдения хирурга, дабы при самом начале воспалительных явлений сразу же можно было распустить швы.

— Практика тыловых госпиталей и клиник показала, что известный процент нагноений возникает и при тщательной сульфамидной обработке. А зачем это нам? — спросил он, строго глядя в глаза Кости. — Лишняя осторожность дает лишний процент быстро выздоравливающих. Ведь больные уходят от тебя дальше, ты за ними проследить не можешь.

— Да, конечно... — смущенно подтвердил Костя.

В нем боролись противоположные чувства: большого уважения к Беляеву, к его обширному опыту — и своей уверенности в могуществе дорогих его сердцу сульфамидов.

Посмотрев еще несколько операций Соколова, Трофимова и других врачей, Беляев вернулся к столу Кости и внимательно, от начала до конца, проследил за тем, как уверенно, обнаружив при вскрытии брюшины внутреннее кровотечение, Костя сделал все, чтобы прекратить его, с какой тщательностью провел

ревизию брюшной полости и как просто, сдав раненого санитарам, сказал:

— Следующего!

— Молодец! — совсем тихо произнес старик. — Ты стал хорошим хирургом. В мирной обстановке для такого опыта нужны годы.

В перерыве после обеда Беляев собрал весь медперсонал и сделал сообщение о состоянии санбата. Как и полагается в этих случаях, он отметил достоинства и недостатки работы. Костю поразила редкая наблюдательность старика, увидевшего все, до последней мелочи, все, чего не замечали ни Соколов, ни Трофимов, ни он сам.

«Удивительно, когда он только успел все это заметить?..»

Беляев говорил и о работе хирургов, и о среднем персонале, и о способе стерилизации инструментов, и о вкусе пищи, и о состоянии больных. Во всем он обнаруживал редкое внимание, любовь и какую-то особенную, глубокую связь с делом, которому служил.

Говоря о принципах современной полевой хирургии и чаще всего обращаясь к Косте, он сказал:

— Наличие таких могучих средств лечения ран, каковыми являются стрептоцид, сульфидин и сульфазол, ни в коем случае не дает нам права обходить все, что дал нам опыт прошлого. Сейчас надо особенно глубоко вдумываться, в каких условиях и на каком этапе лечения раны необходимо применять то или иное средство, как и когда сочетать сульфамиды с другими мерами. Условия современной войны резко повысили угрозу появления инфекции в ране. И если когда-то хирурги говорили, что «огнестрельная рана должна практически считаться стерильной», — то надо помнить, что это касается времени, когда преобладали пулевые ранения, при которых многие сквозные раны заживали гладко. А сейчас преобладают раны, нанесенные осколками гранат, бомб, снарядов, вносящими инфекцию, и эти раны не дают гладкого заживления. И потому мы должны заменить старый принцип новым, строго сформулированным Николаем Николаевичем Петровым: «Огнестрельная рана должна

практически рассматриваться как зараженная». Отсюда делайте выводы.

Беляев настойчиво требовал, чтобы при лечении ран местное применение сульфамидных препаратов ни при каких обстоятельствах не подменяло использования всех методов классической хирургии.

— Помните, — говорил он, — по возможности срочный хирургический туалет раны и последующая своевременная полноценная хирургическая помощь — совершенно обязательны.

Костя снова, как утром на операциях, краснел, и ему казалось, что Беляев все это говорит только из-за его, Костиного, упрямства, из-за его наивной, мальчишеской попытки возразить на серьезное указание старого, умудренного опытом и знаниями хирурга.

— В нынешней войне, — говорил Беляев, — советская медицина добилась очень многого. В армию возвращается большой процент раненых. Надо добиться еще лучших результатов, и я знаю, что мы добьемся. Этому порукой, товарищи, ваши знания, энергия и та глубокая ненависть к врагу и любовь к нашей стране, которой все мы полны. Русские врачи во все времена — и в севастопольскую оборону, и в турецкой, и в японской, и в гражданской войнах, а также и в войну с белофиннами — делали свое великое дело бок о бок с русским солдатом, сражались рядом с ним, лечили и спасали его и, если нужно было, вместе умирали.

Беляев кончил говорить, но Костя еще долго смотрел в глаза старика, так неотразимо напоминающие ему другие, близкие и родные, глаза.

VII

Лена так и не получила письма, привезенного с фронта и оставленного для нее в «Астории». Ни в тот вечер, ни в другой ей не удалось за ним съездить. Мешали частые тревоги, почти непрерывные операции. Когда же ей удалось наконец вырваться и, воспользовавшись случайной машиной, «слетать» в гостиницу — письма в конторе не оказалось и никто

о нем ничего не знал. Сколько ни расспрашивала Лена дежурного администратора и коридорных — выяснить ничего не удалось. Письма не было.

Еще несколько раз звонила Лена в «Асторию», но добиться ничего не сумела.

От кого было письмо?

Что произошло за эти долгие недели с Костей и с отцом?

Мысли, одна горестней другой, не оставляли ее ни на одну минуту.

Позднее она получила сообщение об отце, но о Косте сведений не имела, и только прилетевший с фронта Михайлов говорил ей:

— Не волнуйтесь, он в порядке.

«А если он только для успокоения говорит это?.. — думала Лена. — Если он ничего не знает или знает какую-нибудь ужасную правду?..»

— Почему же нет от него письма? — пытливо глядя в глаза Михайлову, спрашивала Лена.

— Почта, Елена Никитична, только почта виновата. Сейчас не до писем.

И Лена напряженно думала о пропавшем письме, точно так же как Костя думал о письмах, сгоревших вместе с самолетом. Ей представлялось, что именно в этом письме Костя рассказал ей обо всем, что скопилось в сердце за все эти месяцы.

Михайлов был особенно предупредителен, деликатен и шутя говорил ей:

— Вы так влюблены в своего деспота, что я не смею и подумать о милой встрече с вами...

Он задерживал ее пальцы в своих больших горячих руках, потом, комически вздыхая, говорил:

— Стар, стар... Сдал позиции... Юный терапевт победил старого хирурга...

Оставляя ей небольшой пакет с продовольствием, привезенный от отца, он снова, уже торопясь, поцеловал ей руки и быстро ушел.

Лена провожала его до лестницы, в десятый раз передавала отцу и Косте приветы, с минуту смотрела ему вслед и грустно возвращалась к себе.

«Все такой же... — думала Лена о Михайлове. — Как будто ничего не произошло».

Михайлов и в самом деле остался таким, как был. Но к его цветущему виду прибавились следы щедрого солнца, ветра, к манере держать себя — внутренний напор, новая энергия. Он много ездил, инспектировал, ревизовал, учил, сам оперировал, по поручению Беляева летал в Москву и в Ленинград, снова возвращался на фронт, и вся его крупная фигура дышала силой, энергией, уверенностью. Он больше прежнего любил вкусно поесть, по-прежнему заглядывался на женщин, свободно заговаривал с ними, ухаживал, а в Москве, встретив в одном из госпиталей молодую, очень красивую синеглазую блондинку, мгновенно влюбился и при следующем визите объяснил ей, что «вот такую он искал всю жизнь», что никогда, что бы с ним ни случилось, он не забудет, не сможет забыть ее, что после войны «они должны быть вместе».

Предложение было отвергнуто, и Михайлов улетел совсем огорченный.

«Стар стал... — думал он, — зубы выпали, когти обломались». Несколько дней он ходил влюбленный и тоскующий, но потом, попав в большой санбат, сделав несколько сложных операций, не отдохнув, помчался дальше, снова много оперировал и, когда пришел в себя, забыл о синеглазой московской блондинке и уже любовался «удивительной, неповторимой фигурой» и «потрясающим профилем» вновь прибывшей молоденькой сестры.

Михайлов сам рассказал Лене об этом и, словно боясь ее порицания, объяснял:

— Не могу без любви. Поймите! Без женщины — к черту все! Если я не влюблен, если не взволнован близостью вечно женственного и прекрасного, я быстро начинаю сдавать.

При этом он сочно смеялся, весело подшучивал над своей влюбчивостью, двусмысленно балагурил, и глаза его увлажнялись и становились еще темнее, а белые неровные зубы молодо блестели.

«Здоровенный человечище... Работает крупно, живет размашисто, любит широко и горячо... Зверь-мужик!» — вспоминала Лена слова отца.

Лена видела в окно, как Михайлов вышел из

подъезда и, согнувшись, скрылся в низеньком «зисе». Машина, мягко снявшись с места, увезла его.

«Завтра увидит папу... — подумала Лена. — А может быть, и Костю...»

Направляясь в палату, она в сотый раз пожалела, что не просилась на фронт, в санбат, чтобы работать с Костей вместе, — благо сейчас широко внедряется нейрохирургическая помощь в полевых условиях. Выбраться из Ленинграда можно было бы самолетом Михайлова.

Но сейчас же она возразила себе: Ленинград — тот же фронт. Ее госпиталь отстоит от переднего края нисколько не дальше, чем любой санбат. Зато медицинские условия работы в клиническом госпитале лучше, и сама она здесь нужнее, нежели где бы то ни было. Все наиболее усовершенствованные средства исследования нейрохирургических больных в ее госпитале были всегда к услугам врачей. Каждый серьезный случай изучался самым тщательным образом. Лена сроднилась с госпиталем, с его операционной, с персоналом и больше всего с больными. В ее отделении лежали тяжелораненные. У некоторых из них, раненных в голову, были временные нарушения психической деятельности, и возвращение их к нормальному состоянию было главной заботой Лены. Она по нескольку раз в день обходила палаты, садилась у постелей, осторожно начинала беседу, напоминала о забытом, и была счастлива, если ей удавалось добиться хоть малейшего успеха. Она могла подолгу сидеть в кресле около танкиста Ивана Тарасова, потерявшего после ранения память на слова и теперь только молча улыбавшегося на все вопросы. Рана его почти зажила, волосы скрывали шрам, и только это странное молчание делало его больным. Он забыл слова.

— Что это? — спрашивала Лена, протягивая к нему чайную ложку.

Тарасов смущенно улыбался и молчал. Он забыл не только, как называется предмет, который ему показывали, но и слово, объясняющее причину молчания.

— Забыл? — наводяще спрашивала Лена.

— Забыл, — кивал он головой. — Забыл, забыл, забыл... — повторял он, стараясь удержать в памяти ускользающее слово.

— Ложечка? — спрашивала Лена.

— Ложечка, — с удовольствием подтверждал Тарасов.

— Какая? — добивалась Лена.

Тарасов напрягал память, стараясь какими-то ассоциациями добраться до нужного слова, но оно не приходило.

— Почему ты не отвечаешь? — спрашивала Лена, чтобы добиться хотя бы только что возвращенного памяти слова «забыл», но он уже, очевидно, опять его потерял.

— Я спрашиваю, почему ты не отвечаешь? — настаивала Лена.

Тарасов снова напрягся и вдруг, светло улынувшись, даже немного приподнявшись в кресле, громко крикнул:

— Забыл!

— Ах, забыл! — рассмеялась довольная Лена. — Скажите, пожалуйста, какой забывчивый. А ты больше не забывай. Ложечка-то все-таки какая?

— Забыл.

— А ты вспомни. Я утром тебе говорила.

— Чайная!.. — вдруг снова выкрикивал Тарасов. — Чайная, чайная, чайная... — и, устало опустившись в кресло, он тихо твердил оба слова подряд: — Чайная ложечка... Чайная ложечка...

С каждым днем Тарасов усваивал все больше и больше «новых» слов. Постепенно овладевая речью, он доставлял Лене гордую радость матери, слушающей уже не первый лепет младенца, а ритмическую речь подрастающего ребенка.

Трудно Лене было и с автоматчиком Смирновым, потерявшим память на зрительные образы и потому никого не узнававшим.

— Здравствуйте, Смирнов, — говорила Лена. — Узнаете?

— Нет, сестрица, — отвечал больной, внимательно всматриваясь в лицо Лены.

— Откуда же вы знаете, что я сестрица?

- По халату узнаю.
- А по лицу?
- Личность незнакомая.

Это повторялось по несколько раз в день, и лишь спустя много времени он стал понемногу узнавать Лену, причем первым отличительным признаком служили ее пышные волосы. И когда Смирнов, однажды увидев входящую в палату Лену, поднялся ей навстречу и сказал: «Здравствуйте, товарищ военврач!», Лена почувствовала, как в груди ее пролилось что-то горячее. Теперь Смирнов узнавал уже всех, а Лену называл по имени-отчеству. Встречая ее по утрам, он по-военному вытягивался и шутливо-радостно рапортовал:

— Товарищ военврач третьего ранга, в пятой палате во время ночного дежурства происшествий никаких не случилось.

А ведь совсем недавно и Смирнов и Тарасов были в госпиталь с большими проникающими ранами, с осколками в мозгу, без сознания. Такие раненые вызывали особое внимание Лены.

Были у больных Лены и другие виды ранений — повреждения периферических нервов, главным образом нервов рук и ног. Эти ранения далеко не так опасны для жизни, как мозговые, но они угрожают трудоспособности человека. И Лена упорно исследовала — насколько поврежден нерв, каков характер поражения, какова картина распространения болезненного процесса, пределы поражения, и только после тщательного изучения устанавливала — когда, какая операция в данном случае должна быть проделана. Как и большинство молодых нейрохирургов, она восставала против всех руководств по хирургии, требующих для операции на нервах не меньше шести месяцев от момента ранения. Срок этот она сокращала все больше и больше, доводя его в отдельных случаях до восьми дней. Практика убедила в правоте ее позиции, дала ей возможность написать статью, требующую решительного пересмотра вопросов травмы периферических нервов, исходя из изучения ранений современной войны.

И каждый раз, когда Лена задумывалась над

вопросом отъезда на фронт, ей казалось, что она ~~за-~~мышляет измену друзьям, бегство от своего прямого долга. Она вспоминала, что в ее отделении лежит тяжело раненый, которого она до полного излечения оставить не может. А когда выздоравливал этот раненый, на его месте был уже другой, третий. Всегда кто-то приковывал внимание Лены.

Вот и сейчас. В третьей палате лежит командир батареи капитан Прокофьев, раненный под Ленинградом, при попытке фашистских автоматчиков окружить его батарею. Пуля прошла из затылка в левое полушарие и застряла в левой лобной области мозга. Рентген с точностью установил местонахождение пули. Появились все признаки нагноения. Очевидно, оно было вызвано тем, что пуля внесла с собой обрывки фуражки, волосы, грязь. Лена, после консультации с главным хирургом, решила срочно удалить пулю. Но как? Выводить ее в обратном направлении по тому ходу, который пуля проделала, было невозможно, — это грозило разрушением части мозговой массы и, может быть, даже потерей речи.

Что же было делать? Лена решила произвести трепанацию левой лобной кости и через маленькое трепанационное отверстие вывести пулю. Пуля была удалена с целой серией «сателлитов», представлявшей коллекцию инородных тел. После тщательной обработки рана была зашита, оставалось только ждать — что будет дальше? Лена поручила сестре чаще измерять температуру раненого, несколько раз в день выслушивала его сердце, присматривалась к изменениям в лице, брала кровь на анализ и даже ночью приходила в палату и прислушивалась к дыханию капитана. Но опасения были напрасны. Все шло как нельзя лучше. Рана заживала быстро. Функции восстанавливались с такой же быстротой. И сейчас капитан Прокофьев был уже на пути к полному выздоровлению. Он просился в батарею, но Лена его не отпускала, боясь преждевременной нагрузки.

А пока поправлялся Прокофьев, появились новые тяжелораненые, среди них один почти такой же, как Прокофьев. У Лены появились новые планы операции и лечения.

Она поняла — не расстаться ей с госпиталем, не уехать ей из Ленинграда. Может ли она оставить Ленинград? Голодный, замерзший, зажатый тугою петлею, родной, сражающийся Ленинград!

VIII

На улицах, покрытых потемневшими, горбатыми сугробами, стояли облепленные грязным льдом мертвые трамвайные вагоны. Над ними сгибались разбитые чугунные столбы, свисали концы оборванных проводов. Нырять с сугроба в яму и снова выползая на гребень следующего, пробивался грузовик, и снова становилось совсем тихо, будто город окончательно замерз и обезлюдел. Обходя возвышения и ямы, медленно двигались одинокие прохожие, укутанные в платки, шали, одеяла. На обочинах мостовых, вдоль самого края тротуара встречались женщины, устало гнувшие за собой узкие саночки с завернутым в простыню или зашитым в длинный мешок окоченевшим телом. Иногда они встречались группами, и тогда вереница их растягивалась на большое расстояние и молчаливо двигалась в сторону ближнего морга. И над всем этим кружилась белая пурга, встревоженно неслись снежные тучи, злобно дул обжигающий ветер.

Лена снова шла в «Асторию», надеясь все-таки найти письмо Кости. Она давно уже не была на улице, и все страшное, что рассказывали о городе, сейчас представилось ей воочию, тяжелое и горестное. Она шла по давно знакомым, сейчас таким скорбным улицам. Не верилось, что здесь бурлила жизнь, звенели трамваи, шурша проносились троллейбусы, автобусы, машины, непрерывными потоками двигались толпы энергичных людей, веселых ребят.

Куда все это девалось?

Закрытые щитами витрины магазинов, заколоченные подъезды, ставни на окнах, выбитые стекла, за которыми пузырями вздувались занавеси, и кругом — сугробы, сугробы, сугробы, похожие на высокие белые могилы.

На улице Чайковского знакомый с детства особняк райкома, соединенный с соседним зданием зимним садом, разрушен бомбой. Угол его оторван. Стены, от крыши до земли, горами обломков лежат на панели, и прохожему открыты развороченные повисшие потолки, исковерканные лепные украшения, куски инкрустированных дверей, потускневшая позолота простенков. Неподалеку угрюмо темнеет большой дом, в котором жила когда-то соученица Лены, веселая, жизнерадостная Надя Орлова. Середина здания словно вырвана и унесена бурей. Остались только края потолков — для верхних этажей это были полы, — на которых странно удержались где круглая печь, где раскрытый настежь шкаф. А комнаты с балконом, где жила Надя, не было совсем. И еще дальше, на той же улице, как раз против Моховой, чудесный зеленый дом с белыми лепными украшениями, который Лена и Костя так любили за уютные балконы и ниши, сейчас стоял с разрушенным фасадом, точно у него разворотили грудь и вырвали сердце и легкие. Скорееженные балки, водопроводные трубы, провода перевились между собой. И долго потом еще вспоминался торчащий в правом углу третьего этажа кусок пола и на нем, на самом краю, одиноко стоящее без крышки, без струн, исковерканное пианино.

На Моховой было много разрушенных зданий, и улица казалась нежилой, брошенной. На углу улицы Пестеля, где помещался знакомый продуктовый магазин, сейчас мертво застыли руины, и почему-то особенно бросалась в глаза яркая синева кобальтовых стен, обломки красного дерева, картины, почерневшие портреты в овальных рамах. А напротив еще дымилось пепелище сгоревшего многоэтажного дома, без кровли, без потолков, — только толстые стены просвечивали пустыми, как черепные глазницы, оконными отверстиями и серый дымок, кружась, подымался прямо к небу в широкое раскрытое пространство сгоревшей крыши.

Лена перешла через Фонтанку, прошла мимо занесенного снегом Летнего сада, мимо мрачного Инженерного замка и вышла на Невский.

Широкий и бесконечно длинный, он казался сейчас еще шире и длиннее.

Было пусто и глухо.

И здесь, как на других улицах, были снежные сугробы, забитые витрины, вылетевшие стекла, мертвые вагоны. Лене стало еще грустнее. В эти тяжелые дни блокады Ленинград был ей особенно дорог и близок, как особенно близок и дорог любимый человек в часы его опасной болезни.

Гостиный двор горел.

Еще издали Лена увидела черные клубы дыма, языки желто-красного пламени. Они вырывались из обеих этажей старинного здания, разделенного на ряд полукруглых арок, сливающихся в длинную галерею. Вся правая половина невского фасада, от центральных ворот до Перинной линии, пылала, как гигантский костер. Острые жала огня, вытягиваясь из-под сводов, соединялись с огнем верхней галереи и крыши и там, на просторе, кружились в черных тугих кольцах, окрашенных кровью и золотом.

Было странно, что пожара почти не тушили. Не было воды. Ослабевшие, голодные пожарные могли лишь разбирать деревянные простенки, не давая огню охватить соседние помещения. Горящий флигель изолировали и давали ему догореть, словно для всех стало очевидным, что нет смысла тратить последние силы на спасение этих старых, сейчас никому не нужных магазинов, складов, мастерских. Но Лене было больно: она с детства любила Гостиный двор — грандиозный, охватывающий четыре громадных квартала, немного таинственный дом. Там помещались сотни старинных магазинов — игрушечных, канцелярских, мебельных, медицинских, десятки учреждений, складов, артелей.

Лена пошла дальше.

«Нет воды... — горестно повторяла она. — Нет воды...»

Водопровод, разбитый, замерзший, прерванный на отдельных участках магистрали, давно не действовал, вода не доходила до многих районов. Население брало воду в Неве и носило ее в ведрах, как бы далеко ни стоял дом от реки. Лена часто видела, как

поварихи, судомойки, санитарки, выздоравливающие больные ее госпиталя группами шли к Неве, пробивались сквозь глыбы льда и наметенного снега к узкой, окруженной льдами проруби и там, осыпаемые колючим снегом, с трудом набирали воду и носили ее за семь кварталов в клинику. Воды нужно было много — для стирки, для ванн, для пищи, для операционных. Люди ходили к реке, тащили в небольших ведрах студеноую, желтоватую воду, обеспечивая ею нужды госпиталя. Согрев и вскипятив ее на дровах, доставленных с таким же трудом, разносили по этажам.

В «Астории» Лена опять не нашла письма. Огорченная, она направилась к старикам Кости. Отец уже три дня не являлся на работу, мать давно болела, и Лена решила провести их.

В большом шестиэтажном, типично ленинградском доме все поразило сознание Лены. Двор был загроможден льдом, завален мусором, штукатуркой, битым стеклом. Из окон шестиэтажного дома торчали трубы времянок, стены, окрашенные когда-то голубой краской, были черны от копоти. Никого не встретив, Лена поднялась по знакомой, теперь такой мрачной лестнице. Мать Кости лежала дома одна, и Лене долго не отворяли. В комнатах было очень холодно.

— Где же все ваши? — спросила Лена.

— Кто уехал, а кто на работе, — отвечала старуха, пытаясь улыбнуться Лене. Лена вдруг узнала в этой трогательной улыбке знакомую улыбку Кости.

«Как он похож...» — промелькнуло в голове и нежно отозвалось в сердце.

Лена развернула пакетик с едой, принесенный в портфеле. Но приготовить ничего нельзя было — ни дров, ни керосина не было, а мебель, которая похуже, уже вся была сожжена.

Лена растерянно смотрела на больную с отечным лицом, с чуть близорукими глазами, с мягкой улыбкой, как у Кости, — и не знала, что делать. Кормить больную всухомятку не следовало, что-либо приготовить было невозможно, и времени у Лены было совсем немного.

— Ничего, не волнуйся, доченька... — не имея сил

сдержаться, заплакала старуха. — Отец придет, все сделает...

От слова «доченька», от ужасной беспомощности недавно энергичной женщины сердце Лены переполнилось жалостью.

«Спаси ее во что бы то ни стало... — билось в голове Лены. — Спаси родителей Кости...»

— А где отец?

— Должен скоро прийти... — чего-то не договаривая, отвечала мать.

— Где же он? — решительно спросила Лена.

— Сестру хоронит... — опять заплакала Сергеева. — Вот уже третий день кого-нибудь хоронит... Сначала бабушку, вчера брата, сегодня сестру... Померли... ослабили очень...

Послышался стук дверей.

Лена вышла в переднюю.

Сергеев втаскивал с лестницы тяжелые салазки. Он резко похудел, оброс седой бородой, глаза глубоко запали. Он посмотрел на Лену тусклым, равнодушным взглядом, потом вдруг обрадовался.

— Леночка пришла! Уж не от Кости ли письмо?

Голос у него ослабел. Он заметно задыхался.

— Чайку бы Леночке... — хлопотал он, видимо совсем забыв о действительности. — Мать, а мать, гостя-то какая! Леночка пришла! О Костеньке поговорим. Чайку бы!

Скинув пальто, Сергеев, торопясь, чтобы никто не успел помешать, вытащил из спальни старенький ночной столик, вынул из него содержимое и несколькими взмахами топора сбил с него верх. Потом он разрубил дверцы, стейки, и скоро — видимо уже привык к этой работе — превратил красивый столик в кучу щепок. Через минуту они, треща, пылали в крохотной временке, а Сергеев, сухой и маленький, тяжело волоча распухшие ноги в больших валенках, хлопотал, доставая посуду.

— Вот только чаю нет, — огорчился он, — давно уж и забыли о нем... Опять же и с сахаром то же самое... В общем, один кипяток...

— Я принесла с собой кое-что, — сказала Лена.

— С собой? Ну и времена, господи боже мой, гости со своим угощением приходят! Что ж это делается на свете, а!

Отец хлопотал у временки, а Лена, сидя у постели больной, с грустью смотрела сквозь приотворенную дверь в комнату Кости. Она видела его рабочий стол, его книги, несколько игрушек, бережно сохранившихся с детских лет и аккуратно расставленных на красной полке. Особенно умилил ее большой белый Мишка с оторванной лапой.

— Пожалуйте! — позвал отец.

Но угощать гостью хозяевам не пришлось.

Матери стало дурно, и Лена с трудом привела ее в чувство. Сергеев тоже резко обессилел и свалился на диван. Лена, растерявшись, не знала, что предпринять. Телефон не работал. Она сделала несколько тонких бутербродов и осторожно, как больных детей, стала кормить стариков. Несколько ложек сгущенного молока и горячий чай привели их в себя, и Сергеев уже пытался было подняться, но Лена велела ему лечь и не двигаться.

— От себя отрываешь последнее... — ослабевшим голосом, отрывисто говорил старик. — Нам все равно помирать... А тебе надо жить.

— Это прислал папа... и Костя, — солгала неожиданно для себя Лена.

— Костенька? — подняв голову с подушки, переспросил старик. — А письмеца нет?

— Нет, он на словах передал, что жив, здоров, просил кланяться.

— Жив-здоров? — повторил отец. — Костенька жив-здоров, слышишь, мать?

Мать не отвечала. В ее углу было как-то странно тихо.

— Слышишь, мать?

Ответа не было. Только рука матери, поднятая к лицу, чего-то искала у глаз, и пальцы ее быстро шевелились.

Отец и Лена, сразу почуяв неладное, бросились к ней.

— Спишь ты? — тревожно спросил отец. — Мать! Лена взяла ее руку, пригнулась к самому лицу.

Дыхания не было слышно, пульс едва прощупывался. И вдруг, прежде чем Лена успела подумать, что делать, изо рта скользнул коротенький выдох и нижняя губа опустилась.

— Отошла... — глядя испуганными глазами в лицо жены, тихо произнес старик.

Лена, ошеломленная, подавленная, стояла неподвижно и неотрывно смотрела на умершую. Полуоткрытые глаза, казалось, близоруко щурились, как это делал Костя, когда снимал очки, и чуть опущенная губа была как у Кости, когда он смущался, и выбившиеся из-под платка светлые волосы также чем-то напоминали голову Кости.

— Неужто померла?.. — спросил Сергеев. — Неужто померла?..

Лена опустилась на колени и припала головой к руке покойной. Раскаяние тревожно бредило рану в сердце, — было обидно, что запоздала помощь.

«Разве если бы это была моя мать, моя родная мать, — упрекала себя Лена, — разве могла бы я так поздно прийти к ней?»

Но тут же Лена подумала, что помочь она все равно ничем не могла бы. Тот крохотный кусочек хлеба, который получали все, получала и она. Отец очень редко имел возможность присылать ей через Михайлова небольшую посылочку. Раз два-три она отправляла с нянькой или вручала лично Сергееву немного продовольствия, но разве это могло поддерживать стариков? Она была так же беспомощна, как и все остальные, она голодала, как и все другие.

«Что я скажу Косте? — снова и снова терзалась Лена. — Он просил последить за матерью...»

Надо было уходить. Но как оставить старика одного? Как быть с умершей?

— Уходить тебе надо, — ласково и вместе с тем строго сказал Сергеев. — Иди, доченька.

— Но как же вы?

— До утра посижу с ней, утром отвезу...

Лена знала, как дружно жили родители Кости. Как должно быть велико сейчас горе Сергеева! И она удивлялась его суровой выдержке, тому, как просто он сказал: «Утром отвезу».

— Может быть, вы пойдете к соседям? — спросила она. — Или позовете сюда кого-нибудь?

— Нет, доченька, никуда не пойду. Да и соседей нет... Кто на работе, кто уехал, кто помер...

Лена убеждала старика пойти с ней в клинику, отдохнуть до утра, немного согреться. Он решительно отверг ее предложение. Она сказала, что постарается завтра достать машину, а если это не удастся, придет, чтобы помочь ему в похоронах. Но старик и от этого отказался. Он вызвался проводить ее до ворот. И то, что проводил ее, тоже было не напрасно. В сумерках она могла наткнуться на «куклу», вынесенную на лестницу, во двор, в подворотню. Старик знал, что именно в эти часы наступающей темноты люди выносят своих покойников и, голодные, больные, боясь собственной смерти, оставляют их где удастся и торопятся вернуться домой.

— Схоронить надо! — вдруг сердито крикнул Сергеев кому-то в глубине второго двора. — Схоронить, а не бросать, как мусор!

— Кому это вы? — спросила Лена.

— А вон мальчонке.

В подворотне она увидела подростка лет пятнадцати. Грязный, опухший, желтый, он волочил что-то тяжелое, завернутое в рогожу.

— Не схоронить мне... — ответил мальчик, плача. — Сам, того гляди, свалюсь.

Сергеев смягчился.

— Мать? — спросил он.

— Мать.

— А отец где?

— Вчера помер.

— Куда девал его?

— Под лестницу положил...

— Ну-ну. Не плачь. Завтра всех отвезем.

— Ее машина подберет... — оправдываясь, объяснял мальчик.

— Не дело это... Машины подбирать должны тех, кто на улице помер.

Словно подтверждая его слова, по мостовой медленно прошла большая грузовая машина, доверху наполненная застывшими телами. Два дружинника,

стоя на боковых ступеньках, всматривались в подворотни, в подъезды и время от времени подбирали покойников, укладывали их на грузовик в ровные штабеля и двигались дальше.

Лена, все дни и ночи проводившая в госпитале за работой, здесь впервые с такой рельефной отчетливостью ощутила каменное кольцо блокады, душившее сотни тысяч людей, и ей стало, как никогда раньше, тягостно и страшно.

Из-за угла навстречу ей медленно вышел странный человек — не то юноша, не то старик, — желтый, обросший. Он равнодушно посмотрел на Лену глубоко ввалившимися, воспаленными глазами и вяло протянул распухшую синюю руку, как протягивает ее за подающим дряхлый нищий. Но он ни о чем не просил и руку протянул только для того, чтобы за что-нибудь ухватиться. Он боялся упасть, зная, что если это случится, он больше не поднимется.

Лена поддержала его за локоть, но длинные ноги его внезапно подогнулись, и он всей тяжестью большого тела стал опускаться на снег.

— Постарайтесь подняться... — сказала ему Лена и протянула руку.

Внезапно где-то недалеко раздался грохот, и сразу голос диктора настойчиво и строго предупредил:

— Внимание, внимание! Начинается артиллерийский обстрел района!

Где-то рядом, позади, впереди и, казалось, снизу и сверху завывли, внушая ужас и отвращение, вражеские снаряды. И совсем близко что-то острое и тяжелое, свистя, пронзило воздух и ударило в мостовую, в дома, в деревья противоположного сквера. Качнулась земля, вздрогнули стены, пригнулись деревья, со звоном посыпались стекла, и Лена, подхваченная ветром, отлетела в сторону и плашмя упала у подворотни на сугроб.

— Ранены? — услышала она над собой.

Женщина в белом помогала ей подняться.

— Не знаю... Кажется, нет....

Ее осмотрели, отвели в медпункт большого дома, положили на койку. Но Лена скоро пришла в себя.

Она поняла, что осталась невредима, и, не дожидаясь конца тревоги, двинулась дальше.

На углу горело прекрасное старинное здание, и пожарные вместе с жильцами ведрами таскали из полузамерзшего канала Грибоедова зеленую воду и заливали пожар. В другом квартале обрушился жилой дом, похоронив под собой много людей. В темноте, чуть освещенной отблеском соседнего пожара, откапывали из-под обломков убитых и раненых. Лучше всех работали мальчишки. Лена видела десяти-двенадцатилетних ребят, ловко и быстро оттаскивающих камни, бревна, железные балки, пролезавших сквозь узкие щели в полуразрушенный подвал и выносивших оттуда детей и взрослых. Услышав крики, Лена вошла в контору соседнего дома, куда доставляли пострадавших, и приступила к работе. Принесли одну за другой несколько женщин, и все они оказались мертвыми. Принесли мальчика лет девяти, еще живого, но переломанные ребра острыми концами впивались в легкие, и он выплевывал сгустки крови. Зелено-бледный, с пятнами крови на лице, с большими, синими, испуганными глазами, он, не переставая, спрашивал Лену:

— А я не умру, тетенька, а?.. Я еще маленький, да?.. Ты меня спасешь, тетенька, а?.. Я еще не хочу умирать...

Но через две минуты он умер на руках у Лены.

Поздним вечером Лена приближалась к своему госпиталю под удивительно спокойное и мерное постукивание радиометрона. Шел снег. Еще слышались отдаленные выстрелы зениток, виднелось вспыхнувшее яркое зарево пожара. Ленинград лежал перед ней, покрытый свежим снегом, огромный, величавый, настороженный. Улицы утопали в черном мраке, зияли как раны бреши в домах, были выбиты стекла, обвалены крыши.

Город был охвачен голодом, смертью, печалью.

Но город стоял, город не сдавался.

Вот где-то недалеко ухают орудия — это сражается Ленинград. Вот двигается отряд лыжников. Вот на соседней улице слышен железный грохот — это

навстречу врагу направляется новая колонна тяжелых танков...

Город сражается.

Люди голодают, замерзают, хоронят своих близких, но напряженно работают. Они стоят у моторов, у станков и продолжают делать пушки, танки, винтовки. Работают все без исключения: рабочие, инженеры, профессора, студенты, школьники!

Хоть и в замерзших помещениях, в шубах, в валенках, в ушанках, в полумраке, при лучинах, но работают!

В подъезд своего госпиталя Лена входила измученная и голодная, но странно спокойная, уверенная. Только мысль о долгой отлучке тревожила ее.

«Надо скорее посмотреть больных... — думала она, — вероятно, и новых привезли...»

IX

Тягостное чувство, камнем давившее Костю, Трофимова, Соколова, как давило миллионы других людей, теперь исчезло, освободило грудь и дало простор дыханию. В короткий срок Красная Армия нанесла фашистским войскам ряд сильнейших ударов, отогнала полчища захватчиков из-под Москвы, продолжала гнать их дальше на запад, и это наполняло сердца глубоким чувством гордости за Красную Армию.

С каждым днем Костя убеждался все больше, что чем дальше, тем неизбежнее встреча врага с новыми и новыми русскими силами, несущими ему смерть.

Санбат двигался вперед. И радость этого движения Костя ощущал постоянно, каждый час, каждую минуту.

Только что санбат получил приказ о новом выступлении.

В укрепленную линию врага врезалась советская дивизия. Именно туда, к самой передовой линии, где сейчас разворачивались бои, приказано было продвигнуться хирургическому блоку санбата.

Перед самой отправкой Костю вызвали в бюро

партийной организации. В крохотном помещении с трудом помещалось человек семь. Кроме комиссара и секретаря, все стояли — негде было сесть.

Секретарь — медицинская сестра Надежда Алексеевна — прочла заявление доктора Сергеева и три приложенные рекомендации. Потом она спросила, кто желает взять слово.

— Поскольку мы сегодня очень торопимся и каждая минута дорога, — сказал комиссар Фролов, — разрешите сразу мне. Считаю, что в этом вопросе все ясно. Сергеев — исполнительный, энергичный, инициативный работник и хороший товарищ, проверенный в тяжелых боевых условиях. Он прекрасно относится к больным. Я верю, что он будет хорошим членом партии.

К мнению Фролова присоединились еще два товарища — командир санбата Подобедов и водитель Иванов.

Соколов сказал просто:

— Голосую за принятие — Сергеев наш человек.

А тихая, удивительно спокойная Надежда Алексеевна, говорившая всегда очень мало и на редкость лаконично, сказала:

— Убедена, что Сергеев настоящий коммунист.

После голосования она пожала руку Косте:

— Поздравляю!

— Благодарю вас, товарищи, за доверие... — сказал взволнованный Костя. — Приложу все силы, чтобы оправдать его.

Через десять минут хирургический блок отправился в путь.

В поле разыгрался буран. Все дороги скрылись под метровым слоем снега. Большие сугробы рыхлыми баррикадами преграждали путь, и машины одна за другой застревали, словно въезжали в большие кipy ваты и запутывались в них. Колонна с трудом продвигалась и наконец остановилась совсем, но маршрут был рассчитан до одной минуты.

Что было делать?

Машины, глухо содрогаясь, тщетно пытались сдвинуться с места. Колеса, кружась, буксовали на заснеженных буграх.

Тогда у головной машины появился комиссар Фролов.

— Все-ех сю-да-а-а!!! — кричал он, стоя на крыше кареты и складывая руки в рупор. — Все-ех сю-да-а-а!!!

— Всех сюда-а-а!!! — передавал дальше по колонне Бушуев.

Шоферы, врачи, сестры, санитары быстро сбегались к головной машине и, упираясь в снег, толкали ее вперед.

— Над-д-а-ай, над-д-а-а-ай!!! — нутужно кричал незнакомым голосом Фролов, и люди, «наддав», толкали машину через сугроб, и она шла дальше. Тогда все быстро бежали к другой, начинали все сначала.

Ветер завывал, падал откуда-то с высоты, поднимался, отлетал в стороны и снова возвращался, неся с собой тучи колючего снега. Темнота смягчалась близкой наметенных снежных полей, едва видимых сквозь вертящийся туман. Крики людей уносились вместе с ветром и, словно приглушенное эхо, возвращались. В страшном бело-черном вертящемся хаосе, казалось, нельзя разобрать — где земля, где небо, откуда колонна пришла, куда идет.

Но люди упрямо искали путь. Лопатами, метлами нащупывали дорогу, вытаскивали машины и двигались дальше, снова застревали и снова упорно, настойчиво продвигались вперед.

Костя вместе с комиссаром, с Соколовым, Трофимовым и другими перебежал от машины к машине, впрягался в лямку, толкал, кричал «наддай», «еще разок». Его заражал своей силой и подъемом худой и бледный Фролов.

Но чем больше препятствий одолевали, тем больше их возникало впереди, и конца им не было видно. И вот, в ту минуту, когда всех охватила страшная усталость и многие, разгоряченные, обдуваемые ледяным ветром, забрались внутрь машин, и, казалось, колонна надолго застыла в снегах и буране, — где-то далеко впереди вспыхнула желто-багровая зарница, и через мгновение глухо ухнул короткий гром. Вслед за первыми вспышками возникли другие, и drobные раскаты слились в единый протяжный гул.

Тогда у головной машины снова раздался пронзительный крик засыпанного снегом, похожего на белую гипсовую фигуру Фролова, заревел автомобильный сигнал. Снова сбежались люди.

— Слышите?!.. Началось!.. — Фролов напрягал до предела охрипший голос. — Нам надо уже быть на месте, а мы еще здесь!!!

Костя видел, как комиссар снял с себя полушубок и бросил под колеса машины мехом вверх. И сразу же то же самое сделал и Костя, а за ним и все остальные сняли с себя полушубки и бросили под колеса машин. Машины рванули и пошли, и каждый раз, когда они снова застревали, Фролов первым выскакивал из своей машины, напряженно кричал, швырял под колеса свой полушубок, за ним это делали остальные, и колонна снова двигалась вперед.

К назначенному часу колонна была на месте.

Операционная разворачивалась в тот момент, когда из вступивших в бой подразделений начали подвозить первых раненых. В небольшой уцелевшей избе за своим столом стоял в свежем халате, с засученными рукавами, в резиновых перчатках, с марлевой маской на лице тихий Соколов и, как всегда спокойно, отдавал распоряжения. Рядом, почти вплотную, прижался стол Кости, и чуть в стороне, припертый в угол, приготовился к работе Трофимов.

Бушуев, как всегда бодрый, вышучивал строгие хирургические правила, особенно, когда они, в силу походных условий, невольно нарушались.

— Неправильно столы поставили... Ай-ай-ай... — добродушно язвил он. — Как же так? А? «Тесно»... «Как селетки в бочке»... А ничего, все идет по всем правилам. В тесноте, да не в обиде. Вот приедем в Ленинград, в настоящую больницу, там будет и асептика и антисептика. Там все будет «по-стерильному»...

— А ты зачем вчера царапину на своем пальчике йодом заливал? — разоблачала его тайную приверженность к науке Надежда Алексеевна.

— А это я для вас, чтобы, значит, в образцовом санбате все было честь-честью. Я тут, около вас, вроде как интеллигентом стал. А люди в крайнем случае обходятся и без этого. В хозяйстве оттяпает себе

топором полпальца, паутинкой дырку прикроет и дует дальше... И ничего, не помирает... Только кушать больше просит...

Стали вносить первых раненых, и Бушуев, поднимая их с носилок и укладывая на стол, сразу переключил на них свое внимание. У него выработалась манера разговаривать с любым раненым как с больным ребенком.

— Ну что? — как-то особенно мягко спрашивал он. — Хвораешь, дружок? Ничего, тут доктора — первый сорт. Я был похуже тебя, а теперь, видишь, быка свалю.

Он старался отвлечь раненого от страданий, шуточной вызвать улыбку.

— Держи меня, дружок, за шею, — объяснял он другому раненому, нагнувшись над носилками и умело охватывая его туловище. — Вот так. Крепче. Не все же тебе, голубь, баб обнимать. Ну вот, теперь отпусти. Лежи, браток, спокойно. Тут доктора — один другого лучше. Тут, браток, все стерильно, дальше некуда. Только попроси, все дадут. Будешь, голубь, здоров, как молодой бычок.

Он внес на себе юного танкиста с тяжелым переломом предплечья. Бледный, стараясь не стонать, раненый боялся только одного — ампутации руки.

— А не отрежут руку?.. — пытливо спрашивал он Бушуева. — Правду скажи, не отрежут?

— Что ты, что ты, дружок? Кому же твоя рука надобна? У докторов свои — не хуже твоих. Золотые руки. А твоя и тебе пригодится.

— А может, раздроблена? — волновался больной.

— А и раздроблена — все едино вылечат. Здесь, дружок, доктора все до единого — заслуженные деятели и фармацевты первого ранга. У меня рука была прямо в порошок растерта, а вот видишь, собрали, склеили, лечебный массаж сделали, и теперь она, голубок, сильнее, нежели была в мирное время. Сам ведь видишь, в тебе килограммов, поди, не меньше семидесяти, а я тебя как младенца ворочаю.

— Если тебе верить, — говорила ему Надежда Алексеевна, — ты весь прострелен, раздроблен, а доктора собрали твой прах и склеили.

— Что ж делать! — убежденно возражал Бушуев. — И ложь не грех, коли она больному человеку вроде лекарства.

Бушуев укладывал на стол раненого бойца, когда у самого окна раздался оглушительный взрыв. Стекла со странным приглушенным звоном разлетелись на мелкие куски и посыпались в избу. Упал и погас большой аккумуляторный фонарь, кто-то из больных громко застонал, в избу ворвался ледяной ветер.

— Спокойно! — сказал Соколов. — Завесить окна! Дать запасный свет!

Через минуту фонари осветили сдвинутые с мест белые столы, раненых, вздутые ветром толстые одеяла на окнах.

— Работа продолжается... — не повышая голоса, сказал Соколов. — Раненых укрыть!

Где-то рядом разорвалось еще несколько снарядов, изба вздрагивала, качалась, падала посуда, опрокинулся столик с инструментарием, но работа продолжалась. Вносили и выносили раненых, делали операции, принимали и отправляли машины, отогревали обмороженных, накладывали повязки. Гул близких разрывов уже казался естественным, несколько не мешал работе. Где-то по соседству загорелся разрушенный дом, слышен был треск, будто сухие дрова пылали в огромной печи. Мягко шелестя голыми ветвями и снегом, упало большое дерево и грузно вдавилось в прогнувшийся потолок операционной. Но врачи, сестры, санитары, шоферы продолжали свою работу.

Лишь получив приказ штаба, командир медсанбата в свою очередь приказал перебазироваться в более прикрытое, не пристрелянное врагом место.

Машины, нагруженные ранеными, отходили по маршруту к новому пункту. Уже ушли бригады Соколова и Трофимова, и только группа Кости, только что закончившего неожиданно затянувшуюся операцию, оставалась на месте. Бушуев с шофером уже погружали в машину операционный стол, когда к избе поднесли тяжелораненого.

— Прямо в машину! — крикнула санитарам Надежда Алексеевна.

Но Костя, осветив фонариком лицо раненого, остановил санитаров. Он приподнял край залитой кровью шинели, осмотрел место ранения. Размозженная стопа едва держалась на лоскуте кожи. Ранение крупной артерии грозило большим обескровлением. Надо было сейчас же отрезать стопу и перевязать сосуд.

— Стол обратно! — крикнул Костя.

— Есть стол обратно!.. — откликнулся из темноты голос Бушуева.

— Приготовить к операции!

— Есть к операции.

Надежда Алексеевна помогла Косте надеть халат. Шурочка привычно быстро вкалывала в руку больного шприц. Уже нога командира была обнажена для операции, и узкое лезвие, освещенное фонарем, тоненько сверкнуло над ней, когда плотный, сжатый грохот ворвался в помещение вместе с длинным жалом красно-желтого пламени. Всех отбросило в противоположный конец, угол избы странно, как декорация на сцене, мгновенно исчез и широко раскрыл темноту ночи, вертящийся сине-белый вихрь, далекую зарницу нового выстрела. Потолок грозил обвалом.

— Выносите больного!.. — откуда-то из полумрака крикнул Костя.

В предраассветной темноте смутно выделялись контуры накренившейся набок машины без передних колес, с отбитым верхом. Разрывы на короткие мгновения освещали все вокруг. Они ложились все ближе к центру круга, очевидно в точку, где предполагался командный пункт.

— Одеяла и простыни! — коротко приказал Костя.

Надежда Алексеевна и Шурочка расстелили на снегу перед машиной одеяла, покрыли их простыней и вместе с Бушуевым уложили больного.

— Включить фары! — приказал Костя.

Шофер на миг растерялся.

— Товарищ военврач... Вызовем огонь на себя...

— Включить фары! — повысив тон, повторил Костя.

Два ярких снопа прорезали внезапно сгустившуюся тьму.

— Йод... Нож... Кохер... Пинцет... Так...

Голос Кости был тих. Над ним, вокруг него кружились серебристо-прозрачные снежинки, они падали на тело раненого, на руки врача и сестер и сразу таяли, оставляя влажные кружки. Морозный ветер обжигал пальцы, сдавливал дыхание. Снаряды рвались часто и совсем близко. Последний из них дохнул горячим дыханием на четырех освещенных людей — и осколки жестко и дробно застучали по разбитой машине.

— Лигатуру... Еще... Так...

Они закончили операцию. Костя сам перевязывал. Надежда Алексеевна вливала в рот больного коньяк. Шурочка вкалывала шприц с возбуждающим.

Близко, казалось над самой головой, лопнула шрапнель, и кругом тоненько засвистело.

— Выключить!

— Есть выключить!

К месту операции, подавая сигналы, подъехала новая машина.

— Явился в ваше распоряжение, товарищ военврач.

— Прекрасно, берите больного.

В машине было тепло, мягкий свет падал на лица сидевших.

Костя, нагнувшись над больным, следил за пульсом.

— Ну, командира-то мы все-таки спасли... — проговорил он с глубоким удовлетворением.

— Что это? — спросила Надежда Алексеевна, увидев на пальцах Сергеева стекающую струйками из рукава кровь.

— Вы ранены... — не то спросила, не то сообщила Шурочка.

— Да... Вероятно, в мякоть...

— Дайте руку...

Надежда Алексеевна взяла большие ножницы и приготовилась разрезать рукав шинели.

— Как же можно, — сердилась она на Сергеева. — Отчего вы молчали?

Он впервые видел ее взволнованной.

— Ничего, скоро будем на месте, — успокоил он ее. — Дайте-ка сюда еще шприц. У нашего больного сердце немного... того...

Он снова нагнулся над больным.

Машина приближалась к месту нового расположения хирургического блока.

Х

Ранение Сергеева действительно оказалось легким, и он почти не прерывал работы. Трофимов извлск крошечный осколок, застрявший в мышцах предплечья. Время было горячее, части шли вперед, санбат продвигался почти непрерывно.

— Наше дело такое, — говорил Бушуев, — чем на дворе студенее, тем работа жарче!

Командир санбата получил приказ дивизионного врача о срочном санитарном обеспечении передового батальона, ведущего бой. Обычный санитарный взвод батальона, ввиду его особого назначения, было необходимо усилить врачом, сестрами, санитарями и транспортом. Сергеев, давно мечтавший о приближении к переднему краю, с готовностью предложил свою бригаду.

Теперь он увидел поле боя и с замирающим сердцем следил, как бойцы перебежками и ползком, под свист пуль, под грохот разрывов, продвигались вперед, прямо на стук пулеметов. Люди были в белых халатах и нередко совсем сливались с яркой белизной сплошного снега. Но иногда фигуры заметно выделялись, и тогда у Кости перехватывало дыхание.

— Их ведет старший политрук Тихонов, — пояснял Косте фельдшер. — Видите, вон тот громадный дядя, самый большой на правом фланге... Вот обернулся, зовет за собой... Подтягивает... Камень-человек! Очень замечательный командир...

Пламя и черные дымы разрывов все больше и больше нарушали белизну поля. Люди продвигались вперед вслед за огненным валом, и вражеская линия становилась все темнее и темнее. Казалось, что

в густом дыму уже не могло остаться ни одного врага, но чем ближе подходили наши цепи, тем сильнее становился пушечный грохот, гуще стучали пулеметы, чаще взлетали черные фонтаны земли, пламени и дыма.

— В какой ад идут люди... — почти шепотом сказал Костя, потрясенный картиной боя.

— Точно, — ответил фельдшер, — но только там люди не очень это замечают... Там люди заняты делом...

Какие-то фигуры задерживались на снегу, падали, странно соединялись парами, потом в одиночку или сдвоенные ползли обратно.

— Раненый пошел... — деловито заметил фельдшер и быстро исчез, уже на ходу бросив: — Густо пошел, готовьтесь принимать!

Костя, волнуясь, проверил распределение санитаров-носильщиков и маршрут санитарного транспорта. Он выполнял сейчас, по существу, обязанности полкового врача и должен был прямо отсюда, минуя полковой пункт, направлять больных в свой санбат. Его обжигало горячее дыхание близкого боя. И опять, как в первые дни работы в санбате, он почувствовал в своих помощниках людей, превосходно знающих дело, уже не однажды побывавших в самых тяжелых и сложных делах. Фельдшер Гамалей, коренастый, с рыжеватыми усиками, с глазами удивительно светлыми и пристальными, внушал твердую уверенность, что на него можно во всем положиться.

— Этот знает все на свете, — убежденно сказал о нем Бушуев, как только увидел Гамалея. — Этот не подкачает.

— Вы не шутите с командиром взвода! — предупреждал еще до того Сергеева дивизионный врач. — В своем батальоне это большой человек. Он осуществляет предупредительные и противоэпидемические мероприятия, лично руководит работой ротных санитарных инструкторов, управляет выносом и вывозом раненых в бою, оказывает первую помощь больным и раненым, сортирует и эвакуирует их в тыл. А в бою сколько у него забот! С одной стороны, надо хорошо

укрыться от врага, особенно воздушного, а с другой — надо быть как можно ближе к линии огня, нужно скрыть транспорт и вместе с тем иметь его под рукой, надо следить за ходом боя и тут же, в несколько секунд, решать важный вопрос — приблизиться ли, отдалиться ли, отойти ли в сторону и, наконец, самое главное — тут же, под огнем, самому перевязывать, найти близкое укрытие, оттащить раненых, спрятать их до подхода носильщиков...

Костя вспомнил все это, когда увидел Гамалея в боевой работе.

Уже подносили первых раненых и работа на пункте разгоралась, когда неожиданно загрохотали танки и наверху, казалось над самой головой, знакомо загудели моторы.

— Ловко! — громко сказал Бушуев. — Видать, сейчас только начинается.

Фашисты упорствовали. Наше командование ввело в бой свежие силы: новые цепи подходили к ушедшим вперед, новые танки, скрежеща, шли между ними, новые заходы делали машины. Пылали земля и воздух. Туманная завеса повисла над снегом.

Приток раненых все увеличивался. Иные добирались сами, других приводили санитары, третьих приносили. Персонал работал быстро, подгоняемый кипучим ритмом боя. Но, видимо, на поле работы было еще больше. Оттуда примчался взмокший от бега санитар с запиской.

— От командира санитарного взвода, старшего военфельдшера Гамалея! — задыхаясь, отрапортовал он.

Гамалей требовал срочной высылки возможного количества людей ввиду убыли санитаров.

— Так что самим не справиться... — пояснил санитар. — Очень серьезное положение.

Костя стал отбирать людей. К нему подошла Надежда Алексеевна и, бледная, с глазами потемневшими и строгими, попросила направить ее к Гамалею.

— Но вы мне нужны здесь, — стараясь быть суровым, сказал Костя. — Вы сестра, а не санитар.

— Очень прошу вас, — совсем тихо, почти шепотом, попросила она. — Вы знаете, я сильная, я физкультурница. Никто лучше меня не вынесет раненого. Отпустите, мое место там.

Вместе с Надеждой Алексеевной пошел и Бушуев. Шурочка, дважды принимавшаяся упрашивать Костю, получив резкий отказ, бросила вдогонку Надежде Алексеевне:

— Я здесь и за вас все сделаю!

Сергеева поражала работа фельдшера, сестер, санитаров. Они перевязывали раненых на месте, под огнем, оттаскивали их под ближайший сугроб, несли на плечах к ротному пункту, а иногда прямо к батальонному, и снова бежали обратно, и снова делали свое дело. Вокруг рвались снаряды, в упор обдавало дымом, землей, мороз сковывал покрасневшие, распухшие руки, ветер колот и резал лицо, но люди упорно, со страстной убежденностью делали свое дело. Фельдшер Гамалей удивлял Костю своей какой-то особенной в этих условиях, спокойной деловитостью, какой-то будничной непостижимой хозяйственностью, словно ничто не угрожало его жизни.

Бушуев скоро вернулся, неся на руках молоденького контуженного бойца, как несут ребенка — положив его голову к себе на плечо и поддерживая тело высоко, почти на самой груди. Осторожно положив его, он быстро пошел назад. Костя, почему-то особенно волнуясь за Бушуева, не выдержал и крикнул вдогонку:

— Очень уж вы, Бушуев, заметный... Передвигайтесь ползком.

Бушуев обернулся и чуть снисходительно сказал:

— Война, товарищ военврач. От нее уберечься — дела не дожидаться!

Бушуев ушел, а раненый, которого перевязывал Костя, сказал, словно разъясняя:

— Страху в глаза гляди, не смигни, смигнешь — пропадешь...

Напряжение боя достигло предела. Шум сражения увеличивался. Толчками вздымалась, вздрагивала и падала земля, гудело в небе, пронзительно скрежетало железо.

Недалеко от землянки что-то вдруг яростно грохнуло, будто внезапно лопнула земля, и тугим фонтаном выбросило огонь, дым, сталь. На минуту вокруг потемнело, стало душно, тяжело, словно землянку вдавило глубоко в землю.

Но мрак стал рассеиваться, дым расползлся большими клочьями, стало светло.

Сергеев вдохнул струю морозного воздуха, стряхнул с шапки, с рукавов мелкую глину, вытер руки спиртом и возобновил прерванную работу.

Все чаще и чаще разрывались снаряды. В помещении стояла землистая пыль и пороховой дым, холодный воздух не позволял как следует раздевать раненых.

Костя пользовался лично им приспособленным баллончиком, которым очень тщательно производил присыпку или вдувал в рану мельчайший белоснежный порошок.

Снова появился Бушуев и внес в землянку тяжело раненого. Положив его на носилки, он подошел к Косте и сказал на ухо:

— Комиссар батальона...

Костя узнал высокого человека, который вел за собой наступающий батальон. Он был очень бледен, и темная борода его резко выделялась на фоне халата. Черные глаза с густыми бровями также были особенно заметны.

— Ранило в руку... — шепнул Бушуев. — Сам перевязал, побежал дальше. Ранило в плечо — все равно пошел дальше. Только когда хлопнуло в ногу, свалился. Перевязали, а он обратно вперед. Сердится, что не пускают, из рук вырывается.

Раненый, чуть приподнявшись на носилках, строго глядя на Костю, повелительно закричал:

— Товарищ военврач, приказываю срочно поставить меня на ноги и отпустить...

Он хотел поднять руку и указать, куда его отпустить, но страшная боль прервала его на полуслове. Голова его упала на подушку, глаза закрылись, рука скользнула с носилок и повисла.

— Болевой шок... — сказал Сергеев Шурочке. — Сделайте пантопон.

После перевязки и переливания крови старший политрук пришел в себя и тихо сказал Сергееву:

— Простите, товарищ военврач... Это я... был еще в запале. Сам теперь вижу, куда мне...

Когда его укладывали в машину, он сказал:

— Батальон прорвал линию. Видите, в прорыва идут новые части.

Он смотрел на пробежавших мимо бойцов и все пытался улыбнуться. Вместо улыбки получалась болезненная гримаса.

— Сестре вашей, — сказал он Сергееву, прощаясь, — и санитару благодарность... Одна под огнем раны перевязала... Другой полкилометра на руках нес... А во мне, сами видите, восемьдесят восемь килограммов.

Его увезли, и сейчас же вслед за ним снова пришел Бушуев и принес на плечах нового раненого. Задыхаясь от усталости, он рассказал, как с четверть часа назад на группу бойцов, которым фельдшер Гамалей оказывал за небольшим прикрытием первую помощь, напало несколько немцев, и как Гамалей один, пользуясь оставленным оружием, защищал всех раненых, пока не подоспела помощь.

— Где же он? — взволнованно спросил Костя.

— Жив-здоров, — смеялся Бушуев, — только весь вспотевший и черный. Сейчас опять перевязывает. Он, говорят, казак. А казак в беде не плачет. Казаки все атаманы. Казаки всегда приходили с Дону, да и прогоняли врагов до дому...

Сражающийся батальон шел вперед, и Костя принял решение продвигаться вслед за ним.

Но пришлось задержаться.

Выйдя отдать приказ о сборе, Костя увидел, что к пункту несли на шинели тяжелораненого. По сто ропам шли Гамалей и Надежда Алексеевна.

— Сильно тяжелый случай, товарищ военврач, — сообщил Гамалей, подбегая. — Но ежели сейчас прооперировать...

— Что с ним? — спросил Костя.

— Перевит большой сосуд. Похоже, что сонная артерия.

Случай поразил Костю. На шее, выше места,

которое Надежда Алексеевна прижимала пальцами, темнела рана, из нее струилась кровь. Обработав рану, Костя увидел большой кровотокающий сосуд.

— Отпустите, — сказал Костя. И только Надежда Алексеевна приподняла палец, как из отверстия ударила струя крови.

— Закройте... — приказал он, и кровь под нажимом пальца остановилась.

— Да, это так, — подтвердил Костя. — Сонная артерия.

Юный автоматчик лежал без движения. Лицо его, с маленькими золотистыми усиками и едва пробивающейся бородкой, было очень бледно и забрызгано кровью, глаза оставались все время закрытыми, опущенные веки темнели нехорошей синевой.

«Как быть? — напряженно подумал Костя. — Ясно, что необходимо раньше всего, сию же минуту перехватить артерию... Это остановит струю крови... Но, увы, все равно это не даст никаких шансов на выздоровление... Чтобы спасти больного, надо наложить, не теряя времени, шов на сосуд... Но как сделать эту операцию в обстановке полевого пункта, в условиях, когда нужно срочно перейти на новую площадку?..»

«Это невозможно... — сам себе отвечал Костя. — В этих условиях нельзя сделать такую операцию... Эта операция крайне сложна даже в клинической обстановке...»

«Но если не оперировать, больной наверняка погибнет через несколько минут, а если сделать операцию — он может выжить!»

Он взглянул на чистое, ставшее совсем бледным лицо юноши, на мягкие губы и крохотные золотистые усики, на руки, сжатые так, словно он продолжал держать автомат, и что-то быстро и ясно подсказало ему:

«Нельзя сделать!..»

— Надо наложить зажим... — сказал он сестре и приступил к работе. — Это все, что мы можем сделать...

Но здесь выяснилось, что молодой автоматчик обескровлен, что в таком состоянии ему операции не выдержать.

«Раненый погибает...» — отчетливо прозвучало в голове Кости.

Надо было, не теряя ни одной минуты, перелить больному достаточное количество крови.

Все для этого было приготовлено. Техника этой несложной процедуры была давно прочно усвоена всем персоналом. Она применялась почти автоматически, без задержек. Игла вкалывалась в вену, и свежая доза спасительной крови — двести, триста, пятьсот кубиков — легко втекала в обессиленное тело, и силы быстро возвращались. Но сейчас обескровленные вены в сгибе локтя словно склеились, вколоть иглу было очень трудно. Пришлось затратить много времени, пока это удалось сделать при помощи опытной, умелой Надежды Алексеевны.

Лицо больного чуть порозовело, пульс стал отчетливее, дыхание глубже. И это возвращение к жизни уже почти умершего человека влило в Костино сердце струю новой бодрости, страстной веры в свое дело, острого желания во что бы то ни стало спасти этого человека.

«Он будет жить!.. — упрямо думал Костя. — Он должен жить... Все, что можно, сделано... Операцию сделают в госпитале... Он будет жить!..»

Больного уложили на удобные носилки и внесли в машину, только что прибывшую с поста санитарного транспорта. С ним вместе, по приказу Кости, для сопровождения колонны ехали Надежда Алексеевна и Шурочка, на смену которым на пункт прибыли новые сестры.

Над дорогами, пытаясь помешать продвижению частей, идущих в прорыв, проносились группы вражеских самолетов, сбрасывались бомбы. Путь был очень опасен, и это заставило Костю распорядиться, чтобы машины двигались по лесным дорогам с большими интервалами, тщательно маскируясь.

Выкрашенный в белую краску транспорт двинулся к тылу, а батальонный пункт, во главе с Костей и Гамалеем, спешно готовился следовать за наступающими частями.

— Товарищ военврач! Чем нам таиться да идти два километра в обход, не лучше ли прямым про-

рваться? — сверкая глазами, горячо посоветовал Гамалей. — Верно?

— Верно... — ответил Костя. И они, скрипя колесами двуколок и подпрыгивая, быстро понеслись вперед по открытому полю за своим батальоном.

XI

Костя недаром опасался за транспорт, направившийся в санбат. Дорога оказалась ужасной. Воронки, сваленные деревья, сугробы задерживали продвижение. Их осторожно объезжали, медленно продвигались дальше, напряженно взглядываясь в белое пространство. И можно было бы, упорно преодолевая препятствия, к вечеру добраться до места назначения, если бы над дорогами не носились фашистские бомбардировщики, выскивающие безоружный обоз, нестроевую часть, толпу беженцев, санитарный транспорт. Отвратительно завывая, они проносились мимо, возвращались, делали круги, потом резко снижались и сбрасывали над самой целью смертоносный груз.

Вытянувшись редкой цепью, санитарные машины шли лесной дорогой вдоль плотной стены берез, густо засыпанных снегом. Минутами было удивительно тихо, будто на тысячи километров вокруг ничего не происходило. И тогда невозможно было поверить, что в тишине безлюдного, застывшего леса кто-то может остановить движение транспорта, что смерть может навсегда оставить людей здесь. Но один и тот же вражеский самолет уже несколько раз появлялся над лесной дорогой. Как хищная птица, преследующая свою жертву, он что-то высматривал и уносился дальше, чтобы вскоре вновь возвратиться.

Шофер Иванов, просунув голову в окошечко, сказал Надежде Алексеевне:

— Это разведчик... Сейчас все вынюхает, приведет самого главного... Надо в лес... Замаскироваться... Скорее...

Но уже было поздно принять это единственно правильное решение. Навстречу колонне вынесся большой темный бомбардировщик. Он пролетел над са-

мой дорогой, и сейчас же, метрах в двадцати, прорезая со свистом воздух, что-то грохнуло, от земли оторвался столб пламени, фонтаном во все стороны посыпались черные комья, лоскутья, щепы.

Больно ударившись головой и грудью, Надежда Алексеевна лежала в опрокинутой машине, прижатая чем-то тяжелым. Сквозь пробитую крышу она видела и дым и фонтаны земли. Она попыталась сдвинуть с себя тяжесть, но как ни старалась, не смогла даже шевельнуться. Только голова откидывалась чуть назад, тело же оставалось неподвижным. Она попробовала крикнуть, но никто ей не ответил.

— Водитель!.. — позвала она громче. — Иванов!

Ответа не было.

— Помогите! — звала она.

Совсем близко, у самого ее уха, вдруг кто-то едва слышно застонал. Она поняла, что это один из раненых. Но кто? Больше всего она боялась за автоматчика, раненного в шею. Всю дорогу она напряженно следила за ним.

Ее мысли прервались новым ударом. Стало глухо и темно. Надежде Алексеевне показалось, что она сейчас задохнется. Она дважды попыталась сбросить с головы подушку, но что-то прижимало ее сверху. Тогда она напрягла все силы, сделала еще движение, освободилась от тяжести и выбралась из-под груды одеял, коек, досок. Некоторое время она ничего не могла сообразить. Потом с трудом оттащила раненых в сторону от дороги, к деревьям, укрыла всем, что можно было взять из разбитой машины. Автоматчик спал, грудь его поднималась равномерно, пульс легко прощупывался, все было так, как частому назад, словно за это время ничего не случилось. И гигантский бронебойщик, ростом и шириной плеч напоминавший Бушуева, тоже был жив. Рана на груди не кровоточила, повязка на плече держалась крепко, и сейчас он, впервые после ранения, пришел в себя.

Из одиннадцати машин только три оказались нетронутыми, остальные, изломанные, с исковерканными моторами, были разбросаны по всей дороге, преграждая путь другим. Среди обломков, лоскутьев,

дымящегося пепла лежали тела убитых, рядом стонали раненые, едва двигались оглушенные, контуженные санитары и водители.

Шурочка была невредима. Только старая ее контузия внезапно резко сказала. Голова и руки мелко дрожали. Но, как и Надежда Алексеевна, Шурочка с другими оттаскивала в лес раненых, укладывала их на полушубки и шинели, отогревала водкой, впрыскивала возбуждающее.

Знакомый гул напомнил о смерти, только что пронесшейся здесь и готовой снова упасть с высоты на горстку беспомощных людей.

Надежда Алексеевна распорядилась, чтобы одна из машин пробиралась вперед и сообщила о случившемся.

Раненых пришлось вновь переносить еще дальше от дороги. «Чем глубже в лес, — думала Надежда Алексеевна, — тем безопаснее...» Раненых укладывали одиночками в воронках, в ямах, за снежными наметами. Сверх теплых вещей их прикрывали простынями, и они сливались с белизной окружающего снега.

Черная машина вновь показалась над дорогой. Она опять низко спустилась и, как хищник, потерявший след своей жертвы, жадно выискивала ее.

— Не к добру это... — сказала Надежде Алексеевне санитарка Андреева. — Не к добру это, сестрица.

Андреева была одной из самых опытных санитарок. Она славилась выносливостью и упорством. Она всегда шла в бой вместе с красноармейцами, ползла с ними рядом, перевязывала под огнем и, сдав раненого или спрятав его в укрытие, снова возвращалась в цепь. За шесть месяцев она вынесла из огня сорок девять раненых бойцов вместе с их оружием. Среди раненых были два пулеметчика, и, так как им не было смены, она притащила с собой и их пулеметы. В короткое время Андреева получила два ордена — Красной Звезды и Боевого Красного Знамени и медаль «За отвагу». Она была трижды ранена и трижды, едва подлечившись, возвращалась в свою часть. Сейчас она сидела на пеньке против Надежды Алексеев-

ны, как всегда солидная, крепкая, словно с ней ничего решительно не случилось, и давала сестре советы.

— Вернется он, — низким голосом повторяла Андреева, — как пить дать, вернется...

Надежда Алексеевна не сомневалась, что фашист вернется, но не знала, что можно еще предпринять. Все, что надо было сделать для укрытия и маскировки, было сделано.

Поздно вечером, накормив раненых, собрались вместе и, сидя на пнях, вспоминали близких, говорили о прошлом. Андреева, круглая сирота, вспоминала о своей работе в колхозе, называла коров по именам, и слушатели на время забывали, что речь идет не о людях.

— А Машка страх как любит сахар... — вспоминала она. — Дашь ей кусочек, а она потом лижет тебе руку и все ходит за тобой. Смотрит жалостливыми буркалами и мычит, просит еще. А дочка ее, рыженькая Катька, вся в нее, и тоже сладенькое любит. Я ее телочкой к себе в избу брала, чаем с блюдечка поила, конфетку давала, так она за мной по пятам, как козочка, ходила. Убей меня гром, правда... Наверно, теперь уж большая выросла.

Андреева задумалась, потом прибавила:

— Я ей написала, да она, дура, не отвечает. Видно, совсем старая стала..

— Кому ты написала? — спросил тяжело раненый в руку шофер Иванов. — Катьке?

— Да не Катьке, балда стоеросовая, а старухе доярке, которая меня сменила.

— Да ты ж сама так сказала, будто Катьке.

Шурочка отрывисто, чуть-чуть шепелявя, рассказывала о матери. И все получалось так, будто самой Шурочки не было в природе, а была только ее мать, и работа матери, и замужество матери, и ее невзгоды. А Шурочка только заботилась обо всех — и о сестрах, и о братьях, о племянниках, и опять выходило, что жили на свете только они, а сама Шурочка все время что-то для них делала, из-за них могла заниматься учебой только по ночам, из-за них не окончила десятилетки, из-за них пошла не в вуз, а в

техникум. И только с началом войны она ни с кем не посчиталась и пошла на курсы медицинских сестер, а потом, закончив их, уехала на фронт.

— Выходит, ты и в самом деле блажененькая... — заметила Андреева. — Такая святая, все для других, а себе ничего...

— Нет, — спокойно ответила Шурочка. — Я после войны о себе подумаю... Вот с фронта вернусь, подготовлюсь на медицинский, буду на врача учиться...

— Опять по ночам уроки готовить станешь?

— По ночам лучше, спокойнее.

Надежда Алексеевна молча слушала, молча обходила раненых и так же молча возвращалась, садилась на свой пенек и сидела, не произнося ни слова. Но Андреева настойчиво требовала от нее рассказать о себе.

— Расскажи, Надежда Алексеевна, что-нибудь. Мы вот говорим, ты одна молчишь.

— Доктор Сергеев называет ее великой молчалиницей, — сказала Шурочка.

Надежда Алексеевна не проронила ни слова. Но когда она снова ушла в обход, Шурочка быстро, чтобы успеть рассказать до ее возвращения, сообщила все, что знала о ней.

Как только началась война и мужа ее отправили в часть, Надежда Алексеевна заявила у себя в учреждении — она служила лаборанткой в Бактериологическом институте, — что и она тоже уходит на фронт. Сдала детей в интернат и через два дня уехала.

Надежда Алексеевна вернулась, и Шурочка умолкла.

Где-то далеко небо окрасилось туманным заревом. Мягкие розовые пятна легли на рыхлую белизну деревьев, на лица людей.

Андреева стояла против Надежды Алексеевны и вглядывалась в ее лицо, слегка освещенное заревом. Осторожно обняв ее забинтованной рукой, она говорила:

— Красавица ты моя... Глаза у тебя как у божьей матери, убей меня гром!.. Или как у моей Машки...

Большие и строгие, а добрые. Будь я мужиком, в ногах бы твоих валялась. Убей меня гром!

Она обняла ее и поцеловала в губы.

— Красавица моя ненаглядная...

— Спасибо, милая. Только за что вы меня так... — проговорила удивленная ее ласковостью Надежда Алексеевна.

Было очень тихо. Неслышно падали снежинки.

Внезапно послышался вой мотора. Он то приближался, то удалялся, то снова слышался почти над самой головой.

И вдруг над поляной вспыхнул режущий глаза серебристо-зеленоватый свет и в воздухе повис сверкающий зеленый шар. На несколько мгновений все стало видно, как в ясный день. Деревья, люди, снежные укрытия предстали выпукло, как в стереоскопе, и снежинки засверкали золотыми звездочками. И в эту сказочную картину, так неожиданно представшую глазам, так же неожиданно ворвался, падая сверху, тупой, равномерный стук, и сразу же оборвался, и через миг вновь упал на снежную землю, погасив собой короткий зеленый свет.

В темноте слышались крики.

— Все, кто может, сюда!.. — звала Надежда Алексеевна.

Она приказала осмотреть раненых. Сама наклонилась над автоматчиком, под грудой одеял нашла его руку, нащупала пульс. Он, как тоненькая ниточка, едва-едва бился и вдруг остановился совсем. Карманным фонариком осветив лицо раненого, Надежда Алексеевна увидела густую струю крови, стекавшую с высокого лба. Раскрыв ему грудь, чтобы послушать сердце, она увидела над самым соском вторую рану. Кровь залила тело и белье умершего. Надежда Алексеевна прикрыла его лицо простыней и побежала к воронке, в которой лежал бронебойщик. Он был цел, попросил водки, жадно отпил глоток и тихо сказал:

— Спасибо, сестрица... Поди и сама укройся... Он опять бить будет.

— Тебя надо оттащить подальше в лес. Сейчас я тебя волоком...

Среди раненых было много пострадавших вторично, а шофер Иванов, который днем был тяжело ранен в левую руку и только что добродушно подшучивал над письмом Андреевой к телке Катьке, лежал неподвижно на снегу. В правой руке его был зажат серый коленкорový ящик с медикаментами, украшенный на стенках и крышке знаками Красного Креста.

Было темно. Работать становилось трудно. Пользоваться карманными фонариками было небезопасно. И все же все работали — переносили раненых, перевязывали, отогревали их.

Бронебойщик был прав. Опять повис зеленый блестящий шар над ночным лесом, опять залил поляну сказочным серебристо-зеленым светом. Застучал пулемет. Надежда Алексеевна, тащившая волоком на одеяле раненого, упала и, как ни старалась, не могла подняться.

Снова стало темно. Бронебойщик, не видя сестры, тихо ее окликнул:

— Сестричка!..

Ответа не было.

Раненый повернул голову и услышал рядом kloчущее дыхание.

— Помогите!.. — напрягая голос, хрипло крикнул он. — Помогите сестричке!

Засветив фонарик, Шурочка подползла, узнала Надежду Алексеевну, в испуге наклонилась над ней.

— Что с вами?

— Ничего... — шепотом сказала Надежда Алексеевна. — Умираю...

— Нет, нет! — в испуге говорила Шурочка. — Вы ранены?

— У сердца... Кажется, легкое...

Она знала, что умирает, и хотела только сказать последние несколько слов.

— Послушай... Шурочка... Если увидишь моих детей... поцелуй... скажи... кто убил их мать...

— Вы не умрете! Нет, нет! Дайте я помогу!

Шурочка старалась расстегнуть залитый кровью полушубок.

— Всем товарищам... привет... Доктору Сергееву...

Она слабо прикоснулась холодными губами к склоненному лицу Шурочки и умолкла.

— Нет! Нет! — плача твердила Шурочка. — Нет, вы не умрете, я не могу без вас!..

Но Надежда Алексеевна уже не шевелилась. Шурочка осветила ее лицо фонариком и увидела большие глаза, неподвижно глядящие в небо, маленький полураскрытый рот, полоску белых зубов. Она прижалась щекой к мертвому лицу и зарыдала.

Вдали слышались автомобильные сигналы. Кто-то побежал навстречу, громко закричал:

— Сюда, товарищи, сюда!!!

XII

Санбат занял то самое место, которое всего несколько дней назад занимал немецкий полевой госпиталь. Госпиталь снялся, видимо, неожиданно, — все указывало на поспешное бегство.

— Сурьезно драпали, — лаконично определил Бушуев. — Обдало их жаром-варом.

Большие помещения кирпичного трехэтажного здания, расположенного на окраине полусгоревшего города, были заставлены койками, операционными столами, шкафами с инструментарием, чистым бельем, запасом перевязочных средств. В аптеке все осталось нетронутым. Даже нераспакованные ящики были сложены в порядке и заполняли несколько флигелей в большом дворе, забитом машинами, двуколками, санями.

— Хороший госпиталь! — хвалил Бушуев. — Стерильный! Видать, аккуратные были хозяева, дай им бог смерти и вечных мучений в геенне огненной!

Костя с любопытством рассматривал немецкие патентованные средства — пакеты, склянки, ампулы. Он торопливо вскрывал их, внимательно прочитывал надписи и пояснения. И все эти тысячи коробок, банок, бутылок, тюбиков, таких гладеньких, таких аккуратных, имели даты, говорившие о давности заготовок. Костя вдруг особенно ясно увидел, что вся

эта воснно-полевая фармацевтическая кухня заготавливалась издавна и имела в виду только войну.

Он нашел записки обер-лейтенанта Ганса Штрассера. «Мы с Иоганном, — читал Костя чистенько выведенные строчки, — взяли на себя задачу: застрелить в России по триста человек, все равно — евреев, русских, поляков или украинцев. Так приказал фюрер! Тогда мы уничтожим в короткий срок все население, и русское богатство перейдет к нам».

Костя с омерзением швырнул на пол аккуратнo исписанную тетрадь.

Отдохнуть ему так и не пришлось — поступил приказ: срочно отправиться с комиссией штаба дивизии для осмотра расстрелянных фашистами мирных жителей.

Костя уже видел за месяцы войны много такого, от чего даже привычный ко всему фронтовик приходил в ярость. Он видел сожженные русские города и села, уничтоженные по приказу методично, тщательно, так, что не оставалось даже подвала, в котором мог бы жить человек; он видел пепелища фруктовых садов, в которых от тысяч яблонь, груш, вишневых деревьев остались только обуглившиеся пеньки; он видел огромные ямы и в них сотни и тысячи раздетых, скорчившихся людей, расстрелянных в упор, убитых прикладами, отравленных ядами, задушенных петлею, — взрослых, подростков и ребят с куклою или мячиком в тоненьких, сломанных ручонках; он рассматривал похожие на скелеты тела бойцов и офицеров, носившие следы изощренных побоев и пыток. Но то, что Косте пришлось увидеть сегодня, превзошло все, что знал до сих пор.

Фашисты, поспешно отступая, гнали впереди себя четыреста истерзанных женщин, стариков, детей. Враги уже чувствовали дыхание быстро надвигающейся Красной Армии. А эти четыреста, ожидая спасения, шли слишком медленно. Они не хотели идти из своей страны в немецкую тюрьму. И тогда немецкое командование приказало всех их без исключения — от дряхлых стариков до грудных младенцев — расстрелять.

— Вот, товарищ военврач, что делают! — сказал

Косте высокий рябой автоматчик, сжав автомат так, что пальцы побелели, словно из них выжали всю кровь.

Костя ничего не ответил, он не мог произнести ни слова. Его охватила тягостная, не дающая дышать тоска. Он стоял рядом с Гамалеем, с автоматчиком, с Бушуевым и еще с каким-то молодым командиром танка со свежей повязкой на руке и голове. Первым от них лежал иссохший старик с желтым лицом, на котором застыла узкая струйка крови. Старик смотрел на них в упор, сурово, повелительно.

«О чем он?..» — невольно спрашивал себя Костя.

Они отошли и увидели очень молоденькую, полунагую девушку, почти ребенка, с руками, странно протянутыми вперед, будто она тщетно призывала кого-то на помощь и никто на зов не откликнулся. Рядом с девушкой, лицом вниз, лежала женщина с рассыпавшимися волосами и что-то бережно прикрывала собой. Бушуев приподнял женщину, и все увидели крохотного белоголового ребенка. Мать прижимала его обеими руками к своей груди. И оба они, и мать и ребенок, были пробиты насквозь многими пулями, кровь на их телах и на белье смешалась.

— Не то дело делаем! — сказал Костя сквозь зубы Бушуеву. — Пусть бы женщины врачевали, а мы должны сражаться.

— Зря огорчаетесь, — тихо ответил Бушуев. — Сражаемся не хуже других. Только оружие наше не похоже на автомат или, скажем, на пушку.

— Вот именно. Это меня и мучает, — резко бросил Костя. — Я бы хотел у орудия стоять... Стрелять день и ночь! Лично, в качестве рядового бойца принимать участие в истребительной войне, посылать снаряд и думать: «Вы хотели истребительную войну — нате, получайте!..»

Поздно вечером Костя вернулся в помещение бывшего немецкого госпиталя. Санбат уже прибыл на новое место, расположился и приступил к работе. Сергеева радостно встретили и комиссар Фролов, и толстый, похожий на повара, улыбающийся командир санбата, и совсем потемневший, но бодрый и энергичный Соколов, и хмурый, всегда одинаковый,

трудолюбивый, непостижимо скромный и незаметный Трофимов. Приветствовали Костю и все другие товарищи. И только маленькая Шурочка странно обходила его и, лишь издали взглянув, отворачивалась.

— Как доехали? — спросил он маленькую сестру, встретив ее у входа в перевязочную.

— Разрешите отнести... — резко побледнев, попросила она и чуть приподняла большой пакет ваты. — Я сейчас.

Шурочка, действительно, через минуту вернулась. Еще более бледная, чем раньше, с глазами темными и ввалившимися, она молча стояла перед Костей, словно ожидая повторения его вопроса.

— Как доехали? — переспросил он.

— Нас бомбили.

— И что же?

— Есть убитые и раненые.

— Сколько?

— Убитых трое, раненых семеро.

— Как персонал?

— Есть пострадавшие.

— Кто именно?

Шурочка замолчала, и Костя, уже догадываясь о чем-то тяжелом, беспокойно и раздраженно переспросил:

— Кто же?

— Водитель Иванов...

— Еще кто?

— Забыла фамилию. Вторичный...

— Где Надежда Алексеевна?

Девушка взглянула в строгие глаза Кости испуганно и смутенно, будто за гибель старшей подруги несла ответ она, Шурочка.

— Почему вы не отвечаете? — снова переспросил Костя. — Где Надежда Алексеевна?

— Она тяжело ранена... — так и не сумела сказать правды совсем растерявшаяся Шурочка. И, не выдержав, закрыла лицо руками, по-детски жалостливо заплакала.

— Где она? — уже не ожидая ничего хорошего, спросил Костя.

— Она... тяжело... очень тяжело ранена...

И, ничего больше не сказав, выбежала за дверь.

Костя не пошел за ней. Его больше не томила ужасная неизвестность. Он уже не сомневался в том, что случилось. И ему никого не хотелось расспрашивать о несчастье. С минуту он постоял в перевязочной, потом, разбитый, подавленный, пошел в комнату для врачей и лег на койку.

Он закрыл глаза и ясно увидел высокую фигуру Надежды Алексеевны, ее чистое лицо, мягкие, правильные черты и удивительно спокойный взгляд больших, светлых глаз. Он явственно услышал ее низкий, грудной голос, ее медлительную речь. Эта речь и этот взгляд вносили покой в самые тревожные, трагические минуты тяжелых отступлений, почти безнадежных операций. Костя вспоминал, как она помогала ему в первые дни его работы в санбате, как хорошо ассистировала, сколько бодрости вливала в минуты сомнений, как чудесно делала свое дело, как спасала, казалось, умирающих больных: вот, например, этого автоматчика с перебитой сонной артерией. Как превосходно она доставила его с поля боя, как умело помогала обработать рану и наложить зажим.

Да, что с ним?

Надо сейчас же пойти узнать.

Но Костя не пошел узнать об автоматчике, боясь, что заодно услышит ужасную правду о Надежде Алексеевне.

Он внезапно уснул.

Он спал глубоким и вместе с тем поверхностным сном, при котором слышишь все, что делается вокруг, и нет сил открыть глаза, сказать слово, пошевелиться. Он не просыпался несколько часов, лежа в полушубке, в валенках, в рукавицах. А когда проснулся, увидел у койки большую фигуру Бушуева, тревожно вглядывавшегося в его лицо.

— Здоровы, товарищ военврач?

— А что?

— Спали очень нервно. Я уж и то решил посидеть, пока не проснетесь.

— Спасибо. Вы бы сами отдохнули...

— Вот порем, тогда и отдохнем. В могилке — что на перинке.

Костя промолчал, но Бушуев продолжал:

— Вот и Надежда Алексеевна наша день-деньской и ночь напролет работала, отдыха совсем не ведала. А сейчас в сырой могилке — вечный покой...

Костя резко поднялся:

— Так это правда?.. Она умерла?..

— А как же? — удивился Бушуев. — Разве вы не знаете?

Костя вышел в темноту большого двора, потом на улицу и долго, до самой смены, бродил вокруг обширных помещений затихшего санбата.

XIII

Утром в санбат прибыл главный хирург армии, военврач первого ранга Михайлов.

Костя неожиданно встретил его во дворе, при выходе из операционной, и был поражен его цветущим видом. Крупный, веселый, в белом полушубке, в белой шапке-ушанке, в высоких валенках, он казался богатырем, древним русским витязем, только что слезшим с такого же сказочного коня. Не хватало только густой бороды и усов.

Увидев Костю, он широко шагнул навстречу:

— Костя! Константин Михайлович! Вы ли это?

Он протянул к нему руки, крепко, до боли, сжал его кисти и, вглядываясь в лицо, смеясь, громко говорил:

— Каким вы стали молодцом! Возмужали, загорели! Прямо — красавец мужчина! Вот бы вас сейчас Елена Никитична увидела.

Костя смущенно молчал.

— Мне поручено обнять вас и поцеловать! — шумно сообщал Михайлов. — Позвольте выполнить поручение.

Он снова схватил Костю обеими руками и по-русски тоекратно облобызал.

— Ну, вот и похристосовались. Вам, конечно, было бы приятнее получить поцелуй непосредственно от корреспондентки, но что же делать. Надо подождать немного...

Он привез Косте несколько писем от Лены, сообщил ему, что она получила много его, Костиных, писем, что он видел Лену всего несколько дней назад, что она жива, здорова, стала еще красивее, очень много работает и не очень по нем скучает, так как скучать ей просто-напросто некогда. При этом он громко смеялся, хлопал Костю по спине, потом на минутку становился серьезным и говорил, что «если без шуток», то Лена очень и очень по нем скучает, даже тоскует.

Он отдал Косте письмо отца и несколько строк матери, но Костя не мог разобрать даты, так как странным образом именно на цифре растеклись чернила.

Потом Михайлов пригласил Костю позавтракать с ним, и, пока Костя, волнуясь, тревожно читал письма, санитар выносил из машины удивительный чемодан Михайлова и какую-то сумку, и Михайлов, сидя на Костиной койке, быстро доставал аккуратные пакеты, тарелочки, стаканы, ножи, вилки и, ловко расставляя все это на маленьком столике, открывал консервы, нарезал мясо, наливал вино и вкусно приготавливал:

— Сейчас мы с вами, дорогой друг, закусим. Сейчас мы с вами славно позавтракаем.

И когда Костя, весь еще оставаясь во власти писем, уносился далеко-далеко, домой, и все спрашивал о Лене, о родителях, о Ленинграде, Михайлов искренне сердился и говорил:

— Это безобразие! Раньше всего — надо есть! Вы ведь еще не завтракали, не так ли? Как же можно так вяло кушать? Мы с вами достаточно работаем, чтобы позволить себе роскошь сытно позавтракать! И мы с вами, как хирурги, достаточно копошимся в чужом дерьме, гное, крови, чтобы разрешить себе, при минутном отдыхе, маленькую роскошь выпить рюмку крепкого вина, выкурить хорошую папиросу или обнять красивую женщину. Не так ли?

Костю покорило от его последних слов. Что-то старое, нехорошее шевельнулось в груди против Михайлова, но тот не давал ему думать.

— Кстати, я сейчас заметил у вас изумительную девушку... Вот, которая вышла вместе с вами из операционной... Какой профиль, какие глаза! А ножки! Батюшки мои, эдакие ножки не в каждом санбате встретишь. Прекрасная девушка!

Он ел, как когда-то в доме Никиты Петровича, с удивительным аппетитом, вызывая желание есть и у далеко унесшегося мыслями Кости.

«Он делает все хорошо... — невольно вспоминал Костя слова Беляева о Михайлове. — И работает прекрасно, и ест, и любит...»

Закончив завтрак, Михайлов долил оба бокала, откинулся на спинку стула.

— Хорошо-о-о!.. — сказал он, выпуская кольцами плотный белый дым и отпивая глоток за глотком. — Очень хорошо!..

Докурив папиросу и допив вино, Михайлов сразу поднялся.

— Теперь пойдем.

Совершенно так же, как его шеф. Никита Петрович, он несколько раз обошел все уголки санбата, заглянул даже в стерилизационную, в бельевую, освидетельствовал транспорт, опрашивал больных, беседовал с персоналом, а потом присутствовал в течение трех часов на операциях.

Несмотря на свою внешнюю тяжеловатость, он двигался быстро, внезапно останавливался у полок, умелым движением выхватывал кипу белья, рассматривал его, шел дальше. В палате он вдруг нагибался, вытаскивал из-под койки подкладное судно, со всех сторон оглядывал его, делал замечание, снова нагибался, доставал какую-нибудь случайно завалившуюся вещь, накладывал на сестру взыскание и, красный от резких движений, шел дальше. В операционной проводил пальцем по стенам, шкафчикам, потом показывал старшей сестре кончик пальца, покрытый едва заметным слоем пыли, снова, нарочито элементарно, разъяснял сестре значение клинической чистоты даже в полевых условиях и снова накладывал на нее строгое взыскание. Но все, что он делал, требовал, говорил, неизменно вызывало у всех, именно своей строгостью, невольное уважение. И Костя чув-

ствовал это особенно остро. Его восхищала компетентность Михайлова, его энергия, глубочайшая преданность своему делу, проявлявшаяся в каждом его движении, указании, совете.

Операции шли гладко. Ни одного замечания Михайлов не сделал. Даже сложная ампутация бедра, выпавшая на долю Трофимова, несколько смутившегося под пристальным взглядом Михайлова и допустившего вначале какой-то промах, прошла превосходно, и Михайлов это отметил.

— Очень хорошо! — громко похвалил он. — Очень хорошо. Великолепно! Надо сказать, что молодые врачи, ставшие на фронте хирургами, здорово преуспевают! Молодцы, молодцы!

После операции Михайлов говорил о хирургии как об искусстве, призывал к самоусовершенствованию и беспрестанной работе над собой.

— Если в медицине имеется значительный элемент искусства, — говорил он чрезвычайно убежденно, — то в хирургии этот элемент занимает исключительное место. Об этом очень часто любил говорить покойный Оппель. Об этом говорили все замечательные хирурги. Производство операций, производство перевязок требует не только знаний, не только умения, но и быстроты, отчетливости, а главное, красоты. Да, да, именно — красоты. Одну и ту же операцию или перевязку можно сделать и грубо, и мягко, а в переводе на язык больного это значит — очень больно или совсем безболезненно. Одну и ту же операцию можно сделать топорно, «по-мясницки», и можно сделать артистично, по-хирургически. Недаром же больные так чутко отличают руку мягкую от руки тяжелой. Но это зависит не только от врожденного дара, от таланта — от индивидуальных особенностей хирурга, — это в огромной мере зависит и от работы над собой, от усовершенствования, — он подчеркнуто раздельно произнес это слово. — Я знаю многих врачей и сестер, которые именно вниманием к своему делу, работой, упражнениями достигали в операциях и перевязках большой мягкости, артистичности, как добиваются пианисты мягкого туше. Наши больные очень терпеливы и выносливы, но почему

нам не свести их страдания до минимума? Не так ли? Это ведь наша первая, прямая обязанность.

И это какое-то особенное, подлинно человеческое отношение Михайлова к больному, его горение на работе в несколько часов растопили сердце Кости, словно Костя сейчас, совсем неожиданно, встретил нового, прекрасного человека.

К концу своего пребывания в санбате Михайлов приберег сюрприз: он сообщил, пока еще в частной беседе, что все врачи санбата, а также часть среднего и низшего персонала награждены. Костя, как и остальные врачи, получил орден Красной Звезды, но за операцию на снегу под обстрелом был вторично представлен к награде.

Михайлов всех поздравил, каждому крепко пожал руку и сказал несколько дружеских слов, а Костю обнял и поцеловал.

— Вы настоящий герой, — говорил он весело. — Не ожидал, признаться, я этого от вас. Вы — Бова Королевич. Вот погодите, я все расскажу Елене Никитичне. И про храбрость, и про научные труды.

Костя вдруг всем нутром ощутил, что он действительно военный, что он действительно сражается, иначе ведь он не получил бы боевых орденов! И это сознание наполнило его глубочайшим удовлетворением, гордостью, тем особенным чувством, которое может испытать человек, получивший высокую награду за дело, идущее из тайников самых сокровенных его мыслей. И то, что о его работе знают, следят за ней, ценят его, — волновало и трогало.

Но внешне Костя выглядел, как всегда, спокойно, даже немного сурово, и только глаза выражали озабоченность. Его томило сожаление, что Надежды Алексеевны больше нет, что некому вручить ее Красную Звезду.

— Вот, дорогой Бушуев, — грустно сказал он уральцу, — мы с вами получили ордена, а бедная наша Надежда Алексеевна не дождалась...

— Очень мне ее жалко, — так же печально отвечал Бушуев. — Так жалко, что и сказать невозможно. Будто родную дочь или сестру потеряли. Ну, да что ж делать, все под пулей ходим.

Михайлов, несмотря на густую темноту раннего зимнего вечера, вскоре уехал.

А уже на рассвете в санбат пришел его приказ о срочной посылке хирургической бригады на помощь соседнему санбату, пострадавшему от артиллерийского обстрела.

Выехали Костя, Трофимов, Шурочка, Бушуев, еще несколько сестер и санитаров.

По дороге, пропуская встречный транспорт, бригада остановилась, и Костя узнал от знакомого врача, сопровождающего раненых, что санбат, несмотря на быстроту передвижки и умелое рассредоточение, подвергся сильному обстрелу и потерял много людей. Михайлов, прибывший в разгар обстрела, лично руководит санбатом.

— И, кроме того, эдак, знаете, залихватски сбросил с себя полушубок, надел халат, — восторженно рассказывал молодой врач, — и оперирует. И как оперирует! Надо своими глазами видеть, чтобы оценить!

Приближаясь к месту назначения, Костя издали увидел круглые дымки, услышал частые разрывы больших и малых снарядов. Они ложились где-то вблизи расположения санбата, указанного у Кости на карте, а может быть, попадали и в самый санбат.

— Здесь не иначе как сволочь какая-нибудь сигнализирует специально о госпитале, — вглядываясь вдаль, говорил Бушуев. — Подумать только: три раза передвигались в разные стороны, а он обратно нащупывает! А далече отсюда уходить нельзя! Вперед надо продвигаться!

Бушуев был прав. Наши части, разбивая и отбрасывая врага, шли вперед, и санбат, в который сейчас прибыл Костя, должен был неотступно идти за своей дивизией. Обстрел помешал нормальной работе санбата, и он под огнем, не прекращая деятельности, срочно перешел на запасную площадку. Но едва он расположился, как снова попал под огонь, потерял часть персонала и принужден был в третий раз переменить место.

Теперь он стоял в густом лесу, укрывшись за высокими снежными наметами. Белые палатки сортировочной, стерилизационной, хирургической и других от-

делений сливались с бесконечной массой снега, и, казалось, здесь их никто не обнаружит и санбат доведет свою работу до конца. Но в ту минуту, когда Костя со своей бригадой подъезжал к санбату, снаряды, ложившиеся до сих пор то слева, то справа, делавшие то недолет, то перелет, вдруг, точно нащупав цель, полетели один за другим прямо в середину расположения. И Костя, пробираясь с людьми узенькой тропинкой между деревьями, увидел знакомую картину — взлетавшие над лесом черные облака дыма, какие-то странные предметы, похожие на протезы, большие белые полотнища, словно гигантские хлопья снега, кружащиеся в воздухе и медленно плывущие вниз.

— Я ж говорил, — гневно повторил Бушуев, — видите, не в бровь, а в глаз. Кто-то показывает...

И он оборачивался во все стороны, вглядывался, точно был глубоко убежден, что виновник здесь близко.

Они быстро выбрались к площадке и сразу же увидели разорванные палатки, опрокинутые, разбитые столы и койки, сваленные деревья, бегущих в разные стороны людей. Очень близко шумели заведенные машины, испуганно ржали лошади. Одна из них, оторвавшись от упряжки, пронеслась мимо Кости, и окровавленные внутренности, выпадая из раны, волочились по снегу, оставляя ярко-красную полосу. Большой, расширенный от ужаса глаз с огненными прожилками смотрел с недоумением и укоризной.

Перевязанные раненые, санитары с носилками, узкие двуколки, машины уходили в глубину леса, и только люди в белых халатах оставались на местах — в палатках, возле них, просто на снегу за высокими сугробами, в наскоро вырытых землянках — и продолжали делать свое дело. И транспорт так же деловито подвозил с передовой новых раненых. Сортировочная их принимала, распределяла, направляла к соответствующей палатке, их перевязывали или оперировали и эвакуировали в тыл.

Работа шла безостановочно, только следы разрушений говорили о недавно упавших сюда снарядах.

— Как пройти к командиру? — спросил Костя встречного санитаря.

— Командир приказал долго жить... — ответил тот просто. — Пройдите вон в ту палатку, там хирург армии Михайлов.

Костя быстро прошел к Михайлову и, накинув на себя халат, еще с порога, вытянувшись, доложил:

— Военврач третьего ранга Сергеев с бригадой явился в ваше распоряжение.

Михайлов, в халате, слегка залитом кровью, с марлевой маской, резко оттеняющей его большие темные глаза, с косынкой на голове, повязанной сзади узлом, как это делают в парикмахерских, чуть повернулся к Косте. Правая рука его в тонкой желтой перчатке была характерно отведена в сторону и приподнята кверху. В ней блеснул большой резекционный нож.

— Сколько врачей? — спросил он глухо, словно сердясь на кого-то.

— Двое.

— Сестры опытные?

— Точно.

— Разбейтесь на два стола.

— Слушаю.

Два операционных стола рядом со столом Михайлова были свободны. Они, видимо, совсем недавно потеряли своих врачей, может быть весь персонал, и стояли совсем сиротливо, хотя их уже покрыли свежими простынями, готовя к новым операциям. Над головой в крыше палатки зияли лохматые осколочные дыры, и снег свободно падал сквозь них на столы. Санитарка, став на скамью, старалась заклеить дыры лоскутками липкого пластыря.

Обстрел, недавно прекратившийся, начался снова. Михайлов, Трофимов, Костя и еще кто-то из врачей продолжали работать. К Михайлову поступали самые тяжелые. О нем все говорили восторженно, сообщали подробности его удивительных операций. Молодые врачи при первой возможности, хоть на минутку, отрывались от своих столов и прибегали взглянуть на искусство большого хирурга.

Привезли двух командиров, раненных в грудь. Оба были поражены в сердце.

Михайлов, осмотрев одного из них, крикнул:

— Сергеев и Трофимов, когда закончите, прошу ко мне.

Ранение было крайне опасным, и Михайлов предложил Косте ассистировать, а Трофимову стать на место наркотизатора. Михайлов обнаружил у больного входное пулевое ранение на левом желудочке сердца. Костя видел, как Михайлов неторопливыми, ровными движениями зашил эту рану. Выходного отверстия он не нашел. Его не было: пуля оставалась в сердце. Он стал искать ее, прощупывая концами пальцев, и нашел в правом желудочке. Каким-то очень ловким, казалось ему одному свойственным движением Михайлов зажал пулю через мышцы сердца пальцами, легкими прикосновениями ножа вскрыл его, кончиками пинцета захватил пулю, вытащил ее, и так же отчетливо, методично, как первый разрез, зашил второй.

Все было сделано с таким умением, с таким мастерством и так, казалось, просто, как будто Михайлов производил подобные операции ежедневно.

«Это та простота, — думал ошеломленный Костя, зашивая наружный шов, — о которой так убедительно говорил сам Михайлов. Но это не только талант, не только ум, это еще и огромные знания, длительная, упорная работа...»

— Следующего! — крикнул Михайлов.

Следующий уже был приготовлен на соседнем столе.

Чтобы дойти до сердца раненого, Михайлову пришлось вскрыть левую полость плевры. Легкое больного сжалось. Михайлов теми же проворными и отчетливыми движениями вскрыл околосердечную сумку. В ней оказалось большое количество крови. Рана протянулась вдоль всей задней поверхности сердца, кровь лилась широкой струей. Михайлов пытался зашить рану, но сделать это было крайне трудно, почти невозможно. Во время зашивания кровь била из всей длины отверстия. Больной стал совсем белым, дыхания не было слышно.

— Пульс резко слабеет... — сказал Трофимов.

Косте стало ясно, что больной погибнет от кровотечения прежде, чем Михайлов успеет зашить рану. Видел это, конечно, и сам Михайлов. Он на мгновение остановился, словно обдумывая, что делать дальше. И сразу же, точно решившись на отчаянный шаг, зажал ладонью левой руки рану сердца, а самое сердце прижал к груди. Кровотечение остановилось, но в тот же миг остановилось и само сердце. Больной не дышал. Зрачки стали огромными.

«Конец...» — подумал Костя.

Наступила смерть. Теперь, конечно, можно было беспрепятственно зашить рану, кровотечения не было. Но зачем? Человек был мертв, сердце больше не работало. Однако Михайлов продолжал операцию, словно ничего не случилось. Зашив рану, он отбросил иглу и начал массировать сердце. Костя и Трофимов стали делать искусственное дыхание. Шурочка, при помощи Бушуева, влила в вену консервированную кровь.

— Еще... Еще... Еще... — властно повторял красный, вспотевший Михайлов, сверкая горящими глазами над белой маской и продолжая массировать зашитое сердце.

И «чудо» свершилось. Мертвый стал оживать. На глазах персонала обнаженное сердце стало снова сокращаться, делая мягкие ритмичные движения, больной тихо вдыхал и выдыхал, зрачки сузились, губы заметно порозовели, зашевелились.

Костю поразила не только блестяще проведенная операция. Захватила давно волнующая его мысль. То, что он увидел сейчас, венчало проблему жизни тканей, оторванных от своей родной почвы, лишенных кровообращения, исключенных из общей жизни организма. То, что он видел сейчас, вновь реально подтверждало, что смерть не наступает сразу во всех органах и тканях, что продолговатый мозг действительно обладает выносливостью при временном прекращении кровообращения. Значит, если некоторые органы переживают своего хозяина, если они могут жить, хотя бы короткое время, самостоятельно, то врач может использовать это время для хирургиче-

ской, лекарственной, физической помощи для возвращения жизни умершему человеку тем или иным способом. Это открывает перед медициной огромнейшие возможности.

— Следующего! — снова крикнул Михайлов, прервав Костины размышления.

Он уже успел вымыть руки и, приподняв их, быстро подошел к соседнему столу. Операционное поле было готово, большое йодное пятно коричневой бронзой темнело вокруг осколочной раны на втянутом животе. Михайлов взял из рук сестры узкий нож, но в это самое мгновение над палаткой что-то тяжело грохнуло, рассыпалось, словно совсем близко ударил гром и пронесся дальше. Что-то, ворвавшись вместе с струей дымного воздуха, морозного холода, снега, дробно застучало по столам, шкафчикам, и Михайлов, странно подняв голову, словно прислушивался к тому, что падает. И в тот же миг он взмахнул руками и широко, размашисто опрокинулся навзничь. Падая, он задел за какие-то предметы, и они с шумом свалились. Он лежал, занимая немалую часть палатки, большой, широкий, белый, и, словно продолжая работать, упрямо приподнимал правую руку с зажатым в желтых резиновых пальцах блестящим узким ножом.

— Владимир Евгеньевич!.. — закричал над самым ухом Михайлова ошеломленный Костя, в то время как Трофимов стал освобождать лицо Михайлова от марлевой маски. — Владимир Евгеньевич!

Михайлов шевелил губами, пытаясь что-то сказать, и все приподнимал правую руку. Нож он держал так, как обычно, когда делал первый разрез.

Костя, стоя перед ним на коленях, осторожно снял с его головы залитую кровью белую косынку.

Михайлов был ранен осколком в темя.

— На стол! — крикнул Костя.

Трофимов, Бушуев, Костя и Шурочка уже успели подхватить раненого, но Михайлов, не открывая глаз, тихо произнес:

— Не надо...

Внезапно он широко открыл глаза, обвел ими

всех, жадно взглянул в синее, совсем уже весеннее небо, остановил взгляд на Косте.

— Простите...

Веки его устало опустились. Он тяжело втянул воздух. И опять, уже напряженно, старудом, чуть приоткрыл глаза.

— Прощайте, Костя.. — отрывисто, едва слышно выговорил он. — Помните, мы врачи... врачи...

Он умолк. Вокруг его больших, темных глаз сразу выступили синие пятна, нос стал сиреневым. Возбуждающее, уже трижды впрыснутое Трофимовым и Шурочкой, не действовало. Рука в резиновой перчатке больше не двигалась. Полуоткрытые глаза смотрели неподвижно. Зрачки резко расширились, грудь не поднималась. Костя взял его руку — пульс не прощупывался.

Снова мелькнуло далекое воспоминание, одна из лекций Михайлова, его слова:

«Наступила смерть по всем признакам, которыми мы, медики, ее определяем...»

Какой-то промежуток времени все оставались неподвижны и молча стояли перед телом Михайлова. Костя, на коленях, продолжал держать руку покойного, Трофимов, приподняв его веки, упрямо смотрел в зрачки. Казалось, оба они ожидали, что пульс еще забьется, что зрачок уменьшится, исчезнет его стеклянная тусклость, такая непривычная и неуместная на лице Михайлова. Но пульс не бился, зрачок тускнел все больше.

Тогда Бушуев, осторожно отстранив Трофимова, закрыл веки умершего, не снимая перчаток, не отнимая ножа, сложил его руки на груди, нагнулся, поцеловал его в лоб и сказал очень низким голосом:

— Прощай, Владимир Евгеньевич...

Михайлов лежал большой, белый, очень живой, словно устав от непомерно тяжелой, длительной работы, не сняв рабочего халата и резиновых перчаток, не выпуская ножа.

Бушуев приготовил носилки, чтобы переложить покойника.

Желая помочь Косте подняться с пола, он взял его под руку:

— Довольно, товарищ военврач, горевать! Извольте подняться.

Но Костя внезапно тяжело застонал. Лицо его стало белым, кожа покрылась крохотными капельками пота. Он охватил шею Бушуева и почти повис на ней. Халат у левого бедра густо намок кровью.

Еще в то мгновение, когда над палаткой раздался грохот и Михайлов внезапно упал, Костя почувствовал укол в ногу и ощущение ожога. Но его отвлекло ранение Михайлова. Когда он стоял на коленях возле умирающего, он начал ощущать все более острую боль в бедре. Он понял, что ранен осколком, но, прикованный мыслью к Михайлову, оставался неподвижным. А сейчас, потеряв много крови, ослабев и страдая от боли, он уже не мог подняться.

— Ты ранен? — крикнул ему Трофимов, уже приступивший к осмотру того «следующего», которого Михайлов приготовился оперировать.

Костя, чтобы не застонать, стиснул челюсти.

— Ранен! — ответил за него Бушуев. — Видать, тем же снарядом, что и Владимир Евгеньевич.

Он взял Костю на руки и осторожно вынес в предоперационную, чтобы раздеть для осмотра.

Костю лихорадило. Во рту и горле было сухо и жарко, будто он наглотался горячего песка. Ни холодная вода, ни вино не смогли устранить чувства ужасной сухости во рту и слабости в теле.

— Раздробления нет?.. — спросил он шепотом у Бушуева, когда тот нагнулся над ним. — Не ампутируют?..

— Что вы, что вы! — горячо запротестовал санитар. — Вот уж правда, когда лекарь захворает, так все едино что дитя малое. У вас пустяк, товарищ военврач. У меня было то же самое, а теперь...

Костя криво усмехнулся. Он отлично знал приемы Бушуева, но все же с надеждой слушал его решительные заверения. Лишь на столе, когда его осматривали Трофимов и другие врачи, только что прибывшие из соседнего санбата, он понял, что у него серьезное повреждение бедра.

Костю отправили в тыл.

Бушуев никому не позволил прикоснуться к нему.

Каким-то особенным, им лично изобретенным при-
смом он снял раненого начальника со стола, бе-
режно уложил на носилки и вместе с новым сани-
таром вынес к «пикапу». И, прощаясь с ним, когда
простились уже и Трофимов, и Шурочка, и весь пер-
сонал, Бушуев ласково погладил его руки и так же
по-отцовски, тепло сказал:

— О худом, спаси господи, не думайте! Все бу-
дет хорошо. Верьте слову.

Он бережно надел ему сверх перчаток свои тол-
стые рукавицы, покрыл еще одним одеялом, забот-
ливо подоткнул края, и, когда Костя притянул его
к себе и поцеловал в губы, прослезился и сказал:

— Больше той любви не бывает, как друг за
друга умирает.

И потом, когда машина двинулась, крикнул:

— Пишите о здоровье! Покель сюда, а после
войны домой, в Кизел!.. Ведь войне конец скоро!..
Глядите!..

Он широко размахивал большой шапкой-ушан-
кой, показывая вверх и вниз и по сторонам.

Костя невольно, вслед за движениями Бушуева,
поворачивал голову.

Над ним, совсем низко, большим правильным ря-
дом шли красиво-тяжелые, суровые штурмовики, и
музыка их моторов гудела особенно уверенно и
мощно.

Справа и слева от лесной дороги, по которой ма-
шина бережно выносила Костю, гремели большущие
стальные махины. А в открытом поле лежали пере-
вернутые, искореженные, еще дымящиеся танки с бе-
лыми крестами; догорали вдавленные в землю, рас-
сыпающиеся на части, разрисованные драконами,
чертями и обезьянами подбитые вражеские машины;
у разрушенных траншей торчали дула разбитых ору-
дий, валялись сотни изуродованных фашистских
трупов.

А на запад шли все новые и новые колонны пе-
хоты, шумно продвигались легкие и тяжелые бата-
реи, грохотали широкие ряды сияющих свежей крас-
кой танков.

«Красная Армия отбросила врага от Москвы, —

вспоминал Костя слова официального сообщения, — и продолжает жать его на запад».

Из кабины выглянула молоденькая краснощекая, белозубая санитарка. Знающими глазами она зорко взгляделась в раненого и, увидев его спокойное лицо, уже не стала справляться о самочувствии, — она радостно, широко обвела взглядом вокруг и, улыбаясь, громко крикнула:

— Здóрово?!

— Здóрово! — откликнулся Костя.

Машина, обгоняя колонны пленных и лавируя между встречными частями, быстро несла раненого в полевой госпиталь.

у

часть третья

УРАЛ

I

Ники́та Петро́вич давно́ обеща́л Лене при первой же возможности устроить ей поездку на Большую землю для свидания с Костей. Но поездка много раз откладывалась. То летчик не решался взять Лену из-за низкой облачности; то Лена, получив возможность вылететь, сама вынуждена была отказаться от поездки, так как в этот день прибывал большой транспорт раненых. И так проходили неделя за неделей, месяц за месяцем.

Неожиданно Лене было предложено воспользоваться машиной, идущей по Ледовой трассе через Ладожское озеро. В госпитале в эти дни было спокойнее обычного, и Лена, получив короткий отпуск, быстро собралась. На рассвете хмурого мартовского дня, усевшись в грузовик за Охтинским мостом, Лена выехала из Ленинграда.

Тряская трехтонка с построенным на ней фанерным кузовом неслась быстро, на ухабах подскакивала, резко накренялась в выбоинах и вновь выбиралась на гладкую дорогу, ведущую издавна к древней Ладоге. Через крохотное окошечко, наполовину залепленное мокрым снегом, трудно было разглядеть улицы Охты и маленькие дома, мелькавшие отрывочно и смутно. Дальше тянулись талые снега мертвых полей вперемежку с почерневшими редкими лесами.

Гораздо раньше, чем Лена предполагала, показалось озеро — большая, буро-белая котловина, изре-

занная темными линиями дорог и черными пятнами деревянных построек. В обе стороны двигались грузовики, подводы, автобусы, тягачи, прицепы.

Ледовая дорога Ленинград — Большая земля жила кипучей жизнью.

У въезда на озеро проверяли документы. Грузовик остановился, и Лена, с трудом разогнув затекшие ноги, спрыгнула на землю. То, что она услышала у костра от прибывших с той стороны пассажиров, усилило ее тревогу.

— Ну и дорожка! — пританцовывая, чтобы согреться, повторял в каком-то испуге пожилой человек в желтой овчине и в заячьей шапке. — Как не утомили, не пойму!..

— Да, тут уж в пору на катере ездить... — отвечал ему крепкий старик, грея над огнем руки.

— Завтра, пожалуй, уже не проехать... — сказал кто-то.

— А то и сегодня кончится это дело, — поддержал старик.

— Ну! Паникеры! — сердито крикнул осипшим голосом высокий военный. — Чего врете? Еще и неделю, и другую поедим! Нечего на людей страх нагонять!

Ему поддакнул молодой водитель.

— Видите, люди еще в обе стороны запросто ездят! — сказал он неторопливо.

Но даже из этих успокоительных реплик Лена поняла, что дорога из-за весенней растепели стала особенно опасной, что пассажиры, выбравшись благополучно на берег, считают себя счастливыми, случайно спасшимися от гибели.

— Может, доктор, желаете вернуться? — любезно предложил Лене хозяин машины — работник санчасти, заметив ее встревоженный взгляд. — Попутных машин хватает.

— Нет, — решительно отказалась Лена. — Я поеду.

— Опасно все-таки... — испытующе поглядел на нее водитель.

— Ничего. Что с другими, то и со мной...

Они снова двинулись в путь.

Едва отъехав от берега, Лена почувствовала, что

машина то погружается во что-то гибкое, податливое, то туго выжимается обратно и выходит на твердую дорогу. Она услышала шумный плеск воды, увидела в окошечко широкие, щедрые брызги, летящие далеко в стороны из-под невидимых колес грузовика.

Лена открыла заднюю дверцу. Глазам ее представилось огромное водное пространство, лишь местами белеющее ледяными островками, будто она действительно неслась на быстроходном катере по незамерзшему озеру. Но она находилась в обыкновенном грузовике, и в любое, неуловимое мгновение он мог проломить непрочный лед и с размаху оказаться на дне глубокого Ладожского озера.

«Перспектива блестящая!.. — усмехнулась Лена, ежась от холода и страха. — Стоило для этого уезжать из Ленинграда!..»

Воды становилось все больше, она шумно хлопотала под колесами, длинные языки брызг становились все шире и плотнее. Ноги Лены стали точно ватными, по темени пробегала дрожь, и казалось, впрямь шевелились на голове волосы. Мимо прошло с небольшими интервалами несколько встречных машин, и Лена с ужасом увидела, что их колеса глубоко ушли в воду.

«Скорее бы все это кончилось... — тревожно думала Лена. — Скорее бы на землю...»

Под колесами захрустел плотный снег, полетели в стороны и вверх ледяные комья, чаще встречались регулировщики с флажками, группы рабочих и бойцов. Все это приносило успокоение и надежду, что все страшное позади, что скоро Большая земля. Но машина вновь качалась на прогибающемся, как тонкая доска, невидимом льду, и сердце у Лены останавливалось, как бывало с ней на крутом спуске с «американских гор». Иногда шофер резко тормозил, машина после короткой остановки медленно въезжала на обмерзшие деревянные мостки, проложенные через огромную трещину, разрезающую лед. После мостков некоторое время ехали спокойно, по крепкому льду, лишь изредка объезжая огороженные елками пробоины.

Лену поражала деловая жизнь трассы. К Ленин-

граду почти не прерывающейся вереницей двигались машины, подводы с продовольствием. Из Ленинграда везли изможденных женщин, детей, стариков, везли оружие, боеприпасы, станки, машины, двигатели, которые Ленинград никогда, даже в самые тяжкие, смертные дни блокады не прекращал производить, а сейчас посылал по ледовой дороге на помощь стране и фронту.

Опять остановились. Впереди, шагах в тридцати, в узкую поперечную трещину врезался передними колесами грузовик. Водитель, регулировщики, бойцы втаскивали его на деревянные мостки, искусно подведенные под обледенелые колеса. Это случалось здесь часто, и люди бежали на помощь с досками, баграми, веревками и под крики, под крутые соленые словечки вытаскивали застрявшую машину. Иногда приходилось выгружать на лед тяжелые мешки и ящики, чтобы, вытащив на твердую почву облегченную машину, быстро нагрузить ее вновь. Уже в третий раз наблюдала сегодня Лена такую выгрузку и погрузку, видела, что при любых условиях эти люди готовы каждую минуту броситься в работу, чтобы только жила своей жизнью спасительная трасса.

Машина двигалась дальше, а Лена, продрогшая на сыром ветру Ладоги, неподвижно сидела в углу грузовика, съжившись под овчинным полушубком водителя.

Между заблокированным Ленинградом и Большой землей осталась незамкнутой лишь эта узкая полоска южной части наибольшего в Европе и, кажется, самого бурного в мире Ладожского озера. Немцы, захватившие в сентябре Шлиссельбург, били по озеру из сотен орудий, стремясь огнем закрыть единственный путь, соединяющий Ленинград со страной. Когда Ладога замерзла, стали строить Ледовую трассу. Перед строителями возник ряд вопросов: когда прочно станет Ладога? Глубоко ли промерзает озеро? Каково здесь сопротивление льдов? Новую дорогу начали строить по новым, впервые возникающим проектам, по свежей и горячей инициативе тех, кому это было поручено. И вот, с той минуты, когда по еще тонкому, совсем непрочному льду проехал верхом командир

дорожного полка, а потом на середине озера встретились два генерала, прибывшие на машинах с противоположных берегов, — закипела на Ладожской трассе бурная жизнь.

Но на юго-востоке от новой трассы, в районе Тихвина, фашистский моторизованный корпус генерала Шмидта готовился, по приказу Гитлера, к броске, чтобы, соединившись с финской армией, крепко-накрепко замкнуть кольцо вокруг Ленинграда.

Надо было во что бы то ни стало устранить эту опасность!

И тогда на врагов двинулась армия генерала Мерецкова, разбила наголову корпус Шмидта, уничтожила три его дивизии, усеяла снежные поля тысячами немецких трупов, взяла много трофеев и освободила Тихвин.

Днем и ночью, в жесточайшие морозы, в пургу и метели, обжигаемые ледяным ураганным ветром, люди вели длинные вереницы подвод, грузовых машин, нагруженных тоннами продовольствия. Над озером носились вражеские бомбардировщики, снижались прямо над целью, бросали бомбы, обстреливали в упор из пулеметов. Иногда бураны заметали путь, уносили вехи, сигнальные фонари, засыпали регулировщиков, маскировали полыньи. Но транспорты двигались вперед — сквозь неприятельский огонь, туман, морозы — в Ленинград.

За дорогой надо было непрерывно следить, ее надо было содержать в надлежащем военном порядке. Недаром она называлась «военно-автомобильной дорогой». Вдоль всего пути круглые сутки работали дорожные мастера, регулировщики, путевики, заправщики, трактористы, связисты, врачи, фельдшеры, ремонтники — весь огромный коллектив Ледовой трассы. Ураган ломал лед, сваливал его, нагромождал огромные льдины в острые, высокие торосы, — люди сносили торосы, очищали пути. Внезапно со звонким треском лопался лед поперек дороги, из него, как кровь из резаной раны, обильно выступала темная вода, — люди приносили доски, бревна, иной раз купаясь в ледяной воде, быстро наводили мостки, и машины смело проходили по ним, будто их водители

всю жизнь ездили только по таким дорогам. Случалось, пурга свирепствовала подва, по три дня подряд, наметала огромные горы снега, в белом вертящемся хаосе все сливалось в густой туман, — огромные грейдеры, снегоочистители, как гигантскими щетками, подметали ледяную поверхность. словно раненый зверь, выл ветер, сыпался снег, лютый мороз огненной струей прожигал тело. Измученные непосильной борьбой, люди валились с ног, обмораживались, попадали в воду, — тогда из медпунктов прибегали врачи, фельдшера, сестры, уносили пострадавших, оказывали помощь, обогревали и отправляли на берег.

...Где-то впереди слышались крики.

Грузовик остановился.

Из кабины выскочили водитель и работник санчасти; Лена поняла, что произошла авария. Она осторожно выбралась на лед и пошла к месту, где столпились люди.

Из маленького автобуса, наполовину погрузившегося в полынью, вытаскивали пассажиров. Несколько военных, подсунув под автобус длинные доски, поддерживали его, не давая погружаться в воду. Кто-то, вскочив на плечи бойца, ловко доставал из машины то женщину, то ребенка и бережно передавал стоящим на льду. Пострадавших укладывали в карету и отправляли в медпункт. Две девушки в белых халатах поверх толстых полушубков работали быстро и методично, будто ничего особенного не произошло. Одна из них, по имени Катюша, особенно поразила Лену. Совсем молодая, с обветренным, чуть скуластым лицом, с глазами темными и горячими, с детскими пухлыми губами, она, проворно сняв с пострадавшего мокрую одежду, набрасывала на него одеяло или полушубок, укладывала на носилки и сразу же принималась за другого.

— Их здесь много таких... — гордо сказал Лене пожилой военврач. — Я их всех знаю — фельдшериц и сестер. Они здесь всю зиму живут на озере. Одна Писаренко чего стоит! Это святые люди! Святые — другого слова и не сыщешь. Им всем при жизни памятники надо поставить!

— Как ваша фамилия? — спросила Лена раскрасневшуюся Катюшу, когда она, взяв на руки переодетого в сухое платье мальчика, села с ним в автобус.

— Моя? — смеясь и показывая чуть кривые белые зубы, переспросила девушка.

— Да, ваша, — невольно смеясь вместе с нею, подтвердила Лена.

— Комсомолка! — крикнула Катюша, уже отъезжая и посылая рукой привет. — Комсомолка!.. Хорошая фамилия?..

Она молодо смеялась и долго еще размахивала большой рукавицей, пока не скрылась с машиной в окружающем мягком снегу.

— Видали? — спросил военврач Лену, направляясь к машине.

Показалась земля. Чувство огромного облегчения охватило Лену. Точно она сбросила со своих плеч непосильную тяжесть. Началась лесная дорога, проложенная в густом, непроходимом лесу. Вырубая столетние сосны, выкорчевывая чудовищные пни, снося цепкий, как провололочные заграждения, плотно переплетенный кустарник, вгрызаясь в мерзлую землю, люди в несколько дней проложили здесь широкую дорогу, протяжением свыше сорока километров. Помогая бойцам, работали старики, женщины, ребята.

Как всегда, горячо, энергично действовали комсомольцы.

Ни огненный январский мороз, ни злобная метель, ни падающие со скрипом и грохотом высокие мачтовые сосны — ничто не останавливало людей. Дорога была окончена в назначенный час. Теперь по ней, как и по озеру, двигался поток машин. И здесь, как на озере, их путь охраняли люди дорожного батальона: раскидывали наметенные сугробы, дежурили у опасных мест, вытягивали застрявшие машины, согревали, кормили, оказывали помощь.

Низко, совсем низко повисло над лесом буро-серое сердитое небо. Быстро неслись клубящиеся облака. Тоненько пел в деревьях холодный ветер. Где-то близко ухали орудия. Но в лесу не было страшно. Лена вдруг ощутила связь со всей страной, со всем,

что лежит по эту сторону блокады, — с Москвой, с отцом, с Костей.

Отец... Костя...

Самое страшное теперь позади. Завтра она должна увидеть и отца, и Костю. Со дня расставания прошло около семи месяцев. Что с ними стало?

Эти мысли в беспорядке проносились в усталой голове Лены. От бессонной ночи и долгой тряски ее стало клонить ко сну. Опустив голову, она незаметно уснула.

Ее разбудили, когда уже было темно. Грузовик дальше не шел. Работник санчасти, попутчик Лены, вернулся через час и сообщил, что рано утром пойдет легковая машина и Лене предоставлено в ней место, а пока надо поужинать. И он принес откуда-то большую буханку хорошо выпеченного хлеба, кусок аппетитного, белого с розовой прослойкой шпика, пакет с пиленным сахаром, пачку чаю. Он повел Лену и водителя в ближайшую избу, в которой было очень тепло. В печи что-то вкусно поспевало, над столом, за которым сидело несколько военных, от большого медного чайника поднимался пар. Военные были очень веселы, со вкусом рассказывали о тихвинской операции, вкусно ели, и Лене, после многих месяцев ленинградского холода, голода, полумрака, после длинного дня на опасном льду выюжного, коварного озера, все казалось необычайно светлым и благополучным. Она охотно разговаривала с военными, с удовольствием ела, с радостью пила сладкий чай и потом крепко спала на мягких полушубках, расстеленных хозяйкой в углу большой натопленной избы.

Рано утром она поднялась с радостным ощущением предстоящего дня, вымылась холодной водой, заплела в косы пышные волосы.

— Ах ты, красавица моя распрекрасная!.. — говорила, разглядывая Лену, хозяйка. — А я, дура старая, вчера подумала, что ты паренек...

— Да уж... — шутливо вздыхал один из попутчиков Лены, подполковник артиллерии, с темными, грустными глазами и сединой на висках. — Везет же кому-то!.. Иметь такую жену!.. Да еще едет к нему на фронт! Счастливый муж.

И другие военные, сидя за чаем, участливо и дружелюбно разглядывали Лену, ее удивительные волосы, матовое тонкое лицо, освещенное большими зелено-серыми глазами, ее стройную фигуру, особенно красивую в военной форме. Ее расспрашивали о Ленинграде, давали товарищеские советы, ободряли.

Лена поблагодарила хозяйку за гостеприимство, торопливо оделась и вышла на улицу посмотреть машину.

Скоро она уже неслась по хорошему зимнику. А еще через несколько часов она прибыла в штаб, где должна была встретиться с отцом.

Но отца в штабе не оказалось.

Накануне, как раз в день отъезда Лены из дому, он срочно выехал на передовую, и возвращение его ожидалось не ранее, чем через два-три дня.

Лена была ошеломлена и взволнована так, словно совершенно точно уговорилась с отцом о сроке встречи, а он, забыв об этом, уехал. Она молча слушала работников штаба, советовавших ей, не теряя времени, ехать к Косте, а на обратном пути снова остановиться здесь. К тому времени отец, вероятно, вернется.

Лену устроили в попутную штабную машину, отправляющуюся через час-другой. После полудня, несколько успокоенная, счастливая близкой встречей с Костей, она выехала в санбат.

Машина шла то по гладкому, видимо недавно проложенному шоссе, то вдруг выезжала на разбитую, всю в ухабах и рытвинах, покрытую огромными лужами дорогу. Виднелись следы недавних боев: наполненные талой водой воронки, засыпанные снегом окопы, порванные проволочные заграждения, разбитые машины и орудия. По сторонам тянулись фашистские кладбища — ровные, как на параде, бесконечные шеренги одинаковых деревянных крестов. На крестах висели тяжелые каски.

Время тянулось бесконечно. Ей казалось, что она выехала из Ленинграда уже давно, проехала огромное расстояние, что не будет конца этому пути. Еще раз, уже в трех километрах от санбата, она должна была пересечь в другую, попутную, машину.

Но водитель пожалел Лену и быстро подвез ее к сортировочной санбата.

Лена вошла в просторную теплую палатку и спросила у дежурного врача, как пройти к доктору Сергееву. Он внимательно посмотрел на нее, обдумывая что-то, потом медленно огляделся, словно спрашивая у сестер и санитарок, как быть, и неожиданно обернулся к Лене:

— Простите, вам по какому делу?

— Я из Ленинграда... Я его жена...

— Ах вот как... — совсем растерялся врач. — Я очень рад... Я вас немного знаю... Со слов Константина Михайловича...

Он говорил еще что-то, стараясь быть любезным, но Лена почти не слушала его и сердилась, раздраженно думая: «Зачем он держит меня здесь?..»

— Сейчас, сейчас, — повторял он. — Сию минуточку.

И, снова оглядев присутствовавших, сказал:

— Сестра Петрова, проводите, пожалуйста... к старшему хирургу...

Все это еще больше взволновало Лену. Ее направили не к Косте, а к старшему хирургу... Она старалась успокоиться на мысли, что проводить ее прямо к Косте, минуя старшего хирурга, не позволяет установленный здесь порядок.

Соколов был занят в операционной, и к Лене, на ходу снимая маску и резиновые перчатки, вышел Трофимов. Она сначала не узнала его, возмужавшего и какого-то очень сурового, но он сам напомнил о себе.

— Мы с вами вместе учились. С вами и с Сергеевым. Помните Трофимова?

— Конечно, помню. Мне Костя писал о вас. Где он?

— Уехал, — стараясь улыбнуться, ответил Трофимов.

— Куда? — в мгновенном испуге спросила Лена.

— В тыл... Он немножко ранен... Пустяк... В ногу... — И сейчас же успокаивающе добавил:

— Укатил отдыхать.

Лена хотела еще что-то спросить, но у нее странно остановилось дыхание, ноги сразу подогнулись.

— Куда... в тыл? — с трудом выговорила она.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, так, — подставляя стул и усаживая ее, говорил Трофимов. — Уверю вас, он действительно легко ранен. Я был вместе с ним. Осколочком задело бедро.

Трофимов долго объяснял Лене, что Косте ничего не угрожает, нарисовал на санитарном листочке положение и форму раны, рассказывал, как отлично держался Костя во время операции.

Соколов, выйдя к Лене, тоже сначала растерялся:

— Ну, у него, знаете, того... ничего... Мелочь. Прямо сказать, детские игрушки. Полежит, отдохнет и через две недельки обратно того... сюда.

— Но где Костя сейчас?

— Ну, это, того... трудно сказать. Где-нибудь в дороге. В Череповце, может — в Вологде, в Кирове, — говорил Соколов.

«Глубокий тыл... — смятенно думала Лена. — Он тяжело ранен... Вероятно, раздробление... Может быть, ампутация...»

Несколько успокоить ее сумел только Бушуев.

— Верьте слову, товарищ военврач, у нас без обману. Для меня Константин Михайлович как родное дите. На руках его носил. Ранка у него, конечное дело, не так, чтобы совсем уж пустяк, но будет он в полном порядке. Это как пить дать! У меня, товарищ военврач, было точь-в-точь как у него, даже хуже, а сейчас посмотрите, — нога как нога.

— Даже лучше стала.. — засмеялся Соколов.

— А что вы думаете, товарищ начальник, — совершенно серьезно подтвердил Бушуев. — Такая стала крепкая, что даже просто удивительно!

Лена узнала, что отец только несколько часов как уехал отсюда, что три дня тому назад, в ту самую минуту, когда осколком ранило Костю, другим осколком был убит Михайлов.

Она сидела подавленная, не зная, что предпринять. На нее опрокинулось что-то громадное, темное, тяжелое, и она не могла сбросить с себя этой тяжести.

Где Костя? Что с ним? Когда она сможет с ним увидеться? Куда уехал отец, удастся ли ей до воз-

вращения в Ленинград разыскать его? Не случилось ли чего и с ним?

Лена переночевала в землянке Кости. Она спала на его койке, голова лежала на его подушке. Почти всю ночь она проплакала и только под утро заснула тревожным сном.

Днем она выехала обратно в штаб, но отца опять не застала. Прождав его напрасно сутки, обеспокоенная, что кончается отпуск, она воспользовалась попутным «дугласом» и вылетела в Ленинград.

II

Только сутки пробыл Костя в полевом госпитале, а потом санитарным поездом был отправлен дальше.

В большом, хорошо оборудованном вагоне, на подвесной койке было просторно и удобно, и если бы не острая боль в ноге, Сергеев мог бы, как ему казалось, прекрасно отдохнуть и отоспаться после стольких месяцев тяжелой работы. Но боль в ноге не давала покоя, а к наркотикам он не хотел прибегать. Он то и дело, подавляя готовый вырваться стон, ворочался, приподнимался, ища удобного положения для ноги. Но как бы он ни ложился, куда бы ни подсовывал подушку, все равно через секунду постель казалась неудобной, одеяло горячим, и он снова метался в тяжелом томлении.

Как и многие врачи, он был мнителен, и все осложнения, какие только были возможны при такого рода ранении, проходили в его взволнованном воображении, и каждое из них казалось для данного случая естественным, почти обязательным. Ему казалось, что рану недостаточно тщательно обработали, что недостаточно засыпали ее стрептоцидом, что концы перебитого нерва сдавлены осколками костей и скоро атрофируются, что сухожилия разможены и не поддадутся сшиванию, что может возникнуть остеомиелит, или неправильно срастется кость, или нарушатся двигательные способности ноги... А если возникнет нагноение, сепсис или, что страшнее всего,

газовая гангрена — придется ампутировать ногу... А если будет поздно...

Нет, об этом не надо думать.

И Сергееву хотелось снять повязку, осмотреть рану. Он знал: операцию бережно сделал опытный Трофимов. Ничего не было забыто. Но упрямое желание увидеть рану своими глазами, самому сделать заключение, дать свои указания не оставляло его. Он попросил женщину-врача взять его на перевязку.

— Зачем? — возразила она, щупая его пульс. — Температура в норме, сердце в порядке. Все идет хорошо.

Костя сердился. Ему нечего было возразить. Он знал, что врач была права, и промолчал. Она перешла к соседней койке, к такому же тяжелому больному, как он, и, посмотрев его, так же успокоила и перешла к третьему, и к четвертому; она обошла весь вагон и только одного приказала перенести в перевязочную. Значит, она знает, что делает.

Состав был большой, и в каждом вагоне десятки раненых — и легких и тяжелых. И каждому надо было уделить хотя бы немного заботы, тепла. Кроме операций и перевязок, нужно было кормить лежащих, писать письма родным, читать раненым лекции, устраивать концерты.

В этом своеобразном, новом для Сергеева военно-лечебном учреждении все должно было идти как в любом военном госпитале, но проводилось все на ходу. Были старшие и младшие врачи, были фельдшера, сестры, санитары и санитарки. Все было как в любом госпитале, но иногда приходилось делать операцию, если она была экстренной, на полном ходу поезда. Начиналась она на какой-нибудь одной станции или перегоне и заканчивалась на другой, на третьей. Поезд несея, стучал крепкими колесами, на стрелках вагоны качались и дрожали, паровоз резко брал с места или резко тормозил, поезд швыряло вперед или отбрасывало назад, — но хирурги, в таких же белоснежных халатах, с такими же марлевыми масками и колпаками, в таких же тонких желтых перчатках, делали такие же операции и так же, как в любом госпитале, спасали человеческую жизнь.

И точно так же работали в перевязочной, в физиотерапевтической, в отделении лечебной гимнастики — во всех уголках этого длинного, многовагонного госпиталя, спешно переправляющего раненых в глубокий тыл.

Боль в ноге не оставляла Сергеева. Иногда слезы уже были готовы подступить к глазам, рот кривился в гримасу, но он, напрягая всю свою волю, старался отвлечься, забыться. Однако через минуту все повторялось снова — от начала до конца. Боль была то очень острой, словно длинный бурав медленно просверливал кость, мышцы; то она становилась тупой, будто в бедро воткнули наконечник и накачивают струю раскаленного воздуха. Нога раздувалась так, что, казалось, вот-вот из нее брызнет горячая, как крутой кипяток, бурлящая кровь...

Костя не выдержал, — боль перешла в сердце. Показалось, что он сейчас умрет.

Он попросил врача впрыснуть пантопон.

Улыбаясь, она ответила:

— Давно бы так.

Медленно засыпая после укола, сделанного быстрой рукой приветливой сестры, Костя сквозь теплую дрему, заметно успокоившую боль в ноге, думал о товарищах по койке, о всех, кого он наблюдал много месяцев в санбате, на передовых, в полевом госпитале, на операционном столе. Ведь они тоже испытывают боль, у многих страдания еще сильнее. Отчего же они все переносят молча?

«Дух у них сильнее, — отвечал сам себе Сергеев. — Воля крепче. Характер у них мужественней».

Вот рядом молчаливый и неприметный человек лет тридцати пяти, кажется танкист или, может быть, пулеметчик, с большой осколочной раной живота. Губы у него черны и сухи, потускневшие глаза ввалились, кожа на щеках стянулась в резкие морщины, серосинее лицо выражает страдание. Но он не раскрывает рта, не говорит ни слова.

— Больно вам, товарищ? — спросил его Костя, когда внезапно у того вырвался вздох, похожий на беззвучный стон.

Раненый не сразу отозвался, словно обдумывая

ответ. Потом медленно повернул лицо к Косте, посмотрел на него глазами, полными боли, и тихо, почти шепотом сказал:

— Просто сказать, браток, невозможно... Лучше сразу помереть...

— Так бы вы попросили успокоительного, — посоветовал Костя. — От укола вы заснете.

— Ни к чему это, — ответил он просто. — И так должно утихнуть. Не сегодня, так завтра. Не навек же это. Потерплю маленько.

И другие раненые вели себя точно так же.

В этом вагоне лежали только тяжелораненые, но тишина стояла такая, словно здесь никого не было. Только изредка раздавался чей-то выкрик во сне или неясное бормотанье.

«Какие сильные люди!.. — думал Костя сквозь дрему, все больше и больше охватывающую его тело. — Какие железные люди...»

Он засыпал. Нога не болела. Он совсем не ощущал ее. И это тревожило его уходящее сознание. Нога, только что так мучившая его, распухшая, наполненная болью, теперь исчезла. Страданий больше нет. Но нет и ноги. Это Коля Трофимов, и Соколов, и Михайлов, и Никита Петрович, и Лена сговорились и тихо, очень тихо, под наркозом, который ему так ловко быстрой и мягкой рукой впрыснула эта приветливая, но хитрая сестра, ампутировали ногу. Сейчас ему хорошо, спокойно, приятно. Страданий нет. Но нет и ноги. Как жить без ноги? «Давно бы так, — настойчиво повторял кто-то. — Давно бы так, давно бы так». Подлая баба, эта поездная врачиха, это она все устроила. Но зачем же жена, Колька, Никита Петрович помогали ей? Это все по просьбе Михайлова. Он давно хотел отрезать ему ноги, руки, голову. Да, сейчас уже нет и головы. Нет головы. Так хорошо. Тихо, покойно, приятно-приятно...

Костя уснул.

Он проспал несколько часов. Просыпался, и снова засыпал, и снова просыпался. Который час? Он поднял руку, посмотрел на часы. Они стояли. «Надо скорее подняться, — подумал он, — вероятно, опять много операций...» Он повернул голову, увидел вагон,

узнал соседей. «А нога? — тонкой иглой пронзило мозг. — Что с ногой?» Он быстро протянул руку, прикоснулся к ноге и, нащупав ее, почувствовал резкую боль. «Все страшное было во сне. Нога на месте...» Но, словно не доверяя самому себе, он снова, теперь уже очень осторожно, прикоснулся к жесткой повязке. «Нога на месте... и боль заметно уменьшилась... Очевидно, опасность миновала. Да и в самом деле, неужели Коля Трофимов мог пропустить что-нибудь, не сделать всего, что нужно?..»

Воспоминание о санбате вернуло Костю ко всему, что было в «тот» ужасный день. И снова в его усталом воображении пронеслись картины поездки в пострадавший санбат, обстрел его фашистами, две изумительные операции сердца, гибель Михайлова, собственное ранение.

Костя вновь пережил все, что случилось, и вновь грудь наполнилась тревогой, тягостным сожалением о Михайлове.

Мысль о Лене заставила его вздрогнуть. Он заметался, стал звать сестру. Надо сообщить Лене, что он легко ранен и выбыл из санбата. Иначе она может неожиданно приехать туда, ведь и Никита Петрович, а совсем недавно и Михайлов говорили, что при первой же возможности Лена прилетит к нему.

Он продиктовал сестре текст телеграммы и успокоился лишь тогда, когда сестра сказала, что телеграмма отправлена.

Он ехал уже третьи сутки, миновав много крупных узловых станций, районов, областей. Он вновь переживал знакомое радостное сознание огромности своей страны. Поезд проходил между Вологдой и Кировом, разделенными обширнейшим пространством, с множеством городов, тысячами сел и деревень. И все это было лишь крохотной частью его родины.

Костя попросил повернуть его лицом к окну. На каждой станции, на полустанке, на перегонах он видел толпы людей. Они приезжали, уезжали, выгружали и погружали что-то, кого-то встречали. Везде жизнь бурлила, била ключом.

Но радостнее всего были несущиеся навстречу с востока на запад воинские поезда. Они мчались без

остановок, увозя на фронт полк за полком, батарею за батареей.

На длинных составах открытых площадок, под зелеными брезентами, Костя замечал контуры орудий. Составы встречались в течение всего дня. В промежутках между ними шли другие, груженные танками. Потом снова проносились воинские составы, снова мчались поезда с орудиями, и снова сердце Кости билось в такт с колесами, чеканно отстукивающими быстрый ход вагонов, стремительно несущихся на фронт.

Проходил день за днем. То, что еще вчера казалось далеким, сегодня было позади. Костя подолгу смотрел в окно, вглядывался в бесконечные массивы лесов, еще покрытых снегом. На далеком советском востоке уже цвели сады, на юге уже зеленела трава, вероятно и в Москве уже было тепло, а здесь еще держался мороз, дул пронзительный ветер, на огромных пространствах лежали нетронутые синие снега, лишь на короткие часы освещаемые скуными северными лучами.

Это был Урал.

И люди здесь были уже немного не те. Девушки плотные, все как на подбор краснощекие. Мужчины — широколобые, чуть скуластые, чаще всего хмурые.

— Вроде как и не наш народ... — окая по-волжски, сказал раненый, глядевший в окно. — Сердитый, видать...

— Это он только по виду такой, — возразил кто-то с дальней койки. — Сурьезный народ здесь, деловой, как терка шершавый. А дома ничего. Ласковый, свой. И накормит, и напоит, и на печку спать положит.

— А ты что, бывал тут? — спросил волжанин.

— Не бывал бы, не говорил.

— Экий ты, обидчивый какой!

— Не обидчивый, а раз говорю, стало быть — знаю.

Потом, помолчав, словно нехотя, только в силу необходимости, отрывисто гудя низким голосом, добавил:

— Я тут, в этих краях, годов шесть прожил. В Нижнем Тагиле, под Свердловском, в Кунгуре.

Здесь народ только с лица вроде как каменный, а на самом деле — душа человек.

— Ну уж и душа, — дразнил его волжанин. — Погляди, вон он идет, здешний-то. Видишь, — с двустволкой, с кобельком. Лицо такое — зимой снега не проси, не даст.

— Вот. А зайдешь к нему, уйти не захочешь.

И, опять помолчав, прибавил:

— У нас в роте такой самый служит. Уралец. Стряпунин его фамилия. Из-под Осы. Пришел хмурый, говорит два слова в сутки, что ни спроси — молчит. А самосадам сразу поделился со всеми. Мешок роздал в один присест. Посылку с медом, с маслом получил, — опять всем взводом ели. А говорить не любит. И приказ точь-в-точь выполняет. Придет с задания, два слова доложит: мол, приказ выполнен, — и все. И в атаку когда шел, тоже молчал. Все рты разинули, во все меха орут «ура», а он зубы сжал, глаза как у тигра, круглые, зеленые. И всех обогнал. Первый — в окоп. И первый ка-ак двинет ихнего фельдфебеля в грудь — и штык обратно, и тут же второго, третьего. Бой кончился, он обратно все молчит. Люди галдят, шумят, друг другу рассказывают, а он сидит в сторонке, переобувается. Спокойно эдак портянку разгладит и на ногу наматывает. Я ему говорю: «Здорово ты, Стряпунин, сейчас работал!..» А он валенок натянул, кисет достал и, слова не ответив, мне протягивает. Потом скрутил сигарку и сидит, покуривает, будто дров наколот и отдыхает. Вот какие здешние люди!

— Да!.. — одобрил волжанин.

— А ты, не зная броду, лезешь в воду: «Зимой снега не даст!» Здешние люди — первый сорт! Они с виду вроде сердитые, а узнай их ближе — других искать не будешь.

— А где он сейчас-то? — заинтересовался волжанин.

— В роте остался. Жив-здоров. Вот свой кисет на память мне дал. «Возьми, говорит, помни дружка». — «А ты, говорю, как же без кисета?». — «Ничего, говорит, бери!»

Видимо, кисет переходил из рук в руки по всему вагону. Костя слышал одобрительные возгласы:

— Хорош!..

— Плюшевый... Ишь ты!..

— И вышивка богатая... Гладью...

— Видать, женский подарок. От милой...

— Подарок не отдал бы. Купленный.

— Заказной.

Кисет вернулся к хозяину. Показав его Косте, он коротко спросил:

— Нравится?

Явная гордость звучала в его голосе, словно он показывал очень дорогую вещь.

Косте действительно понравился красивый, темно-синий, чуть потертый кисет, покрытый цветной вышивкой. В середине выделялись инициалы «А. С.»

— А как звать Стряпунина? — спросил Костя.

— Сашей, — ответил он готовно. — Александр Стряпунин.

— Ну, вот видите, — желая доставить ему удовольствие, сказал Костя. — Он подарил вам свой собственный кисет... Кто-то ему на память вышивал...

— Да, — растроганно проговорил раненый. — Александр Стряпунин — душевный друг.

Поезд подходил к большому промышленному городу. Уже издали видна была огромная сизо-серая туча, застилавшая полнеба. Десятки высоких кирпичных труб выбрасывали клубящийся дым, местами подкрашенный желтым пламенем.

«Экая махина-завоудище!» — подумал Костя.

Внезапно перед глазами раскрылась широкая река, и поезд помчался по длинному, грохочущему мосту.

«Кама!.. — взволновался Костя. — Так вот она какая, Кама!»

Река лежала широкая, размашистая. Лед уже местами прорывался большими полыньями, в обширных разводьях играла тонкая синяя рябь. Кама тихо просыпалась от зимнего сна. Но жизнь уже чувствовалась в движении на берегу, в готовых отплыть буksирах, в первом служебном пароходе, дымящем у причала.

На высоком противоположном берегу раскинулся большой старинный город. Вырисовывались контуры нового речного вокзала, особняк пароходства, стены древнего монастыря, куполы церквей.

Пройдя вдоль Камы и проскочив короткий тоннель, поезд остановился у большой, чистой платформы.

Группы студентов-санитаров ожидали раненых.

Через несколько минут Костя лежал в широкой санитарной машине, которая, медленно поднимаясь в гору, направлялась в госпиталь.

III

Ответственный секретарь горисполкома Галина Степановна Рузская привыкла к таким телеграммам. Она получала их ежедневно и читала сразу же, еще не успев снять пальто и повесить его в широкий, вделанный в стену шкаф. Держа у глаз очки надломанными дужками вперед, она быстро сортировала почту и срочные документы откладывала отдельно.

В письмах и телеграммах запрашивали об эвакуированных родственниках, о детских интернатах, о раненых бойцах и командирах. И Галина Степановна знала наперед все варианты запросов, и только имена и фамилии, города и даты разнообразили содержание. Запросы были встревоженные, печальные, горестные, были спокойные, деловые, но в одной из сегодняшних телеграмм Галина Степановна сразу же почувствовала что-то особенное...

Она перечитывала телеграмму, стремясь вспомнить врачей, находящихся на излечении в городе.

«Умоляю срочно сообщить находится одним из госпиталей вашего города раненый военврач третьего ранга Константин Михайлович Сергеев телеграфируйте здоровье Ленинград жене военврачу Елене Никитичне Сергеевой адресу...»

Галина Степановна просматривала почту и снова возвращалась к телеграмме Сергеевой. Что-то заставляло ее действовать незамедлительно и, продолжая разговаривать о делах, она начала настойчи-

во звонить в военный эвакуопункт, раздраженно слушала сигнал «занято», и снова звонила, и снова слышала «занято». В промежутках набирала другие номера, пытаясь найти военврача Сергеева без помощи эвакуопункта в каком-нибудь госпитале. Ей нужно было найти Сергеева и немедленно телеграфировать в Ленинград, его жене, что муж ее жив, поправляется, что вообще все в полном порядке и не надо волноваться. Было бы очень обидно, если бы Сергеева не было в городе или с ним случилось непоправимое и пришлось бы сообщить об этом жене.

Галина Степановна волновалась, словно она разыскивала близкого человека. И сотрудники уже, как обычно, добродушно подтрунивали:

— Нашла Галина Степановна новую заботушку.

В кабинет входили посетители и видели за большим письменным столом женщину лет сорока, ласково улыбающуюся и приветливую. Она говорила очень тихо, внимательно слушала, давала нужные указания. Если дело было запутано, попадало в чьи-то холодные руки, принимало неверный оборот, она вмешивалась, звонила по телефону, повышала голос, добивалась своего.

С какими только делами не приходили к ней!

Эвакуированные, оставшие от поездов, больные, дети убитых или умерших родителей, жены и вдовы военнослужащих просили жилья, устройства на работу, билетов на дальнейшую поездку, помещения в больницу, направления в детский дом, выдачи дров. Одни жаловались на равнодушие, другие на невыполнение распоряжений. Потом приходили из здравотдела, из эвакуопункта, из университета, из институтов, школ, музея, из театров, из городского сада, из Союза писателей, художников, архитекторов. И Галина Степановна всех выслушивала, ко всем была внимательна и, главное, делала все, что только можно было сделать. Тот, кто бывал в ее кабинете, мог видеть Галину Степановну то в беседе с эвакуированным ленинградским профессором, которому она помогала получить комнату, свет, дрова и наладить диетическое питание; то с больной старухой, не желающей идти в больницу, в которую ее направил здрав-

отдел и требующей обязательно той, где лежит ее сверстница и подруга; то со сбежавшим из ремесленного училища мальчишкой, которого Галина Степановна тут же в кабинете кормила обедом и с которого брала честное слово, что он вернется в училище; то с пареньком, которого она в прошлом году подобрала на вокзале голодным и замерзшим и устроила в городскую столярную мастерскую, а сейчас пришедшим в новом костюме, в новых сапогах, с расчетной книжной столяра четвертого разряда, чтобы поблагодарить «тетеньку Галину»; или вот с тремя рядышком сидящими на диване маленькими девочками, родители которых заболели в дороге, сняты с поезда и помещены в больницу, а их самих Галина Степановна сейчас устраивает в интернат.

Галину Степановну заставляли в ее кабинете и рано утром и поздним вечером. Был случай, когда к ней позвонили в три часа ночи и сообщили, что из Ленинграда прибыла группа ученых и писателей, и она тотчас же отправила к вокзалу автобус и устроила прибывших в светлые и теплые комнаты на речном вокзале. Она встречала поезда с эвакуированными ленинградцами, вместе со здравотделом размещала больных по клиникам и больницам, выискивала помещения и инвентарь, организовывала новые специальные больницы, общежития, детские дома и всегда действовала в дружеском единении с энергичными людьми из областного комитета партии, из облизполкома, из здравотдела, из горono.

И вот сейчас, среди всех этих многообразных бытовых дел, она настойчиво разыскивала военврача Сергеева.

— Что?.. Что вы говорите?.. — вдруг вспыхнула Галина Степановна. — В пятьсот восемнадцатом?..

Ей что-то говорили в трубку, и она, взволнованно улыбаясь, смотрела на посетителей и сотрудников глазами счастливого человека.

— Спасибо, доктор, большое спасибо, — благодарила она, а в глазах уже появилось какое-то беспокойство. — Что именно? Тяжелое? Поднялась температура?

Потом, словно не до конца уверенная, что речь

идет о том именно враче Сергееве, которого ей нужно, она переспросила:

— А вы проверили? Имя — Константин? Отчество — Михайлович? Из Ленинграда? Третьего ранга? Да, конечно, это он, он, он!

Она получила разрешение посетить больного, спросила, не надо ли чего-нибудь ему привезти, и вызвала машину. Но все машины, как всегда, были заняты. Кто-то уехал, кто-то не приехал, и Галина Степановна, как ни старалась, вовремя выехать в госпиталь не смогла. Она выслушала и отпустила всех посетителей, была на докладе у председателя, договаривалась с директором областной конторы Гастронома о порядке выдачи продовольствия прибывшим ленинградцам и направилась к заместителю председателя облисполкома доктору Григорию Никодимовичу Светлецкому, в чьем ведении были искусство, наука, здравоохранение и дела эвакуации.

Высокий, с крупными, грубоватыми чертами лица, Светлецкий был немного нездоров, сидел в накинутом пальто, хотя в кабинете было тепло, и преувеличенно сердито распекал кого-то по телефону.

— Да.. Так вот предупреждаю: если завтра в двенадцать дети не будут обуты в валенки — пеняйте на себя! Поняли? Считаю, что мы договорились! Завтра в час дня приеду посмотреть!

Он положил трубку.

— Иначе ничего не выйдет, — сказал он, здороваясь с Рузской. — А так, вот увидите: завтра все дети будут в валенках.

— Не сомневаюсь. А вот нам вы не хотите помочь, — начала Рузская.

— Ах, знаю, помню... Ну, давайте, сейчас договоримся.

Но договориться было нелегко. Ежеминутно звонили телефоны — то городской, то внутренний, то междугородний. Говорили из обкома, из районов, из сельсоветов, из госпиталей, из университета, из медицинского института, из театров. Просили помещения для хореографического училища, дров для фельдшерского техникума, материалов для ремонта драматического театра, коек для новой больницы. Жаловались на пло-

хую работу студенческой столовой, на холод в общежитиях, на грубость театральных администраторов, на спекуляцию билетами, на плохое расписание пригородных поездов. Ходатайствовали о принятии делегации эвакуированных женщин, об открытии театра миниатюр, о постройке новых бань в области. Говорили подолгу, обстоятельно. Светлецкий выслушивал, записывал что-то в блокнот, обещал выяснить, рассмотреть. Тут же он вызывал секретаря, отдавал распоряжения, и снова звонил телефон, и снова он слушал доклады, просьбы, жалобы.

— Вот, дорогая Галина Степановна... — сказал он. — Видите сами, что делается. Попрошу вас зайти сегодня после часу, ближе к двум. Только в ночное время и удастся поговорить. А сейчас у меня совещание начальников госпиталей.

Из приемной уже заглядывали в кабинет, и Рузская, получив разрешение Светецкого воспользоваться его «зисом», быстро вышла. Но машины у подъезда не оказалось, и Галина Степановна направилась пешком.

В здании институтской клиники, где сейчас помещался большой госпиталь, возглавляемый опытными врачами, она бывала уже не раз, знала почти всех врачей, неоднократно сталкивалась с ними на различных совещаниях, много раз обращалась к ним по поводу больных. Галина Степановна поднялась по широкой лестнице в третий этаж, прошла вдоль длинного, очень светлого коридора, легко нашла нужную палату и вошла в нее, волнуясь, словно ждала встречи с близким человеком. В палате было две койки, но она сразу узнала доктора Сергеева, будто действительно была давно знакома с ним и он только слегка изменился.

— Доктор Сергеев? — спросила она его с порога, дружески улыбаясь.

— Я... — ответил Костя, удивленно повернув голову.

— Константин Михайлович?

— Верно.

— Из Ленинграда?

— Совершенно верно.

- Военврач третьего ранга?
- Точно.
- Ваша жена — Елена Никитична?
- Да...

Он приподнялся на локтях, словно собираясь встать и пойти навстречу госте. Сердце его болезненно билось, глаза впились в лицо Рузской.

— Значит, именно вас мне нужно, — все так же приветливо улыбаясь, сказала Галина Степановна. — Я получила от нее телеграмму...

- Простите, кто вы?
- Работник исполкома, Рузская.
- Пожалуйста, садитесь.

Косте показалось, что Лена где-то здесь, совсем близко, что она приехала и нашла его, а эта любезная женщина взялась только предупредить об этом.

— А она... не здесь?.. — нерешительно спросил Костя.

— К сожалению, нет. Она в Ленинграде, — виновато ответила Рузская. — Вот телеграмма.

Костя в пятый раз жадно читал и перечитывал телеграмму.

«Откуда же она знает? — думал он. — Вероятно, доложили Никите Петровичу, и он телеграфировал Лене. Лучше было бы написать позднее, когда я поправлюсь. Да, но тогда бы она стала разыскивать меня в санбате. А может быть, она уже была там? — быстро промелькнула новая мысль. — Это было бы ужасно».

Он опустил руку с телеграммой, сказал:

— Простите, пожалуйста. Я растерялся... забыл поблагодарить вас. Большое вам спасибо. Я хотел сегодня телеграфировать жене.

Он смотрел на Галину Степановну и не мог отделаться от мысли, что перед ним в белом халате сидит друг Лены, друг его семьи и, улыбаясь, рассказывает, как она получила телеграмму Лены, как нашла его. Она сказала, что, вероятно, Лена послала много таких запросов во все большие города Урала и Сибири и, значит, сейчас, возможно, уже получает из многих городов отрицательные ответы. Необходимо немедленно послать ей молнией успокоительное

сообщение. Костя ответил, что Лена уж, наверно, получила его телеграмму с дороги и это ее немного успокоило, но сейчас, конечно, надо послать новое сообщение и адрес.

Прежде чем уйти, Галина Степановна расспросила, не нужно ли Сергееву чего-нибудь, сказала, что все необходимое может прислать, составила вместе с ним текст ответной телеграммы, записала в его книжку номер своего телефона, на случай чего-нибудь срочного, и обещала скоро снова навестить его.

У Сергеева, растроганного этой ласковой заботой, еще долго теплилась в груди благодарность. «Вот он, холодный, суровый Урал...» — думал он.

А Галина Степановна, зайдя к хирургу, профессору Харитонову, с горечью узнала, что дела военврача Сергеева далеко не важны. Рентген обнаружил сложный перелом бедра, температура и высокий лейкоцитоз говорят о нагноении, возможно даже о сепсисе.

Профессору показалось, что Рузская не поняла значения его слов, и он разъяснил:

— Высокий лейкоцитоз — это чрезмерное количество белых шариков в крови, характеризующее скопление гноя в организме, а сепсис, вы, конечно, знаете, — общее заражение...

Галина Степановна прекрасно поняла смысл его сообщения. Она даже села, словно пораженная тяжелой новостью. Она хотела сейчас же, не теряя ни секунды, обсудить все меры спасения раненого врача.

— Не волнуйтесь, — сказал профессор. — Думаю, что жизни его не грозит опасность. Но... — он на мгновение остановился, что-то напряженно обдумывая. — Но в отношении ноги трудно сейчас сказать...

— А что? — даже привстала Рузская. — Что именно?

— Как вам сказать. Ведь вы не мать раненого, не жена. Вам можно сказать правду.

— Ну да, конечно, — волнуясь именно как мать, сказала Рузская.

— Возможно, что для спасения жизни понадобится ампутация.

Профессор подошел к ней.

— Простите. Это близкий вам человек?

— Да, — механически подтвердила она. — То есть нет. Это просто знакомый.

— А, вот как.

— Да, близкий знакомый. И я очень прошу вас, профессор...

Он не дал ей договорить.

— Что вы, Галина Степановна! Разве нужно о таких вещах просить? Мы сделаем все, чтобы спасти ногу.

Профессор проводил Рузскую до самого выхода, еще раз объяснил сложность положения и заверил, что будут приняты все меры.

Войдя в свой кабинет, Рузская быстро набросала текст телеграммы, поспешно подписала ее, приложила круглую печать и сейчас же отправила молнией.

Когда девушка курьер ушла на телеграф, Рузская перечитала копию телеграммы:

«Военврач Сергеев Константин Михайлович поправляется. Посылает подробное письмо».

И сказала себе:

— Это правда. Он поправится.

IV

А в действительности дела Кости были плохи. Случилось то, что может случиться с каждым раненым, получившим повреждение верхней или нижней конечности, особенно же верхней трети бедра. Удаление осколков и чужеродных тел — дело нелегкое, а без рентгена и совсем трудное, и поэтому в медсанбате Костю не оперировали. Рану, насколько позволили условия обстреливаемого санбата, обработали, ногу укрепили шиной, и больного поспешно отправили в полевой подвижной госпиталь. Здесь его тоже не оперировали, так как никаких признаков воспаления сустава или каких-либо других осложнений не обнаружили. Шину заменили гипсовой повязкой, и Костю в хорошем состоянии отправили в тыл. В дороге, кроме мучительной боли в ноге, никаких дру-

гих, более характерных симптомов воспаления или показаний к срочной операции не было, и Костя прибыл на место, чувствуя себя прекрасно. Но вдруг все изменилось. На пятнадцатый день после ранения внезапно стала подниматься температура, снова появилась боль, ухудшилось самочувствие. Рентгенограмма показала крупный металлический осколок. К счастью, того, что является самым угрожающим, чего боялся Костя и лечащие его врачи — повреждения тазобедренного сустава, — не было. Но процент гемоглобина заметно уменьшался, лейкоцитоз увеличивался, РОЭ становилась пугающе высокой.

Костя понимал, что ему не избежать страшной операции. Мысль о ней молотом била в виски, наполняла сердце ноющей тоской. Он в точном смысле слова не находил себе места. Скованный неподвижностью ноги и отраженной болью в спине, он едва передвигался в постели то в одну, то в другую сторону. Поминутно он поднимал голову и смотрел на дверь, словно ждал кого-то, кто должен был прийти, принести добрую весть. Но он сейчас же устало ронял голову, закрывал глаза, словно поняв, что никто не придет, не принесет утешения. Он думал о том, как воспримет Лена весть об его ужасном увечье. Она не выдаст себя. Нет, конечно, она будет держать себя так, словно ничего плохого не случилось. Она будет внимательнее, чем когда бы то ни было раньше. Но любить его она не сможет. Нет, не сможет. Нельзя, невозможно ей, совсем молодой, очень красивой женщине, любить изувеченного человека. Она его не оставит, конечно, нет, но и нежности к нему испытывать не будет... Ее нежность вызовет другой, здоровый человек... Это естественно. Впрочем, нет, это не всегда так. Ведь приехала же к соседу, лейтенанту артиллерии Прохорову, жена, проводит же она с ним целые дни, приносит цветы, читает вслух любимые книги, поминутно гладит его по голове и, как только Костя отвернется, быстро, украдкой, целует мужа. Разве отсутствие руки и тяжелый шрам на лице могут подавить чувство любви? Конечно, нет. Впрочем, это, вероятно, больше не любовь, — это жалость, благородство, чувство обязанности, долга. А это унизи-

тельно. Нет, зачем же только жалость? Разве одна жалость могла бы заставить санитарку их отделения, молодую и красивую Шуру, выйти замуж за человека, потерявшего глаз и ногу? Она впервые увидела своего будущего мужа в госпитале, в своем отделении, среди сотен других раненых, и, значит, дело не в жалости, ибо жалела она всех, а именно в любви. И Лена тоже не разлюбит его только потому, что он лишился ноги... нет, конечно, нет...

На минуту Костя, отвлеченный мыслями о других, словно успокоился. Но внезапно возникшее представление о встрече с Леной, когда она впервые увидит его без ноги, словно подбросило его на горячей постели.

Почему же они не идут? Почему не решают вопроса? Ведь если нужна радикальная операция — значит, она нужна, значит, надо ее сделать, и сделать как можно скорей, пока не поздно!

Пока не поздно!..

Эта мысль врезалась в сердце, проникла в кровь.

Если будет поздно — значит, смерть! Если будет поздно — значит, гибель, конец жизни, конец всему. То, что так пугало его, — потеря ноги, — уже больше не представлялось страшным. Потеря ноги сохраняла самое главное — жизнь, возвращала ко всему, что было так нужно, дорого. Он снова увидит Лену, обнимет ее, будет всегда с ней. Он увидит мать и отца, он будет в Ленинграде, пройдет по его улицам, пройдет в свой институт, будет снова работать в своей клинике и лаборатории...

Отчего же они не идут? Отчего медлят? Ведь каждая минута дорога, каждый миг решает вопрос жизни и смерти! Наступает ночь. Значит, операцию отложили до утра. Значит, еще десять, пятнадцать, двадцать часов ожидания, в то время как каждая лишняя секунда может принести непоправимое несчастье. Где же они? Даже дежурный врач не идет, хотя его позвали уже четверть часа назад. Может быть, решили, что операция уже не нужна, уже запоздала и спасти жизнь не сможет? Решили этот ужасный вопрос и боятся сообщить ему? Решили вопрос о его жизни, забыв, что больной — сам врач,

хирург, знающий, мыслящий! Можно было бы с ним поговорить и от него что-нибудь дельное услышать.

— Сестра! — неожиданно для себя закричал Костя. — Сестра, санитарка, черт, дьявол, кто-нибудь, придите сюда!..

— Сейчас, сейчас, я позову... — откликнулась жена Прохорова. — Я позову, не волнуйтесь.

Но вспышка раздражения погасла так же мгновенно, как возникла. Костя почувствовал неловкость.

— Не надо, — сказал он смущенно. — Простите. Они сами сейчас придут. Я только попрошу вас... Вот номер телефона. Скажите, что я прошу, если можно, приехать ко мне.

Он просил вызвать Галину Степановну Рузскую. Он хотел видеть ее, как хотят видеть в тяжелую минуту близкого человека. Она нужна была, — он сам не знал точно зачем, но была очень нужна... Хотелось взять ее руку в свою, дружески сказать ей какие-то слова жалобы, надежды, услышать ее уверения в хорошем исходе операции, передать через нее, может быть последний, привет родным.

— Она сейчас придет, — вернулась Прохорова. — Она здесь, в госпитале.

— Здесь? Почему? — удивился Костя.

— Сестра говорит, что она в кабинете профессора. Там у них консилиум.

Костя внезапно, с новой силой почувствовал заботу о себе. Вдруг неожиданно и странно утихла боль в бедре, и он с благодарным чувством подумал о профессоре Харитонове, в поздний час, после тяжелого хирургического дня, собравшем помощников, чтобы с ними проконсультировать сложный случай.

И действительно, профессор Харитонов в это время был занят вопросом о его ноге. Он шагал по цветной дорожке, проложенной наискосок его небольшого кабинета, и совсем тихо, почти шепотом, словно беседуя сам с собой, в третий раз, с небольшими изменениями, доказывал, что можно без особенного риска идти пока на простое рассечение и удаление осколка и что, по его мнению, у больного, вероятнее всего, нет раздробления сустава и, значит, после операции и очищения раны от гноя все должно пойти

хорошо. Он говорил усталым голосом, но очень убежденно. В самой манере говорить, в том, как напряженно он смотрел на дорожку, по которой упрямо ходил взад и вперед, заложив за спину руки, по тому, как иногда он делал длинные паузы, словно вдруг задумываясь над чем-то, и по многим другим, едва заметным признакам, было ясно, что его все же что-то мучает, что он в чем-то сомневается и не так уж до конца убежден в своей правоте. Его красивое, тонкое лицо стареющего актера было бледно, веки утомленно опускались, папироса давно погасла.

— Ты как думаешь? — остановился он перед своим товарищем, старым хирургом Воздвиженским.

— Я сказал уже... — словно сердясь, что его в третий раз заставляют повторять то, что и так совершенно ясно, ответил Воздвиженский. — Есть или нет ли раздробления, сейчас уже неважно. Налицо тяжелый гнойный или даже септический процесс. Надо спасать жизнь. Боюсь, что ноги не спасти...

— Вы как? — спросил Харитонов своего ассистента, молодого, талантливого хирурга Шилова.

— Я всецело с вами, профессор, — немного резко, словно он ссорился с Воздвиженским, сказал Шилов, отходя от стены, у которой скромно стоял. — Мы не в деревне, мы в клинике. Мы у самой постели больного. Прозевать сепсис мы не можем. Если разрез, паче чаяния, не поможет, мы через несколько часов пойдем дальше. Больной крепок, ему ничего не грозит. Но я глубоко убежден, что предельно широкий разрез и сток достигнут своей цели. И, наконец, вскрыв, мы увидим то, что нам нужно, и в крайнем случае сделаем все необходимое.

Другой ассистент, по возрасту намного старше первого и поэтому не любивший «слишком смелые выпады» и «новаторские штучки», не соглашался с Шиловым, но и почти не возражал профессору:

— Боюсь, что поздно. Очень боюсь, но... надо рискнуть.

Галина Степановна, притаившись в самом углу, слушала разговор хирургов. И когда вопрос был решен, ей показалось, что именно этим решением гарантированы жизнь и здоровье врача Сергеева.

Оставшись один, Харитонов снова двинулся в обычный свой путь из угла в угол комнаты. Потом остановился, подумал с минутку, снял трубку, набрал номер и виноватым голосом сказал:

— Не жди меня... Ужинай и ложись... Нет, я на-долго... Срочный случай... Да... Спокойной ночи.

С больного уже сняли гипсовую шину. Нога была синеватой и отечной. Профессор нагнулся над темнеющей раной, мягко пощупал коричневое от йода, вздутое бедро и ласково сказал:

— Ну что же, все очень хорошо...

— Прекрасно... — прошептал Костя и горько усмехнулся.

Он вспомнил любимые словечки Соколова, произносимые в самые тяжелые минуты, и успокоительный голос Бушуева...

— Что вы будете делать? — спросил он Харитонova. В груди его что-то стянулось в ком и замерло в ожидании ответа.

— О, самую невинную вещь, самый сущий пустяк. Прошу не беспокоиться.

В просторной операционной было светло, будто белоснежные стены и потолок всей своей широкой площадью пропускали откуда-то извне тончайшие золотистые лучи. Они падали на стол, на открытое тело, на простыни, на руки хирургов. И казалось, вместе со светом они излучают тепло, охватывающее больного и убаюкивающее его. Позади Кости стояла сестра, но потом ее, видимо, заменил кто-то из ассистентов, и Костя почувствовал приторно-сладкий, тяжелый запах эфира и безвольно запротестовал:

— Зачем, зачем?.. Не надо... Лучше местную... Я не боюсь боли...

Никто не ответил, но почему-то ему показалось, что вместо Харитонova над ним нагнулся Беляев и сказал:

— Сейчас мы с Леной тебя прооперируем.

И, впадая в сладкую дремоту, Костя, радостно улыбаясь, бормотал:

— Как хорошо, Леночка... Как вовремя ты приехала... Какие у тебя чудесные золотые волосы... Папа превосходный хирург... Я только что играл его

новую сонату «Лечение огнестрельных ранений конечностей»... Это очень удачная вещь... Вскрыть сустав надо по Кохеру снаружи продольно-дугообразным разрезом... Умоляю, не позволяй им резать по Уайту... Это подло, гнусно!.. — закричал он внезапно и резко рванулся. — Я не мальчишка, я сам музыкант, меня не обманешь! Зачем вы режете нервы и сосуды? Это ампутация! Мне больно! Я хотел играть второй концерт с оркестром Рахманинова — Чайковского, а вы режете меня по Смитс — Петерсону. Это чудовищно! Чудовищно! Но когда не будет ног, останутся руки, останется голова... Я сяду за рояль. Этого-то не отнимете. Ведь я музыкант! Музыкант!.. — выкрикнул он. — Я перейду в лабораторию... Я...

Потом Костя заснул и уже ничего не чувствовал. И был безразличен к тому, какой разрез делал сейчас профессор Харитонов — передний по Смитс — Петерсону, боковой по Кохеру или задний по Уайту, вскрывают или не вскрывают сумку сустава. Он не слышал, как удалили большой металлический осколок, обернутый в клочок ткани, как вытекал гной, как спокойно говорил профессор: «Сустав цел... Воспаление идет от этих вот трещин... Видите? Вульгарная гнойная инфекция, нагло воображающая себя сепсисом... Головка и впадины целы...» Он не чувствовал, как тщательно выискивал хирург гнойные затеки, как рассекал их, делал добавочные разрезы, выводил дренажи. Он не видел, как щедро засыпает Шилов рану излюбленным им, Костей, стрептоцидом, как заполняет всю полость сустава маслянистыми тампонами. Он не видел всей сложной работы с гипсовой повязкой, которую накладывал сам профессор, и ассистенты, и специальные помощники, вспомагавшие от тяжелого физического труда.

Костя чуть просыпался, когда его осторожно ввозили на тележке в палату, слышал, как Галина Степановна, встретив в коридоре врачей, спросила: «Ну, как?» И Харитонов ответил: «По-моему, хорошо». И Шилов прибавил: «Все будет отлично», а второй ассистент добавил: «Поживем — увидим».

Галина Степановна вызвала машину, развезла хирургов по домам.

В коричневой темноте плотной апрельской ночи откуда-то из-за Камы падал далекий красноватый отсвет невидимой луны или заводской домны. Веяло робкой весенней теплотой. Усталые врачи сонно прощались, но Шилов горячо и неожиданно, уже стоя у своих ворот, звонко крикнул:

— Все будет прекрасно!

И почему-то еще долго, всю дорогу до самого дома, и поднимаясь по лестнице, и разговаривая с проснувшимся мужем и дочерью, Галина Степановна все еще слышала, как только что прозвучавшую радостную мелодию, брошенные молодым ученым уверенные слова:

— Все будет прекрасно!

И, отвечая на вопросы мужа и дочери о состоянии доктора Сергеева, она так же уверенно и просто сказала:

— Все будет прекрасно!

У

Костя проснулся не сразу. Он открыл глаза, недоуменно огляделся. Узнав санитарку Надю, он хотел ее о чем-то спросить, но отяжелевшие веки снова устало опустились, и он опять задремал. Так повторялось раза три. И вдруг он вспомнил о ноге, испуганно бросил взгляд на нее, не поверил тому, что увидел, быстро протянул руку к бедру. Нога была на месте. Скованная жестким гипсовым футляром, она лежала неподвижно, словно чужая, и только тупая боль где-то в глубине костей и мышц связывала ее с туловищем. И эта связь убедительно подтверждала, что нога цела, полна горячей, пульсирующей кровью. И это ощущение наполняло все существо Кости бурной радостью, чувством новой жизни.

«Нога цела... — взволнованно повторил он про себя. — Нога цела... Нога цела...»

Он сосчитал пульс, и по его умеренной частоте определил, что температура, в сравнении со вчерашней, снизилась, и, значит, воспалительный процесс утих. Несомненно, операция сделала свое дело, достиг-

ла нужной цели, хотя и была первой ступенью в восходящей лестнице возможных, в этих обстоятельствах, хирургических вмешательств. В искусных руках хирургов она сыграла роль большой радикальной операции, сохранив и жизнь больного, и ногу, и, видимо, ее функции.

— Все в полном порядке, — přátельски улыбаясь, сказал Косте на утреннем обходе ассистент Шилов. — О подробностях не спрашивайте: это дело врачей, а не больных. Ваше дело лежать и поправляться.

Он ушел, оставив впечатление уверенности, спокойствия, какой-то большой силы ума и сердца.

И позднее, днем, когда Шилов снова пришел вместе с профессором и они вдвоем осмотрели Костю и ушли довольные, он по их лицам понял, что все идет благополучно. Душа его вновь согрелась благодарностью к этим, вчера еще чужим, а сейчас таким близким людям.

Вечером приехала Рузская. И то, что она вручила ему телеграмму Лены: «Счастлива что поправляешься жду вестей пиши люблю целую», и то, что они снова вместе составляли ответную телеграмму Лене, и то, что телеграмму эту Лена прочтет, вероятно, завтра-послезавтра и снова на нее ответит, — все в этот вечер, словно в награду за много месяцев опасностей и лишений, вливалось в грудь Кости чувство благодарности и высокого уважения к людям, большой, светлой надежды на огромную жизнь, заманчиво расстилающуюся перед ним. И когда Рузская, уходя, прощалась, Костя, смотря на ее гладкие, на пробор зачесанные волосы, в которых уже была заметна седина, уверенно повторил вслед за ней:

— Все будет прекрасно!

В палате над койками висели наушники. Костя, давно не слышавший музыки, с истинным наслаждением слушал трансляцию из Москвы. Впервые после многих недель он мог прослушать произведение целиком, от начала до конца. Исполняли первую симфонию Чайковского, и Костя слушал ее так, точно он вновь читал много раз читанную, но неизменно любимую книгу.

Костя страстно любил Чайковского и в первой,

юношеской симфонии, названной «Зимние грезы», находил что-то близкое, родственное. Вторая, песенная часть, написанная во время путешествия композитора по Ладожскому озеру и получившая название «Угрюмый край, туманный край», особенно волновала Костю. В глубине его сердца что-то чутко откликалось на каждую ноту, на каждый аккорд. И в финале симфонии, построенном на народной песне «Цвети цветики», Костя снова, как когда-то в консерватории на репетициях оркестрового класса, стал подпевать, с трудом сдерживая голос.

— Это у вас от болезни или от здоровья? — смеясь, спросил появившийся в дверях Шилов, дежуривший в этот день. — Чем мы обязаны этому концерту?

— Любви к музыке, — так же улыбаясь, ответил Костя.

— Значит, самочувствие хорошее? — спросил Шилов, вглядываясь в лицо Кости, словно проверяя причину его неожиданного возбуждения.

— Великолепное! — подтвердил Костя. — Я чувствую себя совсем здоровым.

Шилов постоял с минуту, и Костя прочел в его глазах борьбу мгновенных противоречивых чувств: радости, сомнения, тревоги. Затем он уверенно сказал:

— Вы действительно скоро поправитесь.

Приказав Косте спать, Шилов неожиданно выключил радио и верхний свет, оставив одну синюю лампу.

Впервые за долгий период Костя всю ночь спал спокойно.

А утро принесло ему новую радость. Шилов рассказал, что ночью звонил из Москвы Никита Петрович, справлялся о Косте, передавал приветы и обещал похлопотать о поездке к нему Лены.

Днем в палату, осторожно опираясь на палку с резиновым наконечником и держась одной рукой за стену, медленно вошел человек в обычном госпитальном халате, в белых носках и мягких домашних туфлях.

Косте показалось, что он где-то видел это лицо. Он напряг память, но вспомнить ничего не мог. Боль-

ной казался очень немолодым и не был похож на военного.

«Откуда он здесь? Кто он?» — думал Костя.

— Вы, говорят, ленинградец? — очень тихим голосом, странно растягивая слова, спросил Костю незнакомец. Он улыбался, но улыбка на его желтом и морщинистом лице получилась какой-то болезненной.

— Да, ленинградец... — ответил Костя и подумал, что и голос незнакомца он где-то, несомненно, слышал. — Пожалуйста, садитесь.

Посетитель охотно сел, но сделал это очень неловко, и табуретка, отталкиваемая его произвольными движениями, долго отодвигалась, словно кто-то невидимый старался ее отнять. Санитарка придвинула табурет, помогла ему сесть.

«Тяжелая контузия или ранение мозга, — привычно вдумываясь во внешние признаки тяжелой болезни, решил Костя и даже чуть приподнялся, словно готовясь обследовать больного. — Нет координации движений».

— Я тоже ленинградец, — еще тише сказал больной. — Ужасно потянуло к земляку.

— И я очень рад, — просто сказал Костя. — Простите, как ваша фамилия?

Посетитель не то не расслышал вопроса, не то не захотел отвечать. Он устало молчал, будто ожидая, что земляк начнет рассказывать ему о Ленинграде.

— Вы давно из дому? — спросил Костя, зябко закрывая ноги полами халата.

— Месяцев десять. Сейчас я с фронта.

Сергеева волновал вопрос: кто же этот, такой знакомый человек? Но больше расспрашивать он не решился.

Он вглядывался в лицо незнакомца — необычное и характерное. Большой покатым лоб был отчетливо прорезан несколькими глубокими морщинами от виска до виска. Темные с рыжеватым отливом волосы уходили назад двумя мягкими волнами. Подбородок выдвинут, слегка суженные глаза, немного тусклые, затянутые дымкой страдания, внимательны и умны.

— Вы ранены или контужены? — спросил Костя.

— Ни то, ни другое, — немного виновато сказал гость. — Я просто болен. Я ведь не военный.

«Конечно, конечно...» — почему-то обрадовался Костя. Он уже не сомневался, что встречал этого человека где-то в Ленинграде. Ему хотелось как можно скорее узнать, чем болен его новый знакомый, почему он при ходьбе чуть-чуть волочит ногу, но не так, как при обычных параличах, и почему не дрожат у него руки в покое и, наоборот, сильно дрожат, как только он делает какое-либо движение, и, наконец, почему он так удивительно медленно говорит. Эта резко замедленная, скандированная речь больше всего удивляла Костю. Слова иногда разбивались на отдельные слоги с резкими паузами и при этом произносились монотонно и уныло.

«Дрожательный паралич или рассеянный склероз... — поставил Костя диагноз. — Но что именно?»

Он уже не сомневался, что его новый знакомый болен одной из этих тяжелых болезней, и присматривался к каждому движению, взгляду, прислушивался к его странной речи. Он восстанавливал в памяти наиболее характерные симптомы той и другой болезни и все больше склонялся к мысли о рассеянном склерозе. На мгновение вспыхивала мысль: «Ах, не все ли равно, какой именно из этих двух болезней он болен? И та и другая не знает средства исцеления, и та и другая ведет к длительной инвалидности и к неминуемой смерти. И чем дольше тянется болезнь — а она может затянуться и на долгие годы, — тем тяжелее она и для больного, и для окружающих...» Но страстная мысль врача-исследователя, целителя уже загорелась в горячем мозгу Кости. Он сопоставлял симптомы этих двух органических нервных заболеваний. Он не находил того, что было так характерно для дрожательного паралича, — маскообразного, неподвижного лица, наклонения вперед туловища и головы, дрожания в кистях рук. У незнакомца не было согнутых в коленях ног, словно он на ходу приседает, как это бывает при дрожательном параличе.

«Сомнений нет, у него рассеянный склероз...» — решил Костя.

С нетерпением дослушав все, о чем так медленно рассказывал ему больной, Костя внезапно спросил:

— Скажите, у вас не рассеянный склероз?

— Да... — удивился больной. — Но... Простите... Почему вы думаете?

— Я наблюдаю... — смутился Костя. — Сужу по ряду характерных симптомов.

— Но когда же вы успели их заметить? Ведь ни один врач не сказал мне этого вот так, сразу... Вы невропатолог?

— Нет.

— Тогда вы чудовище.

Они оба рассмеялись. Но сейчас же оба стали серьезны и замолчали. О чем думал больной, Костя не знал, но себя он поймал на том, что словно бы обрадовался, узнав, что у ленинградца именно рассеянный склероз, забыв, что это смертный приговор для больного.

— Устал... — тихо, почти шепотом сказал больной, — пойду, полежу.

Косте показалось, что он жестоко огорчил этого человека своей глупой непосредственностью, что было крайне неделикатно так резко назвать болезнь, хотя больной уже давно о ней знал. Именно то, что ее можно так легко, с первого взгляда, распознать, должно было его особенно встревожить. Но больной, медленно поднявшись, сказал, дружески улыбаясь Косте:

— Если силы позволят, я позднее зайду к вам.

— Пожалуйста, прошу вас, — откликнулся Костя. — Буду очень рад.

И сейчас же, подняв голову, стал внимательно следить за походкой и движениями больного.

— Кто это был? — спросил Костя у санитарки Нади, как только она вошла в палату. — Как его фамилия?

— Фамилии не помню, какая-то очень трудная, — весело ответила санитарка, — знаю только, что писатель.

— Писатель?.. — переспросил, что-то вдруг вспоминая, Костя и сделал движение, будто хотел сейчас же подняться и пойти вслед за ушедшим.

Он вмиг сопоставил все, что знал о госте: ленинградец... писатель...

Костю охватило волнение. Как же он сразу не догадался?.. Ведь он видел его портреты, даже слышал его лекцию... Но почему он здесь? Как хорошо, что он познакомился с ним, что будет часто видеть его, говорить с ним.

Но в ту же минуту Костя вспомнил: рассеянный склероз! Это неизлечимая болезнь... Это несчастье, скорый конец... Болезнь может тянуться годы, но она неизбежно, и сравнительно быстро, выводит из строя, делает человека полным инвалидом. А то состояние, в котором находится сейчас больной, — одна из последних стадий. Случайная простуда, неожиданное осложнение — и резко ослабленный организм, неспособный к сопротивлению, сразу сдает. «Нет, нет, нет... — томился Костя сознанием своей беспомощности. — Ему не поправиться. Еще год, может быть два — и он погибнет!..»

Костю не покидала мысль о писателе. Снова он с горечью подумал, что тот еще молодой. — ему, видимо, нет еще и пятидесяти, — а осужден на скорую смерть. Почему-то вспоминалась описанная этим автором гибель Грибоедова, смерть Кюхельбекера. Вероятно, и в конце романа о Пушкине автор дает описание смерти великого русского поэта. Может быть, третья часть уже написана? Надо спросить. Пока же Костя вспоминал конец второй части — приезд Державина в Царскосельский лицей, чтение юным Пушкиным стихотворения «Воспоминания в Царском селе», восторг Державина, выбежавшего из-за стола, чтобы обнять Александра, «побег» смущенного чтеца и последние слова, брошенные Державиным:

— Во весь опор!

Захотелось скорее прочесть третью часть. Надо спросить писателя сегодня же. Надо непременно повидать его как можно скорее, сказать, что медицина сейчас на большом подъеме, что каждый день приносит все новые великие изобретения, открывающие пути лечения болезней, считавшихся ранее неизлечимыми.

Костя ждал писателя, но в этот день он больше

не появлялся. Пришла Рузская, и от нее Костя узнал, что эвакуированный из Ленинграда писатель уже несколько месяцев живет со своей семьей в этом городе, что в госпиталь привезла его она, Рузская, с помощью другого ленинградского литератора, потому что здесь работают наиболее нужные ему врачи и здесь ему удобнее, чем в больнице. От Рузской Костя узнал, что, несмотря на тяжелую болезнь, писатель продолжает работать, стремясь закончить третью часть романа о Пушкине. Рузская сказала, что он очень плохо себя чувствует и врач запретил ему подниматься. И у Кости тоже вдруг заметно поднялась температура, появилась боль в ноге. Дежурный врач сделал сердитое замечание по поводу его «чрезмерного вхождения в жизнь» и предложил Косте вести себя в строгом соответствии со своим состоянием.

— Поймите... — пытался объяснить Костя свое поведение. — Я раньше всего — врач и не могу оставаться спокойным, когда рядом больной. Хочу или не хочу, я думаю, переживаю.

— Раньше всего вы — больной! — сердито возражал дежурный врач. — Когда вы поправитесь, вы снова будете врачом. — И, желая несколько смягчить резкость своих слов, шутливо прибавил: — Я запрещаю вам частную практику в стенах военного госпиталя.

Поправив подушку и одеяло, сделав несколько указаний в отношении режима, врач ушел.

После этого Рузская стала почему-то говорить с Костей шепотом, и Костя также отвечал ей шепотом. Она поила его чаем с домашним печеньем, принесенным в толстом портфеле, и при этом оборачивалась на дверь, будто боялась, что за это Косте тоже попадет. Она делала испуганные глаза и ходила на цыпочках, это ужасно напоминало Косте его детство: тяжелую корь, мать, кормившую его чем-то запретным и вот точно так же, как сейчас Рузская, делавшую испуганное лицо и оглядывавшуюся на дверь, за которой якобы спрятался доктор.

Рузская ушла, и Костя остался один. Сосед его крепко спал; доктор, уходя, выключил радио, унес книгу. Закрыв глаза, Костя старался уснуть.

Но уснуть он не мог. В горячей голове все мешалось. Подходила к постели Лена в белом кружевном платье, в том, что было на ней в тот последний из светлых, мирных дней. С цветами в руках, на груди, в прозрачных золотых волосах она наклонялась к нему, целовала его в губы. От нее пахло теми духами, которыми она была тогда надушена. Но Лену кто-то грубо отталкивал. На ее место становился человек на костылях, с лицом Пушкина, и, плача, просил помощи, говорил, что он верит в Костино обещание вылечить его. Но Костя чувствовал себя подавленным и плакал вместе с длинным, бледным Кюхлей, которому Пушкин отдал свои костыли, а сам ушел в соседнюю палату к больному писателю. Костя плакал, но Лена снова наклонялась над ним, белая, в цветах, ароматная, в желтых резиновых перчатках, со скальпелем в руке. Она опять целовала его и говорила, чтобы он не беспокоился, что она сейчас прооперирует всех больных, и все поправятся.

Тогда он успокоился, перестал плакать и уснул.

VI

Костя получил письмо от Лены и, по собственному признанию, за день прочел его от начала до конца семь раз. Сосед Прохоров говорил, что, по его подсчетам, — девять. Примирились на восьми. Но, воспользовавшись сном Прохорова, Костя снова торопливо перечитал письмо. Больше он не решался читать только потому, что стеснялся свидетелей. Уже один почерк Лены вызывал у Кости нежное умиление, и он подолгу рассматривал то конверт, то первую строчку с обращением к нему, то подпись Лены с характерным росчерком. Самый же текст со знакомыми оборотами, любимыми словечками и шутками притягивал к себе, вселял какую-то встревоженную радость. Письмо было ласковое, уверенное, но в каждом абзаце Костя улавливал тщательно скрываемое волнение. Лена, видимо, боялась даже упомянуть о серьезном увечье и придумала смешную детскую хитрость: коротко описала свое отделение в клинике и, между прочим, рас-

сказала об одном больном, потерявшем зрение, и о том, как восьмилетний сын его, придя на свидание к отцу, ласкаясь, сказал: «Ты, папка, не бойся, что слепенький, мама сказала, что она тебя еще больше любит. И я тебя тоже еще крепче люблю. И книжки мы с мамой будем тебе по очереди читать». Костя перечитывал эти строчки и не знал, отчего так странно ныло его сердце — от чудесных ли детских слов или от этой, так глубоко спрятанной тревоги Лены.

И ему хотелось как можно скорее убедить Лену, что он действительно поправляется. Болезнь его заметно затихала, по несколько дней подряд он чувствовал себя почти здоровым. Его взволновало письмо, потянуло в Ленинград, к Лене, к родителям. И с детства знакомый весенний закат над Невой, изображенный Леной в письме, еще больше разбередил его тоску. И Костя, как всегда в минуты волнений, стал жадно смотреть через открытую дверь в коридор, опять ждал, что кто-то войдет, принесет ему радость и успокоение. Это может быть телеграмма, письмо, звонок по телефону, Галина Степановна с доброй вестью или даже сама Лена.

«Никита Петрович писал, что постарается организовать для Лены хотя бы коротенький отпуск, значит она может в любую секунду внезапно появиться...» — думал Костя и с удивительной ясностью представлял себе, как на пороге вдруг покажется Лена, как в первое мгновение не узнает его, а потом будет долго вглядываться в его постаревшее, измученное лицо...

Сколько вариантов этой встречи рисовалось ему! Он уже стал почти неотрывно смотреть в узкий проем двери и нетерпеливо ждать появления Лены, будто ее приезд не только был возможен, но обязательно произойдет и, вероятнее всего, сегодня же...

Но часы и дни проходили, и никто не появлялся. Даже Галины Степановны подолгу не было, не было телеграммы, не было писем.

Это томило и делало и без того длинный госпитальный день бесконечным, а ночи — бессонными и беспокойными. Словно поняв, что нельзя превращать жизнь в сплошное ожидание, Костя почувствовал

необходимость работать. Почему он не может заняться своим делом? Ведь работают и лежа в постели. Ведь пишет же больной писатель третью часть своего романа «Пушкин»? Пишет, несмотря на то, что не только тяжело болен, но и знает о неизбежности близкого конца! А ведь ему, Косте, ничего не грозит, он здоров, он только еще не может ходить, и в этом вся болезнь.

Он попросил принести его вещевой мешок с тетрадями и блокнотами. Галина Степановна прислала ему целую стопу бумаги, карандаши, перья, и он сразу же стал увлеченно работать. Хотелось как можно скорее записать все фронтовые наблюдения, сделать необходимые обобщения. Правда, пока еще трудно было остановить свое внимание на том главном, что было темой его работы. Многое уводило в сторону, все казалось очень важным, интересным. Нужен был отбор основного. С чего начать? Он хотел писать о правильной организации выноса раненых с поля боя, считая, что это один из важнейших вопросов военно-санитарного дела; точно так же его давно, с первых дней работы на фронте, волновал вопрос о наибольшем приближении хирургической помощи к линии огня, что являлось, по его мнению, решающим моментом влевой хирургии. Ему хотелось поговорить о специализированной помощи с первых этапов, так как это в огромной степени решало судьбу больного в дальнейшем; много нового было и в вопросе первичной обработки раны, обогатился опыт борьбы с шоком, с тяжелой кровопотерей, с инфекцией.

Инфекция раны! Это самое главное! Это и есть то, о чем он должен в первую очередь сказать свое слово. Здесь он сможет взять сто, двести историй болезни и по ним проследить за ходом заболевания — от ранения и момента первичной обработки раны до состояния больного в данную минуту. И все остальное найдет, конечно, место в его работе, но борьба с инфекцией раны и роль сульфамидных препаратов в этой борьбе будет по-прежнему его основной темой. Можно сопоставить все, что делал он и его товарищи на фронте, с прямыми результатами их деятельности, выяв-

ленными в тыловых госпиталях, и прийти к выводам о достоинствах и недостатках их работы.

Костя весь предался новой теме. Он рассказал о своих замыслах Харитонову и Шилову, и оба они обещали помочь. Для Кости и пожилой профессор Харитонов, и совсем молодой ассистент Шилов были высокоавторитетны. То наивное — откуда оно только бралось? — представление о периферийных, «провинциальных» врачах, которое еще недавно существовало у Кости, сейчас сменилось почтительностью, горячей верой в них. У Харитонова был большой, весьма обстоятельный труд «О предупреждении и лечении столбняка», и Костя, ознакомившись, увидел, что это одна из лучших книг по данному вопросу. Универсальная эрудиция, большой практический опыт, подлинно научная мысль — все, что отличает истинно ученый труд, — светились в каждой странице, в каждой строчке этой книги. Какая там, к черту, периферия! Этот труд мог бы украсить любую кафедру любого института мира! У Харитонова была и другая книга — «совсем из другой оперы», как он сам говорил, — «О ранениях черепно-мозговых нервов», и Костя, в свое время прочитавший немало по этому вопросу, сейчас с возмущением вспомнил, что ни среди книг Никиты Петровича в его замечательной библиотеке, ни на столе Лены, изучавшей все новейшие труды по нейрохирургии, он не видел превосходной книги уральского профессора Харитонова. Здесь, в госпитале, в бывшей своей клинике, Харитонов создал большое нейрохирургическое отделение, куда направляли больных из других госпиталей, здесь он творил чудеса тончайшего хирургического искусства, о которых восторженно говорили врачи не только города и области, но и всего Урала.

— Вот начнете ходить, — говорил Косте Шилов, — мы вам продемонстрируем работу нашего профессора. Ахнете!

И сам Шилов, преданный помощник Харитонова, ассистировавший ему в сотнях операций, восстанавливавших речь, слух, зрение, память многих десятков бойцов, был достоин своего учителя. Он специализировался в трудной области операций сердца. Он

уже сделал свыше тридцати таких операций, удалив из желудочков, из предсердий, из мышц сердца осколки снарядов, пули, обрывки одежды.

Костя любил его сутулую фигуру, рассеянный взгляд юношески молодых глаз, торопливую походку всегда занятого человека. Шилов быстро входил в палату, коротко опрашивал больных, считал пульс, делал назначение и так же быстро выходил. Отделение было большое, больных много, операции производились ежедневно, осмотры отнимали много времени, и Косте понятно было, почему Шилов, обычно удивительно мягкий и деликатный, все же иногда бывал несколько резок в разговоре — слишком лаконичен в вопросе, отрывист в ответах, строг с персоналом. Шилов приходил в госпиталь очень рано и уходил поздно ночью. Никто не видел его без дела. Зато многие знали, что он нередко забывал пообедать, не всегда успевал побриться, чаще всего уходил домой лишь после многократных телефонных звонков жены.

Костю трогало, когда Шилов приносил толстые папки с историями болезней и подолгу беседовал с ним на волнующие темы. Приятно было увидеть, что работа врача на фронте — в полковом пункте, в санбате, в полевом госпитале — является здесь, в далеком тылу, предметом пристального внимания. В документах были отмечены все этапы эвакуации, точно названы способы хирургического вмешательства, обработки, указаны средства лечения. Сергеев увидел, что он действительно может проследить за эволюцией каждой болезни, изучить их в большом количестве и сделать соответствующие обобщения. Он вновь почувствовал себя полноценным человеком, могущим заняться своим делом. И это увело его от тоски по Лене, от горечи, вызванной ее новым запоздавшим письмом, в котором она подробно рассказывала, как ехала к нему в санбат, как истомилась в ожидании встречи и как ужасно страдала, узнав о его ранении и отъезде.

Всю ночь, почти до рассвета, Костя, одну за другой, читал двадцать четыре истории болезни тех больных, которым нож молодого хирурга Анатолия Шилова вернул жизнь. Он читал страницу за страницей,

как читают любимый роман. Он вспомнил другую книгу, которую читал с такой же страстностью, — «Раны сердца и их хирургическое лечение», книгу одного из лучших советских хирургов, ленинградца Юстина Юлиановича Джанелидзе. Описанные там операции, совершенные замечательными советскими хирургами Грековым, Цейдлером, Оппелем, Джанелидзе и другими, перекликались с теми, что делал в «тиши» далекой уральской области молодой, никому не известный ассистент профессора Харитонов. Косте представлялось, что каждая операция, которую он сейчас анализировал по клиническим документам, могла быть темой художественного произведения, так много было в ней подлинно высокого искусства.

Косте захотелось скорее дожидаться утра, чтобы на обходе увидеть Шилова и почтительно пожать ему руку.

Но утром Костя узнал, что Шилова ночью срочно вызвали на консультацию в область и на рассвете он вылетел на крохотном «ПО-2».

Костя работал весь день. На столике, на постели, даже на подоконнике лежали папки, тетради, бумага, и он писал, не замечая усталости, будто давно находился в подобных условиях и прочно к ним привык.

«Кажется, я быстро поправляюсь и начинаю понемногу входить в жизнь», — думал Сергеев.

И это действительно было так.

VII

Уже давно наступило лето. В открытые окна палат вливались щедрые потоки горячего солнца и делали весь огромный госпиталь каким-то особенно светлым и даже веселым. Казалось, с наступлением этих золотых дней в помещениях стало гораздо меньше тяжелобольных, сократились операции, смягчились страдания при перевязках. Раненые собирались у окон, гуляли по просторным коридорам и лестницам, спускались в обширные дворы, заводили у тонкой проволочной решетки садика знакомства с про-

ходящими мимо девушками, сидели на траве и на скамеечках с книгами и газетами.

Костя все еще не мог свыкнуться с тем, что он на Урале. Этот далекий край всегда представлялся ему холодным и обязательно угрюмым. Самое слово «Урал» содержало в себе что-то суровое и холодное. И оттого сейчас, в эти удивительно яркие, напоенные теплом и светом дни, Косте все казалось, что он находится на юге. Широкая река, заманчиво синевшая невдалеке, темная зелень густого леса на том берегу, большие, проплывающие мимо теплоходы — все словно взяло на себя приятную обязанность опровергнуть его прежние представления об Урале. Манила бескрайняя даль лесов, мягкая гладь реки, будоражило золотое тепло солнца, оставлял неясную тревогу только что скрывшийся где-то за поворотом уютный пароход.

Это был Урал! И река, видная из окна, была Кама. И бескрайние леса были древние уральские леса.. Черные дымы множества высоких кирпичных труб на небольшом пространстве в изгибе реки поднимались над стариннейшим уральским оружейным заводом, которым в этой войне гордилась вся страна.

Это был Урал, но не холодный, не хмурый, каким он многим представлялся. Это был солнечный, приветливый Урал, и люди его, с которыми Костя все больше и больше знакомился, не были замкнутыми, холодными, как казались раньше.

Костя уже понемногу бродил по госпиталю. Он ступал осторожно, опираясь на костыли. Нога в суставе еще плохо сгибалась и болела. Это не позволяло Косте начать работу в госпитале. Он не мог еще стоять у операционного стола и хотя бы ассистировать, не мог взять на себя одну-две палаты. Это по временам приводило его в отчаяние.

— Не впадайте в хандру, Константин Михайлович, — успокаивал его Шилов. — Еще неделя-другая, и будете двигаться отлично.

Костя получил телеграмму о скором выезде Лены, потом новую с точной датой отправления из Ленинграда. И вдруг, в тот самый день, когда он уже рассчитывал увидеть ее, пришла молния, извещающая

о невозможности в ближайшее время оставить госпиталь.

Он свалился, точно сраженный тяжелой болезнью. Двое суток не поднимался, ни с кем не разговаривал. Было такое ощущение, будто случилось что-то непоправимое. Тысячи самых мрачных мыслей наполняли его голову, и чем более они были нелепы, тем более казались вероятными. Он обвинял Лену в равнодушии, в нежелании приехать к нему, подозревал ее в чем-то. Но тут же упрекал себя в незаслуженных подозрениях. Сейчас больше, чем когда-либо раньше, он любил и ревновал ее. Любовь и тоска заполняли его целиком, заставили написать длинное письмо, полное новых, взволнованных слов, которых он никогда еще ей не говорил.

Отправив письмо, Костя ощутил глубокое умиротворение, какое испытывают после тяжелой напрасной ссоры с близким человеком и наступившего вслед за тем искреннего мира. Спокойствие неожиданно нарушилось событием, случившимся в соседней палате, где Сергеев часто бывал. Среди раненых этой палаты лежал артиллерист, саратовский колхозник Матвей Кожевников, человек лет тридцати. Он потерял левую руку, на лице его был глубокий, еще не совсем заживший шрам. Это уродовало его, притягивая нос книзу и делая его кривым и широким. Шилов обещал произвести пластическую операцию, которая должна была вернуть Кожевникову «былую красоту». Костя никак не мог понять, почему Кожевников сообщил жене о всех подробностях своего ранения и даже послал из госпиталя свою новую фотографию. «Зачем он это сделал? — размышлял Костя. — Из особой мужской гордости? Мол, решай, я теперь не такой, каким был... я — урод, а ты красивая и молодая...»

Жена Кожевникова долго не отвечала на письма мужа, и лишь в ответ на прямой вопрос: почему она не пишет? — коротко сообщила, что решила жить одна, уехать в Саратов учиться, а дочь пока оставит у бабки. Мать Кожевникова писала, что, получив его письмо, жена три дня проплакала, потом отпросилась в колхозе учиться и, оставив девочку, уехала. Соседи

говорят, что не в Саратов, а неизвестно куда, чтобы муж не мог ее найти.

«Не горюй ты, мой сыночек, — писала старуха большими, падающими на все стороны буквами. — Не плачь, Мотюшка, не жалея об этой суке. Я уже приглядела тебе жену. Может, не такая белая да гладкая, зато хорошая. Знаешь Грушу, дочь Пантелея? А мне ты, какой был, такой и остался, дорогой сыночек, раскрасавец любезный. А что руки нет, так у нас хватит рук. И, в общем, управимся, и весь колхоз ждет, не дождется, только скорей приезжай. Ждет тебя, сыночка милого, твоя мать Настасья Кожевникова».

Кожевников тосковал по жене тяжелой мужской тоской. Днем он подолгу лежал неподвижно и молча. Письмо он отдал соседям. Все в палате читали это письмо, обсуждали, но сам он говорить ни с кем не хотел и на вопросы не отвечал.

— Плюнь ты на нее, коли она такая... — говорил ему сапер Цепенюк. — Другую найдешь красавицу. У меня, сам знаешь, физиономия — что твое решето, нос на вершок перерос, фигура — божья халтура, а вот верь не верь, девушки наикрасившие липнут, как мухи к меду. И ты к этому будь готов.

Кожевников молчал.

— Ежели она могла бросить тебя в таком положении, — высказывал свои соображения другой сосед, степенный артиллерист Савин, — то грош ей цена в базарный день. Верно говорит Цепенюк, — плюнь, не расстраивайся.

Кожевников молчал. И только, когда ему очень надоедали, тихо, но внушительно говорил:

— Не мели!

И снова часами молчал, неподвижно лежа на спине.

Одного Сергеева он слушал внимательно, потому что только один Сергеев говорил не о новой жене, а высказывал уверенность, что вернется прежняя.

— Это будет именно так!.. — повторял Костя. — Ей показалось страшно жить с некрасивым, и она ушла, но пройдет короткое время, она поймет, кого потеряла, и вернется. Обязательно вернется!

И Кожевников успокаивался, поднимался с постели и ходил за Сергеевым по пятам.

А Костя думал о том, как страшно потерять любимую жену, как должно быть сейчас одиноко в усталой душе Кожевникова, как оскорбительно, когда это случается с солдатом, отдавшим для родины здоровье, силу, красоту.

Костя долго оставался под впечатлением этой семейной трагедии и думал о том, как бывают не просты, запутаны семейные дела и как легко, до ужаса просто обрывается иногда любовь. «Так обрывается сердце, отрезанное осколком снаряда от сосудов...» — повторял про себя Костя.

Он рассказал о драме Кожевникова больному писателю. Тот едва заметно, одними глазами, улыбнулся и медленно, еле слышно сказал:

— Это случается... Это жизнь...

Он уже почти не поднимался, но полусидя, а иногда спуская ноги с кровати, продолжал работать. Рука его двигалась медленно и заметно дрожала, выводя крупные, неровные буквы. Мысль, очевидно, бежала быстрее, чем рука успевала записать ее, и слова часто оставались недописанными, предложения незаконченными, иногда только начатыми. Материалов было мало, их добывали ему с трудом. Приходилось писать почти только по памяти, а память уже изменяла. Больному с каждым днем становилось все тяжелее. Ноги были совсем непослушны, руки слабы, речь затруднена. Но он хотел закончить роман о Пушкине и каждое утро брался за перо, несмотря на то, что, видимо, писать уже больше не мог.

Костя с трепетом держал страницы рукописи, читал вслух, жадно вглядываясь в текст. Но многих фраз он не мог разобрать. Тогда писатель отбирал рукопись и читал сам. Он делал это медленно, скандируя, произнося почти раздельно каждый слог и затягивая паузы между словами. Он читал напряженно, и Костя, боясь, что большой переутомляет себя, пытался отнять рукопись.

— Вы устали, не надо больше. В другой раз.

Но он не слушал и читал дальше. В последний

раз Косте показалось, что писатель читает что-то очень знакомое. Он прислушался внимательно и уже ясно припомнил главу из второй, давно напечатанной части. В самом деле...

«Война началась в ночь с двадцать второго на двадцать третье июня. Наполеон с четырьмястами тысяч войска перешел невдалеке от Ковна Неман. Войска его вступали в Россию. Половина войск его были французы, половина — немцы, невольники и данники Наполеоновы. Шли пруссаки, саксонцы, баварцы, вюртембергцы, баденцы, гессенцы, вестфальцы, мекленбургцы. Шли австрийцы, поляки, испанцы, итальянцы. Шли голландцы, бельгийцы с берегов Рейна, пьемонтцы, швейцарцы, генуэзцы, тосканцы, бременцы, гамбургцы. Они скакали день и ночь, давая лишь краткую передышку лошадям...»

И дальше все было также знакомо, словно Костя только вчера читал эту главу, одну из последних глав книги. Слово за словом, фраза за фразой повторялось в рукописи то, что было напечатано в журнале и в отдельной книге. Костя хорошо все помнил и сейчас с ужасом думал, что писатель забыл о ней, забыл, что теперь он пишет третью часть. Костя, не прерывая, слушал, и внимательно и рассеянно, и думал о законах мозга, о болезни, перевернувшей работу памяти и повторившей то, что творческое воображение художника уже однажды создало.

«...Враг шел стремительно, в больших силах направляясь не то к Петербургу, не то к Москве. Незвестность была полная».

Да, автор снова написал главу, которую уже написал раньше. Почему? Может быть, внешнее сходство военных событий, поход на Москву и Ленинград, нашествие фашистов на страну вызвали эту ассоциацию? Это, очевидно, было именно так, но почему память потеряла готовую, созданную, написанную главу и потом выдвинула ее как новую?

Писатель устало закрыл глаза. Сергеев унесся мыслями в область физиологии и патологии. Он опять спрашивал себя: почему на здоровых тканях нерва появляется склеротическая бляшка? Каким путем она рассеивается по всей нервной системе? Что надо

делать, чтобы остановить ее ужасное разрушительное действие?

Костя поднялся, схватил костыли и взволнованно прошелся по палате.

— Прекрасная глава. Она мне очень нравится!

— Да... — медленно, очень медленно сказал писатель. — Она написалась как-то, знаете, легко, быстро... Будто я давно ее обдумал, а сейчас только записал...

Потом он читал еще отрывок, и это было действительно из новой главы. Костя слушал и видел, как наяву, пламенного, вдохновенного Пушкина. Этот отрывок произвел на Костю большое впечатление не только силой своего художественного воздействия, но еще и тем, что автор находит в себе силы продолжать дело воссоздания чудесного образа Пушкина, его окружения, его эпохи.

Больной давно не был на воздухе и довольствовался только распахнутым настежь окном. Костя позаботился, чтобы его вывели в госпитальный дворик. Два санитара усадили больного в кресло и снесли вниз. И Костя, держась за перила, очень медленно и очень осторожно, поддерживаемый Кожевниковым, пошел сзади. Писатель подставлял лицо и грудь горячим лучам солнца, втягивал аромат нагретой травы. Бледное его лицо казалось еще бледнее, глубокие продольные морщины на лбу — еще глубже.

— Хорошо... — говорил он, медленно оглядывая все вокруг. — Ах, как хорошо...

Когда его несли обратно, он сказал Косте:

— Вы хотели поиграть мне...

Его внесли в клуб, и Костя сел за рояль. Он уже играл здесь несколько раз, но все равно, садясь за инструмент, он и сейчас испытывал такое ощущение, будто играл впервые после многомесячного перерыва. Рояль был расстроен, но это не умаляло радости прикосновения к клавишам. Тонкие пальцы привычно и просто ложились на желтоватую кость, ответное звучание возникало дружески и услужливо, и Костя весь предался музыке. Он играл свою любимую «Элегию» Рахманинова, потом его же прелюд, потом этюд Шопена «Польское восстание».

Больной слушал молча. Сидя в низком кресле, он оперся обеими руками на палку и положил на руки подбородок. Морщины на лбу стянулись в глубокие складки, губы плотно сжались. Так же молча и неподвижно он слушал любимую Костину «Елку» Ребикова.

— Вы не устали? — спросил Костя. — Может быть, для первого раза хватит?

— О нет, нет! — проговорил больной. — Ради бога, еще! — И вдруг спросил: — А какие вы знаете похоронные марши?

— Почти все, — ответил Костя. — Но... признаться, не люблю их, — солгал он.

— Пожалуйста, сыграйте, если можно, Вагнера — из «Гибели богов».

Костя знал этот марш, считал его лучшим после бетховенского. Сначала он сыграл его, а потом, увлекшись, сыграл и Бетховена из «Героической симфонии». Закончив, он с минутой был неподвижен, потом обернулся.

Писатель сидел все в той же позе, но еще более бледный, и по желтым щекам его стекали две тоненькие струйки скупых слез.

VIII

Костя вспоминал свой санбат как свой дом. Так же часто, как Лену, как родителей, как институт и клинику, он вспоминал Соколова, Колю Трофимова, Бушуева, Шурочку. Он видел их так ясно, словно только вчера оставил разбитые палатки, в которых люди, открытые морозу, ветрам, снегам, только что потерявшие товарищей, продолжали оперировать, перевязывать, эвакуировать в тыл. Так же часто, как Ленинград, как жену, мать, отца, как большие, светлые палаты клиники, он видел свой узкий операционный стол, белые шкафчики, полупрозрачные перчатки, руки ассистента с зажимом или марлей над свежей раной. Он скучал по санбату, хотел знать, что делается там сейчас, в данную минуту. Живы ли люди,

с которыми он работал, или, попав в тяжелую переделку, батальон снова потерял кого-нибудь из них.

Костя был очень рад, когда получил, одно за другим, несколько писем из санбата.

«...Хорошо, что ты сообщил нам свой адрес, — писал Трофимов, — но обидно, что так мало пишешь о своем здоровье. Ведь мы беспокоимся о твоей ноге, как ты полагаешь? Да и о себе я должен подумать — так ли, то ли я сделал, все ли предусмотрел? Ведь сомнений, сам знаешь, миллион! Как и большинство хирургов, мы с тобой всегда считали, что при первой обработке слепых ранений не нужно обязательно тратить время на разыскивание и удаление инородных тел. Но, с другой стороны, я хорошо знаю, что большинство всяческих осложнений связано именно с присутствием в тканях засевшего там осколка или пули, и я всегда стремлюсь разыскать и удалить чужака. Но для этого нужно время, а помнишь, при каких обстоятельствах мы тебя оперировали? Мы в тот вечер три раза меняли площадку, и три раза разбойник нас нащупывал, и мы все-таки продолжали работать и сделали очень много. А в сумерки Бушуев поймал человека в красноармейской форме, выдававшего себя за связиста, и в его катушке Бушуев нашел передатчик. Никогда я не видел Бушуева в таком гневе. Мы с трудом отняли у него фашиста, которого он допрашивал очень своеобразно... Бушуев смотрел ему вслед и жаловался на нашу культуру, не позволяющую убивать шпиона на месте. После этого вражья батарея замолчала, а через часок ее накрыли и взяли целиком, со всеми орудиями и личным составом...»

Сам Бушуев об этом случае сообщал только в конце своего письма в нескольких строчках: «...А то помните, как я сказал вам, что здесь какая-то, простите, сука сидит и немцу докладывает. Так все это оказалось истинная правда. И я его своими глазами выследил. И своими руками зацапал, когда он, сучий сын, свою катушку спокойно разматывал, как будто он и в самом деле наш связист...»

Заканчивая письмо, Бушуев писал: «...А фашиста крушим. И крушить будем. Чем дале, тем боле. Это сейчас очень даже ясно. И загоним зверюгу в самую

берложину. И там с него самосильно шкуру снимать будем. Да так, чтобы и другим nepовaдно было. И это, между прочим, самое главное, чтобы никому nepовaдно было на веки вечные».

Соколов писал, что санбат сейчас все время в наступлении, что все надежды Кости оправдались и события развиваются так, как говорил Костя в начале войны.

Костя мысленно уносился к друзьям и снова, как в первые дни своего отъезда, испытывал чувство вины перед товарищами.

Он начал посещать операционную. Он уже несколько раз ассистировал Харитонову и Шилову. Он принимал участие в приеме и сортировке новых больных, был членом комиссии по освидетельствованию призываемых в армию, участвовал в больших совещаниях военных врачей, читал лекции для больных и младшего персонала.

Теперь он мог чаще выходить из госпиталя и больше знакомиться с городом. Он любил посещать берег Камы. Река тянулась вниз, вдоль крайних улиц и зеленеющего бульвара. А вверху высилось здание семизатжной гостиницы, красовался на площади круглый театр, по-осеннему отцветал обширный сквер с великолепными газонами, декоративной вазой и широкими дорожками, с боков его были здания областной библиотеки, облисполкома, госбанка, почтамта. Было что-то спокойное и гостеприимное в широком размахе центральной площади, в аллеях, скульптуре, в звоне неторопливых трамваев, в гудках машин.

И сейчас, направляясь на артиллерийский завод, как ни торопился он скорей получить письмо Лены, привезенное из Москвы от Беляева директором завода, он, по обыкновению, выйдя из госпиталя, миновал трамвайную остановку и медленно шел к следующей, наслаждаясь солнечным утром на Каме и далекой зелено-синей перспективой.

«Что привез директор? — в десятый раз думал Костя после телефонного звонка с завода. — Почему секретарь директора не переслала письма, а спросила, не может ли он сам заехать за ним? И прибавила,

узнав, что он приедет: «Ну, прекрасно, директор хотел вас повидать лично».

Артиллерийский завод — целый город.

Уже издали Костя увидел множество огромных корпусов, кирпичных труб, железнодорожные пути, склады, подъемные краны, эстакады. И над всем этим клубы черного дыма, коричневой сажи, белые облака пара, покрытые нахмуренным небом. Языки красно-желтого пламени, вырываясь словно из-под земли, окрашивали темный туман и небо багровым заревом. Где-то близко, один за другим, ухали орудийные выстрелы и, протяжно сотрясая воздух, вызывали далекое эхо. Длинные составы площадок выкатывались на пути, показывая только что испытанные, прикрытые брезентом орудия — большие, средние, малые и совсем крошечные, тянувшиеся, как жеребята за маткой.

Так вот откуда идет на фронт эта великолепная артиллерия!

Директора еще не было. Он должен был вернуться из обкома через час-другой и, когда секретарь позвонила ему, любезно предложил доктору Сергееву, чтобы тот не скучал, «посмотреть кое-что на заводе». Ему дали провожатого, и Костя, волнуясь, вышел из кабинета.

Масштабы завода поразили Костю.

Одна металлическая база была так велика и такой мощностью дышали ее громадные цеха, что, казалось, они могут снабдить металлом десятки других заводов. И действительно, молодой инженер, сопровождавший Костю, словно угадав его мысль, просто сказал:

— Да, металлургия у нас солидная. Прокатом, поковкой, литьем мы обеспечили не только себя, но и около трехсот других заводов самых разнообразных областей промышленности.

Было это сказано с такой простотой и деловитостью и так «между прочим», что Костя был изумлен.

И в каждом цехе, как бы ни был он велик, люди, дававшие пояснения, говорили скромно, точно речь шла о самых обычных вещах. Чистенький старичок в сером ватнике, с седенькой бородкой, в старинных сербрых очках с ниточками за ушами сообщал:

— Нуте-с... Каналы стволов мы сейчас обрабатываем в два-три раза быстрее, нежели раньше. Совсем недавно мы нарезали канал четырехрезцовой головкой, а сейчас — двенадцатирезцовой, и уже осваиваем двадцатичетырехрезцовую...

Старик долго рассказывал о старом уральском заводе, не раз участвовавшем в победах русского оружия. Завод прошел весь длинный путь русской артиллерии — от бронзовой ядерной пушки до сегодняшних усовершенствованных полевых и самоходных орудий. В первое военное полугодие он утроил выпуск артиллерии. В следующем году дал продукции в десять раз больше, чем в сороковом году. Теперь он дает все новые и новые типы орудий, являющихся в полном смысле последним словом техники, образцами самой мощной маневренной артиллерии.

Косте надо было уходить, но ему хотелось еще встретиться с мастером. Он попросил разрешения зайти еще раз.

— Заходите, товарищ командир, обязательно заходите. Поскольку директор разрешил, я вам не то еще покажу.

В огромном дворе завода Костя, как маленький мальчик на незнакомой улице, растерянно осматривался по сторонам. Он подумал, как тяжело ему будет пройти огромную территорию завода — от цехов до управления. Внезапно навстречу вынеслась легковая машина, и, объехав вокруг него, остановилась.

— Товарищ военврач, пожалуйста!.. — обратился к нему шофер.

Костя удивился:

— Откуда вы?

— Директор приказал привезти вас.

Костя был изумлен и растроган.

Директор завода, плотный, крепкий, коренастый, с лицом широким и точно вырубленным из темного камня, смотрел на Костю внимательными спокойными глазами, словно изучая его, и тихо говорил:

— Хорошо, что вы сами заехали. Я обещал Никите Петровичу поглядеть на вас и написать ему... Ну, вы совсем молодцом, совсем... Я, вероятно, скоро опять его увижу и все сам расскажу.

Он дал Косте письмо Беляева и сказал, что внутри вкладыш — записка от Лены, и при этом особенно внимательно посмотрел на Костю теплым, отцовским взглядом. Потом, передавая ему пакет, улыбаясь сказал:

— Держите бережно, здесь ценные профессорские лекарства — не то портвейн, не то мадера, не уроните!

Он рассказал Косте, как познакомился с Беляевым у своих друзей, как выглядит старик, как много работает и как он скучает по дочери. Потом, взяв с Кости слово в случае какой-нибудь нужды обратиться к нему, проводил его до дверей.

Косте понравилась его могучая фигура, широкое, с темными глазами, волевое лицо, ордена на груди и над ними золотая звезда Героя Социалистического Труда. И сейчас, садясь в машину, он подумал о том, сколько внимания нужно было проявить к незнакомому человеку, чтобы среди бесконечного количества больших и важных дел не забыть и о нем, прислать за ним к определенному часу свой «зис».

Сидя на мягких подушках, Костя всматривался в темные контуры корпусов, ярко освещенных золотым багрянцем мартенов, местами уходящих в синюю темноту наступающего вечера.

Завод жил огромной жизнью!

Цеха гудели, где-то непрерывно ухали орудия, двигались поезда, неслись грузовики, шумели толпы новой смены. Горячее красное зарево разгоралось тем сильнее, чем темнее становился вечер, и наконец охватило полнеба, опрокинулось в широкую, плотную Каму, заиграло там разноцветными огнями.

Рядом с машиной, не отставая, мчался длинный товарный состав, и Костя узнавал по контурам, освещенным розовыми бликами, новые орудия, стремительно несущиеся на запад.

Машина свернула на новую дорогу, но еще долго багровое зарево освещало Косте путь, и долго еще ощущал он горячее сердце гигантского завода, живущего огромной огненной жизнью.

Сергеев еще не мог считать себя здоровым. Работа быстро его утомляла, а главное, что тревожило врачей и самого Костю, — это сильная боль в ноге, возникавшая, как только он нарушал предписанный ему режим. Его влекло к привычной деятельности. Но с каждым днем он все больше убеждался, что рабочее напряжение, свойственное его характеру, сейчас резко не совпадает с физическим состоянием. В тот вечер, когда он вернулся с артиллерийского завода, ему казалось, что он совершенно здоров и может начать любую работу. Но ночью его разбудила острая боль в ноге, и он уже не спал до утра. Поднялась температура. Несколько дней Костя пролежал в постели, прикованный угрозой нового осложнения. Профессор и ассистенты, все одинаково строго приказали ему подчиняться режиму и запретили выходы в город. Однако когда спустя неделю почти все врачи отделения, во главе с профессором, собрались на открытие конференции военных врачей, Костя добился разрешения посетить и первое заседание, и еще одно, на котором должен был сам прочесть доклад. Он с увлечением готовился к своему выступлению и, прячась от профессора, посещал все заседания, слушал все доклады.

В большом здании облисполкома было полно. Председательствовал Светлецкий. На трибуне, раскладывая бумаги, стоял профессор Харитонов. В зале старые, пожилые и совсем молодые врачи; среди них были и безвыездно работавшие в тылу, и побывавшие на фронте. Косте бросилось в глаза, что все присутствующие подтянуты, праздничны, но в то же время все настроены крайне деловито и очень внимательно слушают доклад. Харитонов читал о новых методах лечения столбняка. Все давно, еще с институтской скамьи, знали, что болезнь эта вызывается загрязнением раны землей, в которой содержится возбудитель столбняка, что, попав в рану, палочка столбняка очень быстро размножается, что яд, вырабатываемый ею, проникает в спинномозговой канал, связывается с клетками спинного и головного мозга и

образует стойкое соединение, которое становится необратимым.

Харитонов был, как всегда, бледен, имел усталый вид, но морщины словно разгладились, глаза тепло блестели. Он был больше чем обычно похож на вдохновенного актера, читающего прекрасный монолог. Он объяснял, что причиной неэффективности обычных способов лечения столбняка является физиологическая преграда, стоящая на грани между кровью, с одной стороны, и мозгом и спинномозговой жидкостью — с другой. После многочисленных опытов, сначала на животных, а потом уж, когда они дали в ста процентах положительные результаты, и на людях, было решено внедрить в практику введение противостолбнячной сыворотки непосредственно в спинномозговой канал. Харитонов провел за несколько месяцев двадцать шесть таких операций и спас всех больных. Профессор прочел несколько наиболее характерных историй болезни, продемонстрировал двух ранее тяжелобольных, теперь уже совершенно здоровых людей, и предложил собравшимся наиболее простую технику применения нового способа лечения.

Костя радостно оглядывался на аплодировавших врачей и был горд, словно это он сам только что выступал, сообщая о своей работе. Он недавно присутствовал на операции Харитонova, введившего сыворотку в спинномозговой канал больного. Он видел этого тяжелобольного со сведенными мышцами всего тела, стоящего в постели, как борец «на мосту», на руках и ногах, с изогнутой спиной, с запрокинутой головой, с лицом, застывшим в какой-то гримасе, и, казалось, смерть уже прочно сжимала его в своих объятиях. Потом Костя видел этого же больного выздоравливающим, а затем и совсем здоровым, уезжающим из госпиталя. И оттого доклад Харитонova был для него особенно убедительным и ярким.

После Харитонova выступал профессор Орестов, смуглый человек с лицом хотя и тщательно выбритым, но темным, словно он давно не брился, с бровями удивительно густыми и лохматыми. Он сделал сообщение о «голубой крови» — препарате, предложенном им в качестве заменителя подлинной крови. Пре-

парат, помещенный в сухом виде в ампулу, сохраняется долгие годы и в любых условиях может быть использован при тяжелой кровопотере или травматическом шоке. Орестов объяснил, что препарат по своему химическому составу стоит близко к плазме крови. Он сделал много опытов на собаках, выпускал до восьмидесяти процентов общей массы крови и замещал ее своим препаратом — животное быстро оживало. При шоке, состоянии глубочайшего обморока, близком к смерти, «голубая кровь» возвращала больного к жизни в течение двух-трех минут. Орестов говорил об этом спокойно, даже флегматично, и оживился лишь тогда, когда сообщил, что препарат этот получается из естественной минеральной воды, источника которой находятся в ста километрах от города, в одном из близлежащих районов. И сразу, перейдя к вопросу о богатствах области, он увлеченно стал перечислять длинный ряд минеральных источников, представляющих широчайшее поле для все новых и новых изысканий. Он отошел от трибуны, приблизился к большой рельефной карте, один за другим стал поворачивать выключатели, и на карте вспыхнули разбросанные по всей ее площади крохотные цветные лампочки. Красные, синие, зеленые, фиолетовые, желтые огоньки показывали нефть, уголь, соли, серу, различные драгоценные руды, лечебные воды.

Поднимая характерным движением свои удивительные брови, сверкая темными глазами, он водил карандашом по карте и называл десятки минеральных источников.

— Вот железистые, вот соляные, вот углекислые, вот сероводородные.. А вот в этом месте давно существует курорт, дающий превосходные лечебные результаты... В этом источнике вода по содержанию сероводорода превышает такие же воды Сочи — Мацесты в два, три, четыре раза... Кроме того, здесь много поваренной соли, много соли магния и кальция, здесь в изобилии бром, йод, радий!..

Зажигались и гасли разноцветные огоньки, возникали в представлении слушателя природные богатства Урала: железо, медь, никель, хром, титан, вана-

дий, свинец, алюминий, магний; романтически звучало перечисление районов золота, платины, алмазов...

Хотя Орестов, увлекшись, явно уклонился от своей основной темы, весь зал слушал его с напряженным вниманием и, когда он сошел с трибуны, долго ему аплодировал.

Доклад Кости был одним из последних. Ему показались неожиданными слова председателя:

— Слово для доклада имеет военврач третьего ранга Сергеев: «О роли сульфамидных препаратов в военно-полевой хирургии».

На мгновение Костя задержался, словно не вполне уверенный, что это приглашение касается его. Он не сумел сразу захватить оба костыля, ронял то один, то другой. Потом ему показалось, что он забыл папку с докладом на стуле, и он вернулся, хотя доклад был у него в руках. На трибуне он опять не сразу справился с костылями — они скользили и падали. Когда же председатель спросил, не удобнее ли ему будет читать сидя, и сам любезно принес ему стул, Костя смутился еще больше и сесть отказался. Он раскрыл папку, взглянул в зал. И зал, большой, глубокий, наполненный рядами лиц, вдруг качнулся, уплыл куда-то, и все лица затянулись туманом и стали одинаковыми, расплывчатыми, незнакомыми. Сжав до боли челюсти, он напряг всю свою волю и посмотрел на сидевших в первом ряду, потом во втором и в третьем.

Глаза всех были сосредоточены на нем. Светлецкий, крупнолицый и близорукий, когда Костя обернулся к нему, смотрел, щуя глаза, с большим интересом и подчеркнуто доброжелательно, словно стараясь ласковым взглядом ободрить неопытного докладчика.

И, сразу забыв о смущении, отдавшись целиком теме, Костя заговорил спокойно и твердо. Он говорил о том, какую огромнейшую, еще не до конца оцененную роль играют сульфамидные препараты в профилактике раневых инфекций. Он приводил примеры, сравнения, доказывал, что далеко не все врачи поняли до конца мощь новых препаратов и некоторые, только подчиняясь инструкции, применяют их.

— А дело-то именно в том, — вдруг оторвался от письменного доклада Костя и улыбнулся, — чтобы

сыпать порошок густо, старательно, от всей души, примерно так, как угощает гостеприимный русский хозяин дорогого гостя...

В зале раздался смех. Смеялись дружелюбно, товарищески.

Председатель позвонил. Стало тихо, и Костя продолжал. Но он уже не смотрел на записи. Он говорил так, словно всю жизнь выступал на больших собраниях и давно привык к ним.

— Но жестокую ошибку совершают те врачи, которые, свято поверив в сульфамиды, легкомысленно забывают обо всем остальном. Эту ошибку делал и я, и мои товарищи, на эту ошибку указал нам главный хирург фронта дивврач Беляев. И сейчас, просматривая сотни историй болезни, я вижу, что действительно, там, где понадеялись только на чудесный порошок, вышло немало серьезных неудач.

Костя снова привел ряд цифр и примеров. Он говорил горячо, как говорят о самом близком и сокровенном. Глаза его сквозь толстые стекла очков отсвечивали зелеными огоньками, волосы поминутно спадали на лоб, длинные, тонкие пальцы нетерпеливо откидывали их назад.

Костя перевернул последнюю страницу и закрыл папку. Доклад был закончен. Но, закрыв папку, докладчик не сошел с трибуны. Держась за нее обеими руками, он нагнулся над ней, как бы устремляясь к аудитории, и, заметно повысив тон, продолжал свою речь:

— Товарищи, на фронте я работал в медико-санитарном батальоне, занимающем центральное место в системе санитарной службы войскового района. Здесь, в тылу, я вижу работу крупных госпиталей и других лечебных учреждений. И я вижу, что великое дело, порученное в этой войне нам, советским врачам, выполняется хорошо. Нынешняя война отличается от прошлой, империалистической войны гораздо более совершенным вооружением, гораздо большим количеством артиллерии, авиабомб, автоматов, минометов, танков, что резко увеличило многообразие и тяжесть ранений. И, несмотря на это, результаты нашей работы несравненно выше того, что сделали

медицинские учреждения в прошлой войне. Тогда было возвращено в строй около сорока процентов раненых, а мы возвращаем свыше семидесяти трех, то есть почти в два раза больше!..

Он остановился, словно сам был удивлен этой цифрой, и так, с поднятой рукой, стоял несколько мгновений. И это удивление передалось от оратора в зал и отразилось в глазах слушателей, в выражении лиц, хотя цифры были всем известны.

Костя говорил еще минуты две и вдруг обернулся к президиуму, затем снова к залу:

— Простите, что я, закончив доклад, позволил себе отступить от темы. Горячая творческая мысль, бьющая в этом собрании ключом, взволновала и меня... И мне захотелось высказать те соображения, которые уже много месяцев... Нам надо искать, творить, думать! Надо ломать шаблон, уничтожать рутину, будить мысль!.. Война нас многому учит, а эти пять дней нашей конференции подвели некоторые итоги работы. И я вижу, что советские врачи, советские медицинские работники отдавали и, конечно, будут отдавать все свои мысли и всю энергию — большие мысли и большую энергию — на помощь нашей Красной Армии!..

Косте аплодировали, а потом, в перерыве, подходили к нему, спрашивали, где он работал, где был ранен, за что получил орден, как сейчас его здоровье. А потом к Косте подошла Рузская. Оказалось, что, по ее просьбе, знакомый врач сообщил ей о начале доклада Кости. Потом она достала из портфеля письмо:

— Вот вам срочная благодарность.

Он жадно схватил письмо.

Оно было от Лены.

Х

Давно прошли те времена, когда при каждой по-вой сводке сердце Кости стягивалось в комок и застывало, словно его обложили льдом. Ужасным казалось оставление городов, областей, целых рес-

публик; острой болью охватывало при каждом сообщении о приближении врага к Ленинграду, о наступлении на Москву. Сейчас почти на всех фронтах наступали уже не немцы, наступала Советская Армия!

Она уже продвинулась вперед на сотни километров, очистила от немцев многие десятки больших городов, тысячи станций и селений. Сорвалась попытка врага обойти Москву с востока, через Воронеж, много месяцев тщетно дралась немецкая армия у Сталинграда, чтобы прервать пути на Кавказ, выйти вдоль Волги на север, а главное — оторвать Москву от Заволжья, Урала, Сибири и захватить ее с тыла. Десятки фашистских дивизий подошли вплотную к Сталинграду, подвезли тысячи орудий, нагнали сотни самолетов, засыпали улицы тысячами снарядов. На земле и в воздухе шли непрерывные жесточайшие бои.

Но ни тысячи орудий, ни взрывы тяжелых снарядов, ни ряды шестиствольных минометов — ничто не сдвинуло с места советских людей. Сталинград устоял!

Костя рассматривал большую карту, чертил большую, свою собственную, и размечал ее по последним сводкам и корреспонденциям значками, стрелами и кружками.

Вот стрела идет с севера, от Серафимовича, на юг и сразу же сворачивает на восток. Другая стрела идет оттуда же, но протягивается глубже на юг, до Чернышевской, а отсюда тоже сворачивает на восток, к Калачу, в самый затылок немцев. Вот стрела идет с юго-востока, выходит на юго-запад и опять сворачивает к востоку. Вот наступает наша шестьдесят вторая армия, отстаивающая столько месяцев Сталинград, наступает прямо в лоб. Замкнулось кольцо, и лучшая, шестая, «прославленная» немецкая армия — в капкане.

Вечером он повесил в клубе свою карту, осветил ее рефлектором, собрал ходячих больных и персонал и рассказал о событиях под Сталинградом.

— Шестая армия немцев, составленная из отборных частей, больше не существует! Часть ее уничто-

жена, часть взята в плен. Свыше трехсот тысяч одних пленных!.. Советская Армия наступает на длиннейшем фронте от Ржева до Таганрога и разбила уже сто двенадцать немецких дивизий! Ничто ее не оставит! Советская Армия продемонстрировала перед всем светом свою мощь, мастерство замысла и выполнения!

И Ленинград сейчас также наступает!

Идя навстречу своим волховским братьям, ленинградцы разбили каменные стены вражеских укреплений, форсировали широкую Неву, освободили Шлиссельбург, отбили укрепления — Марьино, Липку, Невскую Дубровку, Синявино, Подгорную и длинный ряд рабочих поселков. Кольцо разорвано! Сухопутная дорога на Большую землю открыта!

Ленинград, полтора года протомившийся в окружении, в холоде, в голоде, в огне, выстоял, окреп, усилился, и сам пошел в наступление и снова слился со всей страной.

И в этот и во все последующие дни Костя был в состоянии душевной окрыленности, как будто он впервые поднялся после опасной болезни и вышел на улицу в солнечное утро.

Но подлинного физического здоровья еще не было: он быстро утомлялся, ходить было трудно, в голове отдавался мягкий стук костылей о землю. Однажды он почувствовал особенно остро свою инвалидность. Он шел по улице. Мимо проходила рота курсантов. Молодые, крепкие, они шли ровным шагом в такт своей песне. И Костя, втянутый в ритм их движения, инстинктивно попытался идти вместе с ними, но тут же убедился, что это невозможно. Он покорно замедлил шаг, повернул назад и, огорченный, пошел обратно в госпиталь.

Он решил поговорить с профессором. Надо проситься на комиссию, выписаться, начать энергично работать. Тогда и нога скорее придет в норму. Но и Харитонов, и Шилов заявили, что требуется еще длительная физиотерапия — ванны, массаж, и Костя снова пришел в отчаяние от бесконечного, как ему казалось, безделья. Он уже подумывал о том, чтобы просить Никиту Петровича устроить его перевод

в Ленинград, чтобы долечиваться там и одновременно работать.

Ведь там и Лена и родители.

Он тяжело тосковал по Лене, его томило беспокойство о матери. Иногда, особенно в бессонные ночи, Косте казалось, что случилось непоправимое... И тогда Костю вновь охватывало желание скорее быть дома, в Ленинграде. Он мечтал об этом всей силой воображения, видел мать такой, какой оставил, уезжая на фронт. Рисовалась она ему и в более далеком прошлом — белолицей, светлоглазой, когда купала его в маленькой ванне, укладывала в постель, пела тихим голосом песню или рассказывала сказку. Позднее — она провожала его в школу, сама приходила за ним и всю дорогу расспрашивала об отметках, об учителях. Костя вспоминал ее доброту, какое-то особенное, постоянное излучение заботливости. С горечью он думал, что не отвечал матерю тем же, не замечал ее чудесной любви. А теперь она одна, — ведь отец целый день на работе. Из семьи никого не осталось. Главная ее забота, смысл и цель ее жизни — он, Костя, — далеко. И она в одиночестве, в тоске, может быть больная, дни и ночи думает о нем. «Мама, я всегда с тобой, — писал он. — Хочу скорее увидеть тебя, прижать к себе. И я верю, что это будет скоро, обязательно будет, и ты тоже должна верить и не тревожиться...»

И вот сейчас, когда выяснилось, что лечение Кости затягивается, он решил просить Беляева о переводе его для долечивания и работы в Ленинград.

«Ленинград — тот же фронт... Я подлечусь и снова буду в санбате...» Эта мысль тем более захватила Костю, что вести от ленинградских товарищей подтверждали ее правильность. Брайловский писал ему в обычном для него стиле:

«...Вы будете очень смеяться, дорогой коллега, но я действительно тяжело ранен и чуть не умер. И не это самое смешное, смешно то, что я поправляюсь: ведь одна пуля из немецкого пулемета пробила мне левое легкое на сантиметр левее сердца, другая пробила селезенку, а третья прошла через живот, повредила тонкие кишки и, кажется, еще что-то, чего

даже в анатомии нет. А я все-таки выздоравливаю. Все это сделала наша замечательная медицина! Мне произвели такую операцию, какую ни один учебник хирургии не предусмотрел. Это не хирургия — это тончайшее ювелирное искусство, это китайская резьба по слоновой кости, это миниатюры на эмали! Операция производилась в холодной операционной, в соседнем корпусе снаряд только что вырвал целый этаж со всеми потрохами, а над головой свистит новый снаряд. Вчера старший хирург, только что ушедший из нашего госпиталя в другой на срочную консультацию, взлетел на воздух вместе с операционной, хирургами, ассистентами, сестрами, санитарками, больными. От них остались лишь их шинели в гардеробной и в кладовой. Только один врач, случайно вышедший в нижний этаж, остался жив и сегодня ассистирует нашему хирургу. Да, вы будете смеяться, если узнаете, где я лежу! В нашей клинике, в нашем эндокринологическом отделении, в наших палатах. Это теперь, конечно, крупнейший госпиталь. Во главе стоит наш глубокоуважаемый профессор Василий Николаевич. Он, конечно, отказался, несмотря на преклонные годы, уехать из Ленинграда, он работает по двадцать часов в сутки, похудел, но красив в своей военной форме, как Барклай де Толли. Он возглавляет клинику, читает лекции, консультирует в госпиталях, написал новый большой труд по нашей с вами, дорогой доктор, специальности — «Эндокринные органы и связь их с вегетативной нервной системой». Чудный старик, дай ему бог здоровья! Когда вы после ваших уютных и комфортабельных санбатов вернетесь, мы еще поработаем со стариком во славу советской эндокринологии! Вы помните «страшного пессимиста» Степана Николаевича? Он тоже помолодел на сто лет, сбрил бородку, надел военную форму, живет в госпитале, не вылезает из палат ни днем ни ночью, увлекается всеми новейшими средствами, делает внутривенные вливания глюкозы, аскорбина, никотиновой кислоты и всего прочего. Помните, как он вас высмеивал, говоря, что вы готовы сами поставить больному клизму? А теперь он, старший ассистент клиники, первый человек после Василия Николаевича, если сестры

не успевают справиться с работой, сам ставит горчичники, делает впрыскивания, а иногда, я это сам видел, помогает санитаркам носить дрова и воду! Вот что делает война с людьми! Мне стыдно теперь вспоминать, как я дразнил когда-то бедного старика. В одном только он не переменялся — по-старому мусолит папиросу, сыплет пепел на белый халат, на одеяла больных, в собственный суп, и говорит, что чище пепла нет ничего на свете. Спрашивает о вас и профессор и просит при этом передать привет и сказать, что ваша работа ждет вас. Вас здесь действительно все любят и ждут...»

В тот же вечер Костя написал Беляеву и Лене и, рассчитав, что телеграфный ответ должен прийти недели через две-три, стал с нетерпением ожидать решительного дня.

XI

В госпитале Костю поздравили с новым званием.

— Здравия желаю, товарищ капитан медицинской службы! — приветствовал его Шилов и вручил при этом свой подарок — капитанские погоны.

Как никогда раньше, Косте захотелось вернуться к работе, и он подал заявление с просьбой назначить его на комиссию. В ожидании решения послал Лене телеграмму: если только есть такая возможность — прилететь, так как сам он, вероятнее всего, в ближайшие дни отправится обратно на фронт.

Но все пошло не так, как Костя предполагал. Комиссия признала Костю временно нетрудоспособным и предоставила шестимесячный отпуск.

Костя решил сейчас же ехать в Ленинград и стал искать okazji. На следующий день он получил телеграмму от Никиты Петровича: тот советовал не ждать самолета и немедленно выехать в Москву, откуда сейчас регулярно идут пассажирские поезда в Ленинград.

Костя уже слышал об этом. После прорыва блокады у Шлиссельбурга довольно скоро восстановилась железнодорожная связь между Москвой и Ленинградом. Но он еще не представлял себе, что это

действительно вошло в быт, что можно просто, как когда-то, подойти к кассе, получить билет, войти в вагон, сесть на свое место и ехать в Ленинград. Все это казалось еще невозможным по военным причинам, — ведь путь между этими двумя городами пока еще лежит в районе фронта, артиллерийского огня, воздушных боев.

Костя готовился к отъезду — оформлял документы, получал билет, отправлял телеграммы. И все ему казалось необычным, неожиданным: и слова посланной им телеграммы: «Еду через Москву Ленинград», и пояснение кассира на вокзале: «Даю плацкарту до Москвы, билет до Ленинграда», и просьбы знакомых — зайти на Невский, позвонить по телефону — Некрасовская АТС, лично передать письмо в редакцию «Ленинградской правды».

В день своего отъезда он присутствовал на операции Харитоновой, и снова, как и раньше, наслаждался тончайшей работой, глубиной клинической мысли, чистотой и отчетливостью техники черепной хирургии.

Костя простился с Харитоновым и Шиловым, когда они не успели еще снять с себя операционные халаты.

— Спасибо вам за все... — говорил он и тому и другому, обнимал их, и все ему казалось, что он недостаточно выразил свои дружеские чувства и недостаточно поблагодарил друзей. Потом Костя обошел госпиталь, простился со всем персоналом, с больными и быстро спустился на улицу. Шилов проводил его до машины, помог усесться, клялся обязательно приехать в Ленинград, в третий раз требовал обещания писать и долго вдогонку махал рукой.

Костя заехал к Галине Степановне и несколько секунд стоял перед ней смущенный, не зная, что сказать.

— Право, не знаю, как...

— ...благодарить меня? — рассмеялась Галина Степановна. — Меня не надо благодарить. Я — мать, сестра, товарищ...

Костя поцеловал ей руку, сказал:

— Да, вы были мне, чужому человеку, матерью, сестрой, другом. И я буду помнить это всегда, всю жизнь.

Она просила поцеловать Елену Никитичну, обязательно написать о своем здоровье, о Ленинграде и обещала аккуратно отвечать. И в последнюю минуту, когда Костя уже собирался выйти, она вручила ему пакет:

— Это моя Марфуша вам на дорогу испекла.

Костя, держа в руках пирог, хотел что-то сказать, но Рузская его предупредила:

— Увы, я должна вас поторопить. У вас время на исходе.

Через пятнадцать минут Костя сидел в мягком вагоне поезда «Владивосток — Москва», а еще через десять минут увидел проплывающие мимо окна фонари, станционные постройки, водокачку.

Двое суток в поезде прошли быстро, почти незаметно.

Книги, газеты, разговоры, смена станций, мысли об Урале, о Ленинграде поглощали время, и Москва выросла перед Костей неожиданно.

Его встречал Никита Петрович. Старик был великолепен в форме генерал-майора медицинской службы. После радостных объятий и поцелуев он внимательно оглядел Костю с ног до головы и сказал:

— Ты совсем молодцом. Ленушка будет довольна.

В машине Костя сидел ошеломленный величием и шумным движением столичного многолюдного города. На вопросы Беляева отвечал невпопад. Только в большом номере «Москвы» несколько пришел в себя и разговорился. Тесть был трогательно внимателен: сам приготовил ему ванну, осмотрел его ногу и сказал: «Скоро будешь бегать», потом угощал завтраком и крепким, «беляевским» чаем. Муж единственной дочери был для него желанным сыном.

— Отдыхай, мой сын, — говорил Беляев, усаживая его в глубокое кожаное кресло. — Здесь тебе будет удобно. Потом поедем, покажу тебе столицу.

Костя жадно смотрел из окна гостиницы на стены Кремля, на башню с красной звездой, на разрисован-

ную белыми линиями асфальтированную площадь, по которой проносились потоки машин, автобусов, троллейбусов.

Потом он рассматривал рукопись новой книги Беляева и дивился изобилию материалов и неукротимой энергии старика, создавшего в короткое время, в сложных условиях фронта и поездок, новый большой труд.

Вскоре Беляеву сообщили, что если ехать в Ленинград сегодня, то через час надо уже отправляться на вокзал.

Никита Петрович просил остаться еще на денек-другой, но Костя взмолился:

— Пожалуйста, если можно, устройте сегодня.

Беляев приготовлял для Лены пакет с «гостинцами», писал ей длинное письмо, подробно объяснял Косте маршрут поезда, предупреждая, что в Ленинграде продолжаются ежедневные обстрелы города. Не успел Костя оглянуться, как за ним пришла машина.

Ленинградский поезд поразил Костю: новые, свежеекрашенные вагоны, чистота, шелковые занавески, белоснежные салфетки на столиках, цветы, новая форма проводников.

— Не охай, не ахай, — смеялся Беляев, — не то еще будет. Сейчас тебя угостят как в доброе старое время!

И действительно, как только Костя распростился с тестем и поезд мягко отошел от станции, в купе вошла девушка в белой курточке и внесла в четырехугольной корзине пиво в бутылках, и сейчас же на смену ей вошла другая — с бутербродами, и недоумевающий Костя подумал: «Неужели все это происходит на пути между Москвой и Ленинградом, где так недавно шли жесточайшие бои, где немецкие бомбардировщики разносили в щепы насыпи, шпалы, поезда, где были уничтожены сотни станций?! Ведь и сейчас еще в недалеком соседстве сидит враг, зарывшись в землю...»

Поезд шел медленно, на станциях стоял подолгу, будто осторожно нащупывая в темноте еще непрочную дорогу, потом мчался с неожиданной быстротой,

словно стремясь скорее проскочить опасное место, и опять долго стоял.

Утром Костя увидел пепелище сожженной станции и рядом с ней ее временную заместительницу — новую будку. Дальше на всем пути встречались такие же пожарища и такие же новые будки, разрушенные блиндажи; валялись обрывки проволочных заграждений, разбитые орудия, патронные ящики, двуколки.

Поезд, пройдя по Октябрьской дороге до Бологого и потом до Малой Вишеры, свернул на север. Здесь он шел какими-то незнакомыми обходными путями, останавливался у неизвестных, снесенных войною станций, ждал на разъездах встречных поездов, и Костя видел возрождение дороги — работу по прокладке второй колени, новые маленькие станции. А вскоре показались места, похожие на те, где год назад отступала, а потом шла вперед дивизия Кости. Он встревоженно прильнул к окну.

Вот, похоже, что именно в глубине этой рошцы стоял штаб их дивизии; в стороне, за руинами большого сгоревшего села, в корпусах молочной фермы свыше недели работал его санбат, в километре отсюда три дня шел ожесточенный бой, и санбат работал круглые сутки, и весь персонал не сменялся все три дня, а одна сестра-наркотизатор уснула, стоя у изголовья раненого, и упала, и никто не мог ее поднять, пока не окончилась операция. А вот где-то здесь, очевидно у этого перекрестка, чуть подальше от дороги, была убита Надежда Алексеевна; где-то близко, в десяти-двенадцати километрах отсюда, бригада санбата пробиралась сквозь страшную пургу за своей наступающей дивизией, и Костя оперировал раненого командира прямо на снегу, освещенном фарами машины.

Воспоминания переплетались.

Десятки эпизодов, врезавшихся в глубину сердца, проходили перед Костей как длинный хроникальный фильм, быстро разворачиваемый то в одну, то в другую сторону. Первые дни в санбате, первые большие бои, первая сложная хирургическая работа, тихий Соколов, делающий тридцать операций в день, сильный

и мудрый Бушуев, выносящий на своих плечах из огня десятки раненых; чистая, женственная и вместе мужественная Надежда Алексеевна; очень обыкновенный, очень крепкий в своей обыкновенности Николай Трофимов; милая, неутомимая Шурочка, чудесный хирург Михайлов...

«Одни умерли, другие работают, — думал Костя, — а я ничего не делаю, я еду домой, к жене... Нет, нет! — ответил он сам себе. — Я еду работать! Я приступлю к работе немедленно».

— Как-то сейчас в Ленинграде? — проговорил пожилой человек, стоявший рядом с Костей у окна. — Говорят, здорово обстреливают?

— Ничего, скоро перестанут, — уверенно сказал Костя.

— Верно, что город основательно разрушен?

— Не знаю... — почему-то раздражаясь, ответил он. — Если и разрушен, то скоро восстановят.

— Но жить в Ленинграде, очевидно, тяжело?

— Возможно, но и это ненадолго. Скоро все будет хорошо.

— Как приятно вас слушать, — облегченно сказал сосед. — Я вот и еду восстанавливать. Я инженер-строитель.

Но Костя уже не слушал. Мысли его снова перебегали в Ленинград к Лене, к родителям. Что с ними? Здоровы ли? Как выглядят? Он видел их такими, какими оставил, но тут же воображение рисовало их резко побледневшими, худыми, состарившимися. Он старался представить себе, как они встречают его — придут ли на вокзал, будут ли ждать дома, сможет ли Лена уйти из госпиталя.

— Леночка... Ленуська... — вне его воли, само собой возникало имя жены, и он представлял ее себе — светлую, улыбающуюся, и никак не мог поверить, что вот через несколько часов увидит ее не в воображении, не во сне, а живую, доподлинную, что он обнимет ее, поцелует...

На миг он отрывался от своих мыслей и пристально вглядывался в окно: да скоро ли наконец покажется Ленинград?

К концу дня поезд остановился и долго стоял

вблизи неизвестной станции, видимо дожидаясь темноты. Часы эти тянулись томительно долго, но Костя терпеливо ждал, зная, что предстоит пройти по узкой, освобожденной недавним прорывом полосе, что поезд в этом месте подвергается минометному обстрелу.

В полном мраке, погасив все огни, затянув все занавески, отцепленные от состава, шли одиночные вагоны по временному мосту через Неву, у Шлиссельбурга. На той стороне они собирались, как солдаты, в темноте форсировавшие реку, и снова становились в строй, чтобы двинуться дальше.

Это были исторические места, где еще так недавно, идя навстречу друг другу, Ленинградский и Волховский фронты смяли, размололи врага и очистили путь.

Великий город! Великая страна!

Костя наслаждался ощущением свободного продвижения, сознанием близкой победы, грядущего великого торжества.

На рассвете промелькнули хорошо знакомые, но, увы, теперь полуразрушенные, частью совсем разрушенные поселки, посты, показались городские строения, семафоры, и рано утром поезд тихо подошел к Ленинграду.

Костя увидел Лену сразу.

Она была в военной форме, с погонами капитана, высокая, подтянутая, из-под теплой серой шапки выбивались золотистые волосы. Рядом стоял отец Кости. И оба жадно смотрели в окна вагона, и оба, узнав его, замахали руками и побежали к дверям.

Но при выходе проверяли документы, пассажиры выходили медленно, и они с нетерпением вернулись к окну.

Костя стоял неподвижно, опершись на палку, и, стараясь улыбнуться, смотрел в лицо Лены, на седую голову отца, на знакомую вывеску «Ленинград», и по щекам его медленно стекали две тоненькие струйки неожиданных слез.

Но он не вытирал их.

Это были слезы счастья, и он их не стыдился.

На площади было непривычно пусто, безлюдно. В окнах больших знакомых домов были выбиты стекла, желтела фанера. И в минуту, когда Костя с Ле-

пой и отцом садились в вагон трамвая, где-то совсем близко грохнул снаряд и со звоном посыпались стекла.

— Ничего, Костик, — сказал глухо отец, видимо стараясь успокоить сына, — не бойся. Это здесь каждый день. Это обязательно...

— Я не боюсь... — улыбнулся Костя. — Привык ведь.

Лена сидела рядом, держала его под руку, смотрела в глаза, тихо улыбалась и молчала. Молчал и Костя. Он хотел спросить о матери, но боялся, хотел что-то сказать Лене, но не находил слов.

На углу улицы Чайковского Костя и отец вышли. Лена направилась на работу и часам к двенадцати, после операций, должна была вернуться домой.

Костя с волнением шел по широкой асфальтированной улице, с сильно бьющимся сердцем свернул на Гагаринскую и встревоженно подумал, что сейчас узнает о матери.

Если она здесь, то...

Если нет... Почему ни отец, ни Лена ничего о ней не сказали? Почему он молчит сейчас?

Их встретила Мокеевна. Она целовала Костю, и плакала, и усаживала за стол завтракать, и опять плакала и целовала. Костя гладил ее седую голову, молчал, потом вдруг спросил:

— Нянечка, а что с моей матерью?

— Померла, Костенька, померла, царствие ей небесное, в прошлом году...

— Да, да, сыночек... — словно прося прощения, виновато подтвердил отец. — Мать померла... Не мог я об этом написать..

Костя опустил на диван, положил голову на подушку и горестно, тяжело, как в далеком детстве, заплакал. И так же по-детски, сквозь обильные слезы, повторял:

— Мама... мама... Бедная мама...

Он плакал долго, судорожно. Огромное сыновье горе разрывало его грудь. Ни отец, ни Мокеевна не могли оторвать его от подушки.

Потом старуха сказала:

— Пусть поплачет, пусть.. Как дитяти не поплакать о матери...

Она увела отца на кухню, а Костя долго еще лежал, не в силах побороть рыданий. Только когда большие столовые часы пробили двенадцать и Лена могла в любую минуту войти, он поднялся и пошел в ванную умыться.

Но ни в двенадцать, ни в час, ни в два Лена не пришла. Отец позвонил в клинику — ни по одному телефону не отвечали. Костя взволновался и сказал, что сам пойдет в институт.

— Что ты, что ты! — останавливала его Мокеевна. — Разминешься с ней, обязательно разминешься. Не ходи, сама сейчас придет.

Костя обождал еще немного, но тревога его росла с каждой минутой.

Он не мог больше ждать и вместе с отцом направился к Лене.

Обстрел утих. На улицах стало спокойно. Изредка проходил трамвай. Один из них протасил на буксире разбитый состав. Стекла в вагонах были выбиты, рамы искорежены, площадки сплющены, а в последнем был вырван бок и в отверстиях, на желтых скамьях, на полу, на ступеньках темнели большие пятна растекшейся крови.

Костя отвернулся и пошел быстрее. Вскоре он увидел знакомое здание клиники. У подъезда толпился народ, земля была покрыта обвалившейся штукатуркой, стеклом, деревом. Он посмотрел на большие окна беляевской операционной. Сплошная стеклянная стена была вырвана, и в огромной раме висели лишь куски скрюченной проволоки.

— Это давно так?.. — уже не веря ни во что хорошее, в испуге спросил он отца.

— Этого... кажется... не было... — побелел отец.

Они вошли в вестибюль. Здесь также было много людей.

— Что случилось? — спросил кого-то Костя.

— Как «что»? Не видите? Снаряд...

На лестнице через широкую площадку второго этажа санитарки провозили тележку, и Костя быстро поднялся туда.

— Куда попал? — спросил Костя санитарок.

— В хирургию...

— А где Елена Никитична?

— Ой... ее... тут нету...

Они переглянулись и быстро покатали тележку.

Костя вошел в коридор, где был кабинет Беляева. Здесь все являло картину разрушения: штукатурка лежала на линолеуме, двери были сорваны, разбитая мебель разбросана. Через глыбы обрушенного потолка пробирались санитары с носилками. Мимо Кости пронесли кого-то с покрытым лицом. Отец поднял простыню и сейчас же опустил.

— Доктор Иванов... — сказал он тихо, и глаза его расширились в ужасе.

— Где Беляева? — в каком-то отчаянии резко крикнул Костя санитаркам.

— Там... — кивнула одна из них в сторону, откуда они шли. — В первой операционной...

Костя, поддерживаемый отцом, пробрался туда. И здесь также все было разрушено, одной стены не было совсем, в полу зияла большая дыра.

Вокруг стояли какие-то люди — врачи, сестры, военные.

— Где доктор Беляева? — спросил Костя.

Ему не ответили.

На носилки укладывали женщину в белом халате. Когда ее подняли, с головы свалился операционный колпак и широко рассыпались длинные, до самого пола, золотые волосы. Лицо было наполовину закрыто марлевой маской и засыпано известкой.

«Лена... — молнией прорезало сознание Кости. — Убили...»

На мгновение показалось, что он сейчас умрет, — остановилось сердце, не стало дыхания. Потом подкосились ноги — неудержимо потянуло упасть на колени, охватить золотую голову, прижаться к ней лицом, закричать.

Но он стоял неподвижно, молча.

Он не плакал, не кричал, глаза его были сухи. Расширенные, большие, они смотрели неотрывно в одну точку.

— Костенька, — растерянно шептал старик. — Костенька... Что же это? А?

Костя молчал.

Но вдруг ему показалось, что голова женщины шевельнулась. Он мгновенно нагнулся, торопливо снял маску и увидел, что губы ее приоткрылись, словно она хотела что-то сказать. И в тот же миг чуть приподнялись и сейчас же опустились набухшие, почти черные, влажные веки.

— Она жива!.. В операционную!.. — крикнул Костя окружающим. — Скорее в операционную!..

Он схватил ее руку, холодную и безвольную, и сразу же нащупал пульс. Биение было слабо, едва слышно, но равномерно.

— Есть пульс!... — сказал он громко. — Скорее несите ее!

Но какой-то военный в белом халате уже отдавал распоряжения.

— Во вторую! — крикнул он с порога. — В два счета раздеть и приготовить!

Лену понесли, и Костя пошел вслед за носилками.

В предоперационную его не пустили.

После короткого осмотра хирург вышел и сказал ему:

— Не отчаивайтесь. Ранение хотя и тяжелое, но... думаю... не опасное...

— А что у нее?

— Вы, кажется, хирург?

— Да.

— Осколок в груди. В правом легком. Множественные ушибы всего тела. Сейчас прооперируем.

Хирург повернулся к двери.

— Послушайте... Товарищ подполковник... — робко обратился Костя с вопросом. — А мне можно?

— Нет, — решительно возразил хирург. — Не надо. Идите в ординаторскую.

Но Костя никуда не пошел. Он опустился на скамью и застыл в какой-то тяжелой неподвижности.

— Костенька... — автоматически повторял отец, и голова его мелко тряслась. — Что же это, а?.. Костенька...

— Ничего, папа, ничего... — отвечал Костя, едва шевеля пересохшими губами. — Это тяжелое ранение... Очень тяжелое... Но... это... не опасно... Нет... Она поправится... Она выздоровеет...

Он то совсем не чувствовал своего тела, то ощущал его как огромную тяжесть, словно он окаменел. И только в голове и где-то в глубине сердца явственно слышал:

— Что же делать, что же делать... Еще одно испытание... Тяжкое испытание... Но она будет жить...

И невольно, толкаемый каким-то глубочайшим внутренним убеждением, Костя шепотом упрямо, много раз повторял:

— Она будет жить... Будет, будет, будет!..

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Ленинград	4
Часть вторая. Фронт	107
Часть третья. Урал	219

Розенфельд Семен Ефимович

ДОКТОР СЕРГЕЕВ

*

Редактор *М. С. Панич*

Худож. редактор *М. Е. Новиков*

Технич. редактор *Л. П. Крючкина*

Корректор *Т. П. Калецкая*

Сдано в набор 14/IX 1959 г. Подписано
к печати 29/I 1960 г. Бумага 84 × 108 1/2.
Печ. л. 9,5 (15,58) Уч.-изд. л. 14,94.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1421
Цена 5 р. 50 к.

Ленинградское отделение
издательства „Советский писатель“
Ленинград. Невский пр., 28.

Типография им. Володарского
Лениздата. Ленинград, Фонтанна, 57